

РС.  
3-36  
КР1404980

Павел Владимирович  
ЗАСОДИМСКИЙ

# ЗАДУШЕВНЫЕ РАССКАЗЫ





**СЛОВЕСНОСТЬ  
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА**



Павел Владимирович  
ЗАСОДИМСКИЙ

# ЗАДУШЕВНЫЕ РАССКАЗЫ



КР 1404980

ВОЛОГДА  
«Учебная литература»  
2009

Уч.-метод. кабинет  
научная библиотека  
им. И. В. Бабушкина

ББК 84(2Рос=Рус)5  
З 36

Составитель *С. Ю. Баранов*

**Засодимский П. В. Задушевные рассказы / Сост. С. Ю. Баранов.**—  
Вологда: Учебная литература, 2009.— 320 с.

В книгу вошли произведения П. В. Засодимского, известного писателя второй половины XIX—начала XX века. До революции его повести и рассказы для детей пользовались большой популярностью и неоднократно переиздавались. Воспоминания писателя интересны с точки зрения истории повседневной культуры. Тексты публикуются с небольшими сокращениями по изданиям, выходившим при жизни писателя. Исключение составляет лишь «Сказка», не пропущенная в свое время цензурой и впервые появившаяся в печати в 1969 году. Мемуарная книга «Из воспоминаний» представлена начальными главами, в которых описываются детство и отрочество автора.

В оформлении обложки использованы рисунки *Е. М. Бём*.

# БЫЛИ И НЕБЫЛИ





# РАЗБИТА ЧАШКА

(Рассказ из лесной жизни)



**В**ЯСНОЕ июльское утро Григорий Гурьянов, липняговский лесник, собрался в объезд по своему участку. Он крепко затянул на себе широкий ремень, перекинул за плечо ружье и надел свою походную сумку таким образом, что ремень от сумки и ружейная перевязь перекрещивались у него на груди. Он надвинул на лоб круглую форменную шапку с жестяною бляхой и, закрутив на руку нагайку, вскочил на своего Серого.

— К вечеру возвращусь! — крикнул он своей Харитине, поправляясь в седле и забирая в левую руку поводья.

— А ты, батя, обещал взять меня с собою! — сказал Тимоша, держась за его стремя.

— Ну ладно, ладно! Ужо, в другой раз... — промолвил лесник, с добродушною улыбкой посмотрев на белокурую головку своего сынишки.

— А синицу привезешь? — приставал мальчуган.

— Где ж я возьму для тебя синицу! Теперь синицы разлетелись! — ответил Григорий, заворачивая лошадь от крыльца.

— Ну, вот ты какой!.. — надув губы, протянул Тимоша, неохотно оставляя стремя.

Григорий мелкою рысью направился по дороге в лес и скоро скрылся в зеленой тени развесистых деревьев.

Григорий Гурьянов — отставной солдат, гвардеец, высокий, видный, молодец собой и прекрасный наездник — уже 15 лет служил лесником в казенной Карачановской даче. Дело его заключалось в том, чтобы беречь, охранять лес от всяких бед и напастей — от вредных насекомых, от пожара,

---

*Лесник* — лесной смотритель.

*Казенная дача* — часть лесничества, принадлежащая государству.



от порубщиков. Каждое воскресенье он должен был ездить к лесничему верст за 25, в большое село Карачанов Лог, и доносить о том, все ли благополучно в его участке. Если на деревьях появлялось какое-нибудь зловредное насекомое, Гурьянов немедленно давал знать о нем лесничему; если в лесу случался пожар, он опять извещал о том лесничего и сельские власти соседних деревень, и те отряжали крестьян для тушения пожара.

Главные же хлопоты у лесника были с порубщиками. Зимой, когда безлиственный лес, обсыпанный снегом и увешанный серебристым инеем, стоял тихо, неподвижно, как заколдованный, стук топора издали был явственно слышен, и порубщика было легко накрыть. В летнюю же пору, когда лес шумел при ветре, трудно было добраться до порубщика. Застав крестьянина за рубкой казенного леса, Гурьянов должен был отнять у него топор, как видимую улику преступления, заметить порубленное или уже сваленное дерево и о происшедшем донести лесничему. Тяжела показалась Гурьянову такая служба, и в одно из воскресений он заявил лесничему о своем намерении оставить службу... Лесничий очень ценил исполнительного, расторопного лесника, представлял его к наградам и теперь был немало удивлен его неожиданным заявлением.

— Что ж так, Гурьянов? — спросил его лесничий. — Почему тебе вздумалось уходить?

— Тяжело, ваше благородие! — смутившись, ответил лесник.

— Как так — «тяжело»? Отчего же? — переспросил лесничий.

— Вон того мужика из Ахматовки оштрафовали... Мужик-то ведь совсем разорился... Смотреть на них жаль, ваше благородие! — говорил Гурьянов, по старой привычке стоя навтыжку перед начальником.

---

*Лесничий* — заведующий лесничеством.

*Верста* — мера длины, равная 1,06 км.

— Ну, Гурьянов! Не мы с тобой законы пишем, не мы за них и в ответе! — сказал лесничий.

— Точно так, ваше благородие! — почтительно отозвался Гурьянов, — а все-таки...

— Ты уйдешь, на твое место поступит другой... — заметил лесничий. — Может быть, навяжется какой-нибудь недобрый человек, пьяница, взяточник, вор, начнет притеснять... Крестьяне-то взвоют от него! Есть ведь такие лесники... За всеми, брат, каждый час не углядишь...

Стал лесничий уговаривать Гурьянова не бросать службу — и уговорил.

Служба лесника была не только беспокойная, но и опасная. Изловленный им и оштрафованный порубщик мог всегда жестоко отомстить ему, спрятавшись в засаду. Гурьянов мог натолкнуться на целую толпу порубщиков — его могли избить и даже убить до смерти. Голодные люди отчаянны и злы.

Гурьянов за свою многотрудную службу получал небольшое жалованье и даровую квартиру — избу. При избе находился довольно просторный двор, обнесенный сараями и высоким плетнем, с крепкими тесовыми воротами. Высокий плетень и крепкие запоры были нужны для защиты от волков. Вокруг избышки, на все четыре стороны, расходилась глухая дремучая лесная чаща, и волки, особенно в зимнюю голодную пору, с ранних сумерек и до солнышка сновали около поселка лесника, жалобно завывая порой. Серые были иногда до того дерзки, что, пробегая по снежным сугробам около хаты, заглядывали в оконца и чуть не тыкались в них мордой. В таких критических случаях Медведко, черная косматая собака лесника, забирался в сенцы и, чувствуя себя в безопасности, грозно рычал и лаял на незваных пришельцев.

У Гурьянова, кроме лошади, была еще корова, десяток овец и несколько кур.

Поселки лесников называются «кордонами». Тот поселок, где жил Гурьянов с семьей, назывался «Липняговским кордоном».

В течение 15 лет Григорий Гурьянов и его Харитина так сжились с своею избушкой, так привыкли к своему лесному житью-бытью, что им уже казалось, что и на свете нет ничего лучше и краше Карачановского леса и их Липняговского кордона.

Они знали в лесу каждую тропинку, каждую поляну, можно сказать, знали каждое дерево. Знали, где какое растение найти, где какие ягоды растут, где больше водятся грибы. В лесу они были как дома: при солнце и без солнца, днем и ночью они всегда могли найти дорогу к своей хате по таким приметам, которые для других ровно ничего не значили. По наклону вершин, по количеству и по расположению ветвей, по древесным стволам, с одной стороны гладким, с другой — подернутым мхом, они всегда могли безошибочно угадать, где полуденная сторона, где север, где солнечный восход и где закат.

Харитина редко оставляла кордон: лишь иногда в воскресенье вместе с мужем отправлялась она на базар в Карачанов Лог для продажи кур, яиц, масла, баранов, шерсти и для закупки различной домашней провизии.

Тимоша родился и вырос в лесу, на Липняговском кордоне, и так же хорошо, как отец и мать, знал ближайшие лесные чащи. Тимоша был мальчик очень наблюдательный и с большим вниманием относился к совершавшейся вокруг него лесной жизни.

В летнюю пору с утра до ночи он проживал в лесу, собирал ягоды, грибы, цветы; как настоящий лесной зверок, лазал по деревьям, заглядывал в птичьи гнезда и за некоторыми гнездами изо дня в день следил, как вылуплялись маленькие птенчики, как они понемногу подрастали; иногда издали подсматривал, как мать, прилетая с добычей, совала птенцам корм в желтые, широко раскрытые клювы.

Тимоша очень любил лес, и в лесу ему жилось так привольно и дышалось так легко, что он не променял бы своей лесной глуши ни на какие сказочные палаты. Жизнь зверей и птиц, жизнь деревьев и цветов, все живое, все близкое

и далекое занимало его, будило его воображение и мысль. Тихое и ясное благоухающее летнее утро, с пеньем и щебетаньем птиц, с несмолкаемым гомоном насекомых, и легкие белые облака, проплывавшие по небу, и темная туча, застилавшая солнце и в виде черного чудовища поднимавшаяся над лесом, яркие молнии и громовые раскаты, стозвучным эхом раздававшиеся по лесу, и буря с вихрем, шумно налетавшая на лес, сокрушавшая и ломавшая деревья и наполнявшая гулом и треском лесные чащи, и тихий, румяный вечер, золотивший в огне заката зеленые вершины, и синяя звездная ночь, сгущавшая тени в лесу,— все говорило Тимоше чудным, внятным ему языком. А зимой, когда снег валил густыми хлопьями или поднималась метель, Тимоша, припоминая то страшные, то трогательные мамкины сказки, из-за ворот или из окна хаты чутко прислушивался и приглядывался к тому, как Ветер Ветерович разгуливал по лесу и заносил его белыми пушистыми сугробами. И думалось тогда Тимоше: не увидит ли он из-за снега Бабу-ягу, едущую в ступе, или мужика, по наущению злой мачехи увозящего в лес на погибель свою милую любимую дочку. Или ему думалось: не увидит ли он, как медведь тащит к себе в берлогу девицу-красавицу...

Тимоше уже минуло шесть лет. Он был мальчик небольшого роста, но плотный, здоровый, с румяными щеками, с веселыми смеющимися ямками на щеках, с большими ласковыми и кроткими голубыми глазами, с густыми белокурыми волосами, светлыми и блестящими, как хороший чесаный лен. Отец редко его подстригал, и поэтому волосы неровными прядями почти закрывали ему уши и падали на лоб.

Отец по зимним вечерам уже начинал понемногу учить его грамоте. Жена лесничего, очень добрая, приветливая женщина, подарила однажды Гурьянову для сына книжку с картинками, изображавшими зверей и птиц, корабли, плывущие по бурному морю, горы, дышащие огнем, и какие-то невиданные дворцы и храмы, леса и пустыни далеких

стран. Эту книжку, как драгоценность, лесник держал в шкапу под замком, и для Тимоши было истинным праздником, когда отец вынимал книгу из заветного шкапа и давал Тимоше смотреть картинки и объяснял их. Мальчуган полюбил эту книгу и относился к ней так же бережно, с таким же глубоким благоговением, как и отец.

Так до сего дня тихо и безмятежно шла жизнь в хате лесника.

## II

В летнюю пору Григорий Гурьянов почти каждый день объезжал свой лесной участок. Так и в то памятное для него утро пустился он в свой обычный путь по знакомой дорожке, вовсе не предчувствуя, что вечером, по возвращении домой, он найдет не все ладно в своей хате и несколько дней станет горевать, не будет знать ни днем покоя, ни отдыха в ночной тиши.

Проводив мужа, Харитина взялась за свое шитье и села на крыльце под навесом, защищавшим ее от солнечных лучей.

Ветерок не подувал. В тихом утреннем воздухе уже чувствовалось горячее дыхание наступающего знойного летнего дня. Лес, со всех сторон зеленою стеной окружавший Липняговский кордон, стоял не шелхнувшись, в своем великолепном летнем убранстве, цветущий, благоухающий, и словно замер в дремотном безмолвии под ясными голубыми небесами. Чирикание птиц в соседнем кустарнике порою смолкало, и было явственно слышно, как где-то дятел долбил дерево. Куры с тихим кудахтаньем бродили по двору и рылись в песке. Медведко лежал в тени у ворот.

Тимоша собирался в лес и искал ножа: ему нужно было вырезать небольшую вербочку. Он вскочил на лавку и, поднявшись на цыпочки, шарил рукою по полке. На полке было темновато. Шаря по ней рукою, Тимоша как-то

нечаянно толкнул локтем чайную чашку, стоявшую на краю полки. Чашка полетела на пол и разбилась вдребезги. Харитина услышала звон и треск разбившейся посуды и с тревожным видом заглянула в хату.

— Тимошка, ты что тут... чего разбил? — спросила она и вдруг, всплеснув руками, вскрикнула отчаянным голосом: — Чашку отцовскую? «Золотую чашку»! Ах ты, пострел! Ах ты, баловник!.. Что ты теперь наделал, а?

Тимоша обомлел. Ухватившись рукой за полку и растерянно смотря вниз, он стоял на лавке неподвижно, как статуя, ни жив ни мертв. Солнечный луч, яркою полоской падая из окна, играл на осколках разбитой чашки, и Тимоша, как очарованный, не мог глаз отвести от этих осколков, блестевших на темном щелеватом полу.

— Что уж отец-то скажет! — в волнении говорила Харитина. — Уж он тебе задаст!.. Какую чашку-то разбил! А! Подумать только...

Та чайная чашка была, действительно, не простая чашка. Кум, богатый торговец из Карачанова Лога, привез ее Гурьянову из Нижнего в подарок, и эта великолепная чашка считалась редкою, дорогою вещью в хате лесника. Чашка была большая и очень красиво расписана цветами и золотом. Из этой чашки никто не пил: она обыкновенно стояла в шкапу. Вчера, как на грех, Гурьянов вынул чашку из шкапа, чтобы показать ее товарищу-леснику, заехавшему к нему на перепутье. Вечером, по отъезде гостя, лесник второпях поставил ее на полку, а утром позабыл о ней.

Тимоша наконец соскочил на пол и сел на лавку, печально понунив голову. Харитина тою порой, чуть не плача с досады, подобрала осколки и положила их на стол. Мальчуган опять загляделся на них: эти блестящие осколки решительно погружали его в какой-то тяжелый столбняк.

— Вот приедет отец... Ужо, погоди... Что он с тобой сделает, постреленок, — сердито проворчала Харитина, уходя на крыльцо.

В грустном раздумье остался Тимоша... До сего времени он не боялся отца: он знал, что отец любит его. Григорий всегда был ровен с сыном, ласков, никогда не бил его, пальцем не тронул. Но ведь зато Тимоша никогда еще и не совершал такого преступления, как сегодня. Шутка ли — расколоть «золотую чашку»! Он знал, как отец берег эту чашку, как он дорожил ею и сколько раз при нем, при Тимоше, любовался на нее. Если бы даже и мать ничего не сказала, он сам бы понял всю громадность своей вины. А теперь причитания матери, ее сердитые речи и угрозы еще более нагнали страха на нежную детскую душу. Если бы он знал, что отец сделает с ним! Если бы отец побил его, оттрепал за волосы — беды в том большой еще нет. Но ведь мать не говорит, *что* ожидает его за разбитую чашку... «Вот уж воротится отец! — ворчит она, — что он с тобой делает!..»

«Господи! Да что же он со мной сделает? Что?!» — спрашивал себя Тимоша и не мог ответить на этот вопрос. Он долго просидел в хате, раздумывая о приключившейся с ним беде. Нежданно беда налетела на него, как вихрь, — страшная, непоправимая беда... Если бы склеить чашку! Но где же ее склеить, когда она разлетелась в мелкие дребезги! Никто уже не склеит эту несчастную «золотую чашку»... Смотря на блестящие осколки, Тимоша наконец почувствовал, что какая-то глухая, ноющая тоска защемила ему сердце. Он невольно тяжело вздохнул... Ему стало невмочь долее оставаться одному в избе, и он вышел на двор. А мать увидала его и опять угрожающим сердитым тоном твердит свое:

— Погоди, баловник! Вот уж воротится отец... Погоди-и-и!..

Тимоша побродил по двору, подошел к воротам и прилег к Медведке. Тот, вытянувшись, лежал в тени и сладко подреживал. Тимоша обнял его обеими ручонками и прижался к нему, и светлые, льняные Тимошины волосы смешались с черною лохматою шерстью Медведки. Как хорошо начался

день!.. Тимоша хотел пойти в лес за вербочкой — и вдруг... Ах, эта «золотая чашка»! И мальчуган, припав лицом к своему косматому другу, горько заплакал. И слезы текли у него по щекам, падали ему на руку и на лохматую голову Медведки. Тот, как бы с недоумением посмотрев на Тимошу, лениво приподнял голову, но через мгновение снова опустил ее на траву и задремал... А мальчуган тихо плакал, склонившись над ним.

Солнце начало сильно припекать. Птички замолкали в лесу, и еще явственнее стало слышно, как дятел прилежно долбил дерево. Ушла Харитина в избу и, погода немного, крикнула из сеней:

— Ступай обедать-то, баловник!

И «баловник», понутив голову, пошел в избу, но обедалось ему на тот раз плохо.

— Для чего на полку-то полез? Чего там понадобилось? — сердито спрашивала его мать.

— Ножа искал...— ответил ей Тимоша, жуя корку хлеба.

И опять страшные слова, опять угрозы:

— Вот уж погоди! Будет тебе «нож»...

Харитине, разумеется, было очень жаль разбитой чашки, но гнев ее уже поостыл и вспыхивал лишь тогда, как она взглядывала на блестящие осколки, лежавшие на столе. Она видела заплаканные глаза и печальное личико Тимоши, и ей уже, пожалуй, стало жаль парня, но, по своей привычке, она все-таки делала «для острастки» сердитый вид и не могла удержаться от ворчанья.

Весь остаток дня Тимоша провел в унынии и в тревоге. На месте ему не сиделось и в лес не хотелось идти. Посидел он на крыльце, строгая свою липовую палку, потолкался по двору, заглянул в избу, но при виде осколков «золотой чашки» опять поскорее убрался на двор; много раз выходил за ворота и прислушивался: не едет ли батя, не слышать ли в лесу лошадиного топота... К вечеру страх стал пуще



разбирать Тимошу, чаще прежнего он стал посматривать на лесную дорогу и прислушиваться... Не слышать лошадиного топота, но, вероятно, отец уже скоро возвратится,— и Тимошино сердце усиленно бьется и замирает от смутного страха при воспоминании о разбитой чашке, при мысли о том, что ужо сделает с ним отец... Он не раз норовил спросить у матери: что же ему будет? — но не решался заговорить, видя ее сердито нахмуренные брови и крепко сжатые губы.

Вот и солнце уже низко спустилось, зашло за темные леса,— и в то время как вершины деревьев горели в огне заката, под кустами там и сям ложились синеватые, полупрозрачные вечерние тени.

«Теперь уж скоро!..» — думал Тимоша, стоя за воротами и тоскливо посматривая на узкую лесную дорогу. Он так подолгу, так напряженно прислушивался, что ему уже раза два в тишине наступавшего вечера слышался лошадиный топот и голос отцовский; однажды даже слышался ему в лесу звон колоколов, хотя колокольному звону было неоткуда донестись до него. Тимоша стоял за воротами без шапки, вертя в руках свою тоненькую липовую палку, и не знал, что же ему делать и как быть... Мать сердится на него, ворчит, отцом грозит... В избе на столе осколки «золотой чашки» лежат...

И вдруг словно вдохновение осенило Тимошу. «Убегу, убегу, пока не поздно... убегу скорее!» — промелькнуло у него в голове, и он пошел, но оглянулся на свою хату. «Куда ж бежать? В лес... куда ж больше!» Бежит ли он совсем из родного дома или на время, в том Тимоша не давал себе отчета. Только одно было у него на уме: укрыться, спрятаться поскорее от угрожавшей ему беды. И, уже не оглядываясь на родную хату, мальчуган торопливо пошел в лес и побрел по лесу не путем, не дорогой, а прямо в ту сторону, где было еще светло, где закатывалось солнце и откуда из-за листвы, словно брызжа золотом, проникали в зеленую лесную глушь

последние солнечные лучи. И шел, шел Тимоша, не оглядываясь назад, не озираясь по сторонам, продираясь через кусты, перелезая через стволы поваленных бурей деревьев, через гнилые, мшистые колоды, через кочки и старые пни. Скорее! Дальше, дальше от родного дома!

Вскоре после того, как Тимоша под влиянием внезапной решимости углубился в лесную чащу, Григорий Гурьянов возвратился домой. Сели ужинать. Летом в хорошую погоду они обыкновенно ужинали на дворе перед крыльцом, и Медведко в это время всегда сидел тут же перед столом в выжидательной позе и пристально, упорно смотрел на хозяев. Тимоша давал ему кусочки хлеба, и лесник, глядя на них, иногда весело приговаривал:

— Вот вся семья вместе — и сердце на месте!

Сегодня лесник не сказал своей прибаутки.

— А Тимоха? — спросил он, берясь за ложку.

— Тимошка твой наварзал сегодня... теперь, видно, и прячется! — ответила Харитина. — Чашку разбил.

— Какую чашку? — торопливо переспросил лесник. — «Золотую»? Кумов-то подарок!..

— Да! — промолвила жена.

— Вот так-так! Вот тебе и чашечка... — недовольным тоном протянул Григорий. — Не успел и попить из нее... Сберегли!.. Ну и баловник же! А, чтоб его... Да как его угораздило?

— Полез на полку, да как-то и смахнул... — хмурясь, проговорила Харитина. — Уж я же и припугнула его... Вот ужо, говорю, отец-то придет...

— Тебя припугнуть-то бы надо! — заметил Григорий. — Нет смекалки, чашку-то в шкаф убрать...

Пужинали и стали собираться спать.

— Да где ж Тимоха-то? — спрашивал лесник.

---

*Наварзать* — значит что-нибудь испортить. Местное выражение (примечание П. В. Засодимского).

— А прах его знает!..— с досадой промолвила Харитина, думая про себя: «Вот еще, отвечай за него, за пострела!» — Забился, поди, в сарай либо в сено зарылся... Ужо придет, не бойся! — добавила она.

На том и порешили и успокоились.

### III

Солнце закатилось. Темные тени сгущались в лесу. А Тимоша все шел да шел. Из страха погони он не решался остановиться и отдохнуть. Медведко не раз очень далеко прибегал за ним в лес. А ну как батя возьмет теперь Медведку и отправится верхом на поиски! Медведко соследит его непременно...

На небе начали проступать звезды, а в лесу становилось все темнее и темнее. Яркая заря, красным пламенем долго сквозившая из-за деревьев, наконец погасла. Звезды ярче заблестали в синем небе; ночная мгла окутывала лесные чащи. Тимоше стали мерещиться впотьмах всякие страшилища; он часто вздрагивал. Мальчуган еще никогда не бывал один в лесу так поздно ночью.

Все пугало его и приводило в трепет. И белый ствол березы, смутно, как призрак, выступавший из-за темных лохматых елей, и черный обгорелый пенек, и пни с громадными вывороченными из земли корнями, таращившиеся в полумраке, как какие-нибудь сказочные чудовища,— все смущало теперь его живое детское воображение. Иногда ему было страшно идти вперед: порой ему чудилось, что за ним как будто кто-то крадется, и так близко-близко... В такие минуты его всего, с ног до головы, словно варом обдавало, и мурашки неприятно, мучительно пробегали по спине. А останавливаться было еще хуже... Деревья стоят тихо,

---

*...словно варом — как будто кипятком.*

даже на проклятой осине лист не дрожит, узорчатый папоротник и высокий багульник с белыми цветами, такими пахучими ночью, не шевельнутся.

А между тем в лесу вокруг Тимоши не было полного безмолвия... Какие-то неясные, неуловимые шорохи неслись со всех сторон — словно деревья на своем языке, непонятном людям, шептались между собою. Тимошу то вдруг теплом обдавало, словно кто-то невидимый дышал на него, то ему казалось, как будто кто-то проносится над лесными чащами в звездной вышине... Почему же вершины деревьев вдруг начинают вздрагивать и шелестеть листьями, как будто под чьею-то легкою стопой?.. И страшно, жутко становилось Тимоше, когда он иной раз невольно начинал прислушиваться к скрадывающемуся шороху, таинственно, неуловимо расходившемуся вокруг него — не то там, в темной глубине лесной чащи, не то где-то по-над лесом. И Тимоша чувствовал, что теперь лес живет своею ночною жизнью, совсем иною, чем днем.

Наконец Тимоша совсем выбился из сил и в изнеможении прислонился к какому-то толстому, развесистому дереву. Было уже поздно. Те звезды, что мерцали из-за вершин деревьев, теперь уже стояли высоко в небе. В воздухе, напоенном ароматом лесных цветов и трав, порою проносилось свежее дыхание ночного ветерка... Тимошу стало сильно клонить ко сну; голубые глазенки его слипались, волосы лезли ему на лоб, и он уже не отводил их от лица. Спать!.. Дома он теперь уж давно бы спал... Ноги подкашивались под ним, голова отяжелела. Но как он ни был измучен страхами и усталостью, все же мог еще сообразить, что на земле спать ему нельзя: может наскочить на него голодный волк или какой-нибудь другой лесной зверь, может змея ужалить. Нужно забраться на дерево...

---

*...на проклятой осине — в народе осину называют проклятым деревом, потому что на ней, по легенде, повесился Иуда, предавший Христа.*

Тимоша шарит руками по неровному стволу, ища какого-нибудь сучка, и, собрав последние силы, карабкается на дерево, перебираясь с ветви на ветвь, все выше и выше... Довольно! Теперь можно сесть боком вот на эту толстую ветвь и прижаться к дереву... Вот так! Теперь ни зверь не съест, ни змея не подкрадется к нему... Тимоша дремлет, а мысль его летит к родной хате: что-то теперь делают батя с мамкой? Хватились его, ищут или, может быть, уже спят? Спят куры на своей насести, спит Медведко на крыльце, спит в своем хлеве Буренка, Серый фыркает спросонок... Все на своем месте, только Тимоша, как звереныш, забился на дерево в глухом лесу. И представляется ему родная хата, та лавка, где он обыкновенно спал... Он чувствует, что голова его начинает слегка кружиться, как всегда бывает в те мгновенья, когда засыпает человек... Но вдруг Тимоша вздрагивает... Летучая мышь неслышно, как тень, налетела на него, чуть не коснувшись его лица своими легкими крылами, и в то же мгновение пропала, потонув во мраке. Тимоше опять стало жутко впотьмах; он беспокойно заворочался на своей ветви и крепче прижался к дереву. Немного погодя дикий жалобный крик, подобный стону, пронесся в ночном безмолвии: то в лесной чаще прокричал филин... Потом, уже впросонках, Тимоша слышал, как неподалеку от него какая-то ночная птица громко защелкала клювом.

Тимоша не мог заснуть как следует и всю ночь провел в тяжелом полузабытье. Раз он едва не упал с дерева: ему почудилось, что он — дома, лежит на лавке, — и он захотел потянуться, порасправить ноги. Еще ладно, что он скоро опомнился и не выпустил ветви из рук... Уже перед утром, когда серые предрассветные сумерки сменяли ночную тьму, Тимоша в полудремоте, с усилием полураскрыв глаза, видел, что какой-то зверь, не то лисица, не то волчонок, прошмыгнув под деревом, остановился на минуту, как бы к чему-то прислушиваясь, и скрылся в чаще. Это был тот час, когда дрема с особенною силою овладевает человеком.

Тимоше страшно хотелось спать, до того, что даже появление зверя под деревом уже не смутило его.

Когда совсем рассвело, золотисто-розовая полоса засветилась на востоке, зачирикали и заперекликались птички, Тимоша решил спуститься с дерева,— и тут же, у кочки, поросшей высоким красивым папоротником, мальчуган прилег и моментально заснул как убитый.

Долго и крепко спал Тимоша, проснулся поздно, когда солнце стояло уже так высоко, что лучи его сначала совсем было ослепили заспанные Тимошины глаза. Раскрыв, наконец, глаза, Тимоша увидел, что на рукаве его холщовой рубахи спокойно сидела черная бархатистая бабочка и яркий солнечный луч играл на ней. Тимоша невольно загляделся на нее: эта красивая черная бабочка так резко отделялась своими темными бархатистыми крылышками от белого рукава его рубахи.

Тимоша, не сгоняя бабочку, осмотрелся кругом. Теперь, при веселом дневном свете, опять хорошо было в лесу. И Тимоша опять узнал тот лес, который он так любил в летнюю пору, и позабыл он в те минуты все темные страхи, пережитые им в предшествующую ночь, позабыл на мгновение и о своем печальном настоящем и неизвестном будущем.

Зеленая даль, казалось, вся была пронизана золотом солнечных лучей. Птички пели, трещали насекомые. Тимоша посмотрел вверх. Толстое развесистое дерево, приютившее его на ночь, был старый, почтенный вяз. Вон и та ветвь, где он ночью томился в полудремоте. А теперь он подкрепился сном, приободрился и с черною бабочкой на рукаве продолжал лежать и нежиться под тенью гостеприимного вяза. Наконец ему захотелось пить, надо было поискать поблизости воды.

Тимоша пошевелился, бабочка неторопливо вспорхнула и полетела, трепеща крылышками. Тимоша пошел следом за ней. Черная бабочка летела все вперед и вперед в голубую сияющую даль, мальчуган шел за ней, и бабочка скоро привела его к ручью. Тут Тимоша в изумлении остановился. На берегу ручья, в тени плакучих ив он увидел целую

тучу таких же черных бабочек, как его знакомая. Иные из них сидели на траве, другие перелетали с места на место, кружась и порхая взад и вперед, то вверх, то вниз. Ручей был неглубок: песчаное дно его виднелось, как на ладони; серые камни, подернутые зеленовато-бурым мхом, торчали из воды. Место было глухое, пустынное. Тимоша вволю напился прозрачной студеной воды, вымылся, выкупался. Бабочки продолжали кружиться в синем воздухе, переносясь с места на место. Две-три бабочки не отставали от Тимоши, пока он купался, и каждый раз, как он показывался из воды, садились ему на плечи, на грудь.

Простившись с черными бабочками, Тимоша опять тронулся в путь-дорогу. Куда — он и сам не знал. Идя по лесу, Тимоша думал: что-то теперь дома? Что батя делает? Что делает мать? Ищут ли его? От этих дум и от воспоминаний о родной хате взгрустнулось Тимоше. «А что, если бы я вернулся домой?» — спросил он себя. Но нет! — там на столе лежат эти ужасные осколки... И Тимоша не знает, что сделает с ним отец за разбитую чашку. Он помнит угрожающие взгляды матери, ее многозначительное покачиванье головой, в его ушах все еще звучат зловещие слова: «Ужо, погоди! Вот приедет отец!..» Нет, уж лучше идти дальше!

Тимоша тою порой незаметно изменил направление и опять шел в ту сторону, откуда светило солнце. А солнце в то время светило с полудня, и наш странник, значит, с запада повернул на юг. Тимоша сильно проголодался, ведь у него со вчерашнего обеда маковой росинки не бывало во рту. Он наелся дидля, а потом нашел большой малинник, весь усыпанный ягодами: знать, деревенские ребятишки еще не забирались сюда. В лесу стало жарко, душно. Несколько раз Тимоша садился отдыхать и ложился наземь в тени деревьев.

---

*Дидель* — довольно высокое трубчатое растение, сладковатое на вкус. Деревенские ребятишки едят его, а также делают из него свистульки (примечание П. В. Засодимского).

Шел, шел Тимоша, да вдруг весь вострепнулся и остановился как вкопанный. Где-то неподалеку, за деревьями, раздавались человеческие голоса.

— Надо бы, брат, поторапливаться! Гляди-ка, как там затуманивает... — слышался хриплый мужской голос.

— Уж немного осталось... Смечем живо! — отозвался другой.

— Хоть бы до дождика домой-то добраться! — слышался женский голос.

— Поспеем, не бойся!..

Тимоша, затаив дыхание и крадучись, как дикий зверок, подошел поближе к тому месту, откуда доносились голоса, и из-за деревьев увидел поляну, а на поляне — двух крестьян и бабу, убиравших сено. Они уже дометывали стог. Рыжая косматая лошаденка бродила у опушки леса, пощипывая траву. Тимоша, осторожно крадучись, обошел полянку и направился далее. После того в лесу он уже более не встречал людей.

Крестьянин угадал. Когда время было уже за полдень, вдруг солнце спряталось за тучи, и в лесу стало быстро темнеть. Надвигалась гроза. Гром гремел вдали, и вершины деревьев порою шумели и гнулись под напором налетающего ветра. Будет дождик, может быть ливень, даже с градом. Вон в потемневшей вышине проносятся над лесом черные обрывки туч. Под грохот грома зловещим синеватым светом молнии вспыхивает лесная чаща.

Надо бы спрятаться, но некуда, а Тимоша уже знает — от отца не раз слышал — что опасно быть в лесу в непогоду. Под налетом бури ломаются ветви, ломаются деревья, с корнем вырываются из земли. Наконец, может зашибить градом, опалить молнией. Хорошо тому в непогоду, у кого есть кров над головою.

Вдруг Тимоша увидел невдалеке старый развесистый дуб и направился к нему. На счастье, в том дубе оказалось дупло. Мальчуган, как опытный житель лесов, прежде чем



залезать в дупло, пошарил в нем своею липовою палкой: нет ли там какого-нибудь зверка, змеи, ящерицы или другой гадины? Дупло оказалось незанятым. Съежившись, Тимоша кое-как протискался через узкое отверстие в дупло, слегка оцарапав себе плечи и спину. Помещение было темновато, но довольно просторно и удобно для не имущего другого крова и защиты от грозы; в дупло нанесло земли и много сухого увядшего листа: лежать было мягко.

Не прошло пяти минут после того, как Тимоша укрылся в дупло, и гроза со всею яростью, накипавшею за длинный ряд солнечных знойных дней, разразилась над лесом. Молнии горели не переставая; раскаты грома треском и гулом наполняли лесную глубину. Лил дождь; ветер ревел как бешеный. Деревья шатались и скрипели; сухие сучья и листья тучей летели с деревьев. Хаос воцарился в лесу...

Прошла гроза, прошумела непогода. Вечер был еще не близко, но мальчик решил провести ночь в дупле. Полюбилось ему это мягкое, уютное гнездышко. И торопиться ему было некуда. Вчера он еще боялся погони, а сегодня погони не ждал. Время ему показалось очень долго и очень длинен пройденный им путь. Сутки ему показались за несколько дней, и он думал, что уже зашел невесть куда. Перед наступлением ночи Тимоша вылез из дупла, натаскал к дубу сухого листа и валежника и, забравшись опять в дупло, этим листом и валежником заслонил отверстие. Сухо, хорошо в дупле; только одно горе: Тимоше есть хочется, а есть нечего взять. С каким удовольствием он съел бы теперь один из таких кусочков хлеба, какие он бросал, бывало, Медведке! В желудке точно червяк сосет. Но нечего делать! Приходится спать без ужина. Свернувшись в комочек и подложив руку под голову вместо подушки, Тимоша наконец заснул. Ночью он часто просыпался: все ему слышался какой-то неясный шорох у входа в дупло.

— Кыш, кыш! — говорил он вполголоса, приподнимаясь на своем лиственном ложе и помахивая рукою.

Поутру, когда Тимоша проснулся и было уже совсем светло, из-за сухих листьев, прикрывавших вход в дупло, высунулась темная острая мордочка, и бойкие живые глазки заглянули на Тимошу. То был еж, зверь вовсе не опасный. Мальчуган сразу узнал его.

— Ежинька, ежинька! — ласково заговорил он, протягивая руку к прищельцу.

Но тот быстро вооружился, оцетинив свои иглы и спрятав морду и лапочки, а затем бочком-бочком проворно выбрался из дупла.

И опять Тимоша побрел по лесу неведомо куда. Но теперь он стал чувствовать сильную усталость во всем теле, чувствовал себя разбитым, и ноги его шагали через кочки и пни уже не так бойко и прытко, как в первый день странствования по лесу. Часто его томила жажда: ручьи не попадались на каждом шагу. Он был голоден: от такой пищи, как сладкий дидель да разные ягоды, у него только без толку бурчало в желудке. Одиночество угнетало его все тяжелее и тяжелее. Все чаще и чаще он стал вспоминать об отце, о матери, о родном доме. Жаль ему стало батю и маму. Бегство из родной хаты ему казалось теперь уже вовсе не в том свете, в каком представлялось ему в тот несчастный вечер, когда мать страшила его. Теперь уж он не боялся погони; напротив, он был бы очень рад, если бы батя или какой-нибудь лесник теперь нагнал его и вывел из лесу к людям. Зачем он не пристал тогда к крестьянам, убиравшим сено на поляне? Они вывели бы его куда-нибудь в деревню, а там уже он нашел бы дорогу к родному дому.

Тимоша уныло брел по лесу и чаще прежнего ложился отдыхать. Ночь он опять провел на дереве в томительном полузабытьи и часто бредил, звал то батю, то мать, то кликал Медведку.

И опять забрезжило утро, опять наступил день.

Опять Тимоша брел по лесу и с горечью думал: «Напрасно я убежал!» Конечно, напрасно... Ведь не убил же бы

его отец! Отец его любит. «Воротиться домой?» Уж и прежде ему мелькала эта мысль. «Да полно, смогу ли я теперь найти дорогу к родной хате? Где она, наша хата? В какой она стороне?..» Но лишь теперь в первый раз совершенно отчетливо и ясно встала перед ним эта мысль и поразила его ужасом. Нет, не найти ему дороги к дому... Теперь, если бы он и захотел, ему уже не выбраться из леса на вольный свет, к людям.

«Что я наделал! Что я наделал!» — с отчаянием говорил себе мальчуган, озираясь на лесные чащи, обступавшие его стеною со всех сторон. Он как будто теперь только в первый раз увидал перед собою эти дремучие чащи и понял весь ужас своего положения. Куда он зашел?.. Он заблудился, он умрет с голода, или зверь набежит на него и загрызет, или змея ночью, во время его сна, подползет и ужалит его насмерть. Куда ни оглянись, везде лес, отовсюду гибель грозит. Лесная сила так и прёт, надвигается на него со всех сторон. Лес делался все гуще, дремучее, непролазнее; темнее становились лесные чащи; даже певчих птиц стало не слышать. Лесная дичь, лесная глушь обступала его, дорогу ему заслоняла.

Страх, голод, усталость, сожаление о покинутой родной хате, об отце, о матери донимали бедного Тимошу. Он плакал, плакал горько и еле брел, продираясь через лесные трупцы и робко озираясь по сторонам. И не раз в чащах слышался его жалобный, дрожащий детский голосок: «Ау-ау-у!» Но никто не откликался... Только ветер шумел по лесу.

Тимоша смутно помнит, что он, наконец, выбрался на какую-то полянку, но тут запнулся за что-то, должно быть за корень дерева,— и упал... хотел встать и... не мог: голова закружилась, в ушах — шум и звон. Земля, и небо, и шумевшие от ветра деревья — все вокруг него ходуном заходило... В глазах потемнело — и Божий мир исчез для него...

Смятение и тревога в хате лесника...

На другой день по исчезновении Тимоши лесник с женою обошел и объездил все окрестные лесные чащи, исколесил почти весь свой участок. Брали с собою и Медведку, но тот только вспугивал птиц и без толку лаял, бегая взад и вперед. Тимоши и след простыл: не помогло и Медведкино чутье.

— Чем ты застращала его этак? — спрашивал Григорий Гурьянов жену.

— Да ничем,— отзывалась Харитина.— Говорила только: «Вот уж отец придет... Погоди,— говорю,— что он уж с тобой сделает!..»

— Э-эх ты!..— хмурясь, говорил Григорий.— Из-за чашки... Экое дело, подумаешь! Запугала парнишку зря... Вот теперь... Э-эх!

И лесник скорбно качал головою, как бы желая сказать: «Вот теперь ищи-ка его!..»

— Ведь пальцем не тронула его, сердечного...— причитывающим тоном говорила Харитина.— И что такое с ним подеялось, не придумаю... И ума не приложу, как такое стать могло... Господи помилуй! Да если бы я знала да ведала... Да провались она, эта чашка! Пропади она пропадом, окаянная, жили и без нее!.. И ты тоже разахался над ней... Невидадь, подумаешь!

И по словам Харитины выходило так, что во всем будто бы виноват сам Григорий, виноват тем, что очень расхваливал и берег эту чашку, «ахал» над нею. Лесник только хмурился и не возражал жене: что уж тут говорить, языком колотить понапрасну... Думалось ему, что Харитина виновата — оттого, что чашку в шкаф не поставила. И горько было Григорию, что из-за такой дряни, из-за чашки, пропал у него Тимоша, свет и радость его лесной хатки.

Гурьянов очень любил своего сынишку, но, как многие отцы, не умел выказывать любви нежностью и ласками, так

же точно, как теперь, в минуты жгучего горя, он не мог ни стонать, ни хныкать, и вообще не мог, по его словам, «выносить своего горя на люди». Он умел горевать только про себя, в душе, но его людьми не видимое горе было тяжело и глубоко.

На следующий день Гурьянов позвал к себе на помощь товарищей-лесников и нескольких крестьян из соседней деревни Онурьина. Много мест они исходили и изъездили по лесу. Тимошу не нашли... Может быть, Гурьянов проезжал близко — в нескольких саженьях от беглеца, но из-за деревьев не видал его, а тот не видал отца. Григорий, усталый, измученный, убитый горем, возвратился домой. Накануне он еще надеялся, а теперь уже последняя надежда исчезала...

Харитина причитала и горько-горько плакала, глаз не осушая... Лесник не плакал. Мрачный, унылый сидел он за столом, опустив голову на руки.

«Опустела хата без Тимохи! — с тяжелой душевною болью думал он. — Застращать этак парнишку... И из-за чего... Ах, дурёха! Малого рада была на глиняную чашку променять. А теперь сама ревет...»

Умри Тимоша от какой-нибудь болезни, утони, сгори на пожаре, — тяжело, прискорбно было бы для Григория, но все же не было бы так горько, как теперь... Теперь он как будто сам, своими руками загубил свое родное, милое детище...

Смятение и тревога в хате лесника стали сменяться уже мрачным, безнадежным отчаянием. Идти было некуда, негде искать... Теперь уж ясно: Тимоша убежал в лес и заблудился... Но и на третий день лесник не мог усидеть спокойно дома, не мог совершить обычный объезд по своему участку и опять с Медведкой пошел бродить по лесу...

В тот же день с кошаевским пастухом приключилась очень странная, загадочная история.

---

*Сажень* — мера длины, равная 2,134 м.

Старик пас свое стадо на лесной поляне в пяти верстах от деревни Кошаево и верстах в шестнадцать от Липняговского кордона, где жил Григорий Гурьянов. Старик сидел в тени деревьев и плел лапти. Отложив работу в сторону, он достал свою коротенькую трубку-носогрейку, насыпал в нее мелко перекрошенной махорки и только что хотел было закурить, как вдруг заметил, что коровы одна за другою потянулись к одному месту — на противоположный конец поляны. Коровы столпились как будто вокруг чего-то, беспокойно теснились одна к другой, наклоняли головы и фыркали, словно что-то обнюхивая, иные принялись жалобно, протяжно мычать. «Что за притча!» — подумал пастух, но не хотелось ему оставлять свой тенистый уголок и тащиться по солнпеку.

— Ну! Чего вы там устались!.. Эй, вы! Вот я вас!.. — крикнул старик и, взяв свой длинный веревочный бич, с треском рванул им по воздуху.

Коровы не расходились и замычали еще жалобнее...

— Тьфу ты, пропасть! Да что они всполошились!.. — проворчал пастух и, отложив в сторону незакуренную трубку, нехотя побрел через поляну. — Знать, какую-нибудь мертвечину оглядели...

— Подхожу я, — рассказывал он вечером своим кошаевцам, — и вижу, братцы вы мои, лежит в траве мальчишечка, лежит этак бочком, одну руку под голову подвернул... Лежит, не шевелится, ровно мертвенький... Лицо белое — ни кровинки, губы посинели. Руки, ноги все исцарапаны, волосенки всклокочены, ровно путаный лен. Рубаха порвана, у штанов по низу клочья висят... И без шапки!.. А в руке липовую палочку зажал — крепко таково... Смотрю я, братцы, и дивлюсь на него. Откуда парнишка взялся? Вижу, что не наш, не кошаевский... наших-то лоботрясов ведь всех знаю... Дальний, думаю, забеглый — видно,

---

*Трубка-носогрейка — короткая курительная трубка.*

в лесу заплутался! Наклонился я к нему, потрогал за голову... Голова — теплая. Ну, думаю, ладно! Малец-то, значит, еще жив... только, знать, попритчилось ему что-нибудь в лесу... Отогнал я коров-то, стал ему голову водою мочить, растирать руки, ноги. И отощал же, миляга!.. И долго я этак, братцы, провозился с ним... наконец, очнулся. Увидел он меня и заплакал... «Что это,— говорю,— дитятко, с тобой? Откуда ты взялся? Откуда к нам забрался?» А он мне: «Дай,— говорит,— дедушка, поесть!» А у самого слезы-то так и катятся. Жаль мне его тут стало, вот как жаль!.. «Ну, вот,— говорю,— родной, и ладно... в добрый час!.. Поешь-ка,— говорю,— лучше, Христос с тобой!» Дал ему хлебушка (корки-то со мной были!). Поел, миляга,— пить запросил... Только вот беда: сам идти не мог — знать, уж больно притомился... Почитай, всю дорогу волок его на себе... Вон ведь, в чем только, братцы, душа держится!..

И старик указал на мальчугана, сидевшего на приступочке у Аксиньиной избы.

Кошаевцы — стар и мал — обступили мальчугана и стали спрашивать: кто он, откуда и как забрался к ним в лес? Мальчуган отвечал сбивчиво: он — сын лесника с Липняговского кордона, давно бродит он по лесу, заблудился... Мальчуган был очень слаб, часто впадал в дремоту и тихо бредил. Кошаевцы оставили его в покое.

Через день после того один соседний лесник заехал к Гурьянову и сообщил слух о том, что кошаевский пастух нашел в лесу какого-то мальчугана.

— Жив?! — вскрикнула Харитина, побледнев и всплеснув руками.

— Сказывали, что был жив, а теперь не знаю... — ответил лесник. — Больного, говорят, нашли в лесу... еле ноги передвигал...

Григорий молча поднялся с лавки и вышел из хаты. Торопливо оседлал он своего Серого и вихрем вылетел за ворота. Он в те минуты, казалось, весь ушел в одну мысль,

в одно горячее, страстное желание — найти сына живым. Он понукал Серого... Серому как будто сообщились горячность и нетерпение всадника, и он, против своего обыкновения, неся по узкой лесной дороге во всю скачь, разметав по ветру свою густую темно-серую гриву. И Серый неся, неся — и только придорожные березы и ели мелькали в глазах лесника. Прохожие, изредка попадавшиеся навстречу Гурьянову, при виде его бешеной скачки и сильно возбужденного лица сообразили, что, должно быть, лес горит!

Всю дорогу темные опасения и страхи томили лесника. Жив ли Тимоха? Застанет ли он его в живых?.. Ну, Серый! Неси, неси скорее! Выноси, голубчик!.. Мелькают ели, мчится Серый, топот несется по лесу...

Через час Серый, тяжело дыша и весь в пене, подскочил к кошаевской околице.

— Где тут, говорят, мальчика нашли? — спросил Гурьянов первого встретившегося ему на улице кошаевского крестьянина.

— Нашли, нашли, брат... Точно! — ответил тот. — У тетки Аксиньи он... Вон слева крайняя изба! А ты что?..

Но Гурьянов, только молча кивнув ему головою в знак благодарности, уже мчался далее по улице, поднимая пыль. Круто осадив коня перед указанною ему избушкою, лесник соскочил с седла и, заглянув в полутемные сенцы Аксиньиной хаты, остановился на пороге. Там, на земляном полу на каком-то разостланном тряпье полулежал, прислонившись к бревенчатой стене, его Тимоша... исхудалый, бледный, со впалыми глазами. Голубые глаза его от худобы казались теперь еще больше, и еще глубже и серьезнее казался их взгляд.

— Батя! — вздрогнув, прошептал мальчуган, увидав отца.

— Ну, вот... — подходя к нему, промолвил лесник, украдкой проводя рукою по глазам. — Эх ты! Тимоха... Глупыш ты! Право, глупыш...



Григорий присел на землю к сыну и положил ему руку на плечо.

— Чего удумал!.. а!..— ворчал он, а губы его, между тем, дрожали и в глазах светилась радость.— Нешто хорошо по лесам-то этак бегать? Что добрые-то люди скажут! Ровно, скажут, зверюга... Глупыш ты... Вот что!..

— Я, батя, чашку...— начал Тимоша, припадая к отцу на грудь.

— Чашку, чашку!..— передразнил его отец.— Ну, что ж! Можно чашку новую завести, а то и без чашки, Бог даст, проживем... Э-эх ты!..

И лесник своею грубою, загорелою рукой погладил сынишку по его мягким льяным волосам. К более нежным ласкам Гурьянов не был привычен.

Тетки Аксиньи в ту пору не было дома, старуха копалась у себя в огороде, но вскоре воротилась в избу. Гурьянов от души сказал старухе спасибо за то, что она приютила и приголубила его мальчишку. Он обещал еще побывать у них в Кошаеве и повидаться с пастухом.

Желание Тимоши исполнилось. Он ехал верхом на Сером, сидя впереди отца; он сам держал поводья и правил лошадь. Григорий одною рукою придерживал его за пояс. Тимоша мызгал, дергал поводьями, махал рукою на Серого, но Серый устал, не обращал на него ни малейшего внимания и, не ускоряя шага, спокойно помахивал хвостом в ответ на все его понукания.

В ту ночь спокойно спали в хате лесника.

Поутру, как водится, Григорий встал всех раньше и поглядел на сынишку. Тимоша легко и ровно дышал во сне; румянец, как прежде, проступал у него на щеках. Здоровье и силы возвращались в молодое тело... Тимоша раскидался, и голая ножонка его свесилась с лавки. Отец потихоньку поправил его и заботливо, осторожно прикрыл его своим

---

*Мызгать* — понукать.

армяком, хотя в избе и без того было тепло... Вот она, золотая-то чашка! Вот кого надо беречь...

Прошло лето красное, прошла осень с ее грязью и ненастьем, встала белая зима и пушистым снегом запорошила землю.

«Золотая чашка», натворившая столько бед, мало-помалу забылась — и снова спокойно и мирно пошла жизнь в хате лесника.

По-прежнему по зимним вечерам, сидя за пряслицей, Харитина стала рассказывать сказки Тимоше. И в каждой сказке, как водится, рано ли, поздно ли речь заходит о дремучем лесе, о мальчике, брошенном братьями в лесу, или о девочке, завезенной на дровнях в лес отцом по наущению злой мачехи. Тимоша слушает затаив дыхание, вспоминает свои странствования по лесу, свои ночевки на деревьях и в дупле старого дуба — и в те минуты крепче прижимается к матери.

А Харитина, с видом настоящей сказочницы, хладнокровно взирающей на правых и виноватых, тихо, невозмутимо ведет свой рассказ.

За окном ветер шумит... А в хате уютно, тепло. На столе ночник горит красным пламенем. Тихо жужжит веретено, нитка прядется, сказка тянется...

---

*Армяк* — верхняя крестьянская одежда из грубого сукна.  
*Пряслица* — прялка.



# БЕЛЫЙ ДЕДУШКА

(Деревенская быль)



**Б**ЫЛ тихий зимний день. С темно-серого облачного неба летели снежинки.

В деревне Залесной, замеченной снежными сугробами, собралась среди улицы толпа ребятишек — мальчишек и девочек. Много тут было шуму и споров. Слышались возгласы:

- Свалится!
- Устоит!
- Лучше бы под березкой!
- Нет, братцы! Нужно его на виду поставить!..

Серый кудластый Медведко, помахивая хвостом, с тревожным видом бегал кругом толпы и отрывисто взлаивал, как будто с досады, что никак не мог сообразить: для чего сошлась эта толпа и галдит, и шумит тут все утро.

Наконец одна девочка в длинной и широкой мамкиной кацавейке, подпоясанной обрывком веревки, и в темном рваном платке на голове протискалась через толпу вперед и, высунув из-под платка покрасневший кончик носа, крикнула:

— Что ж, ребята! Долго еще будем толковать? Ведь уж пора!.. День нынче короткий. Того гляди — смеркнется!..

Эту девочку звали Машей; ей было девять лет. Ее маленький братишка Степа — тремя годами ее моложе, — цепляясь за ее кацавейку, вместе с нею протолкался через толпу и крикнул товарищам:

— Делать так делать!

В толпе засмеялись, и кто-то сказал:

— Ай да Степа!

А другой добавил:

— Вот он — настоящий-то делец пришел!..

---

*Кацавейка* — верхняя кофта на вате или на меху.

Посреди толпы стоял мальчуган-подросток лет 12 — в полушубке нараспашку и в облезлой бараньей шапке, сдвинутой на затылок. Он опирался на длинную палку, и легкий ветерок порой раздувал его темные кудри.

— И правда! — сказал мальчуган. — Чего ж тут время напрасно проводить... Бегите-ка за лопатами! Живо!

Ребятишки пустились в разные стороны, только пятки замелькали. Медведко тоже рванулся с места, но впопыхах не знал, куда броситься: сначала было кинулся в одну сторону, потом в другую — и, наконец, уселся среди улицы и стал задумчиво следить за вороной, прыгавшей по жердочкам плетня.

На улице было пусто. Бабы сидели в избах за работой: пряли, ткали, обшивали своих семьян. Мужики на ту пору поехали в лес за дровами, иные уехали за сеном на дальнюю пустошь.

Вскоре ребятишки опять всей гурьбой собрались за колодцем — в проулке между двумя избами. У всех в руках были теперь лопаты и заступы. Степа притащил большой банный ковш. Неподалеку от того места, где сошлись ребятишки, был плетень; у плетня стояла береза, вся увешанная снегом. К плетню нанесло большие сугробы... И из этих-то сугробов ребята принялись копать снег и сносить его в одну кучу на средину проулка. Гаврюшка, мальчик с длинной палкой, заправлял всей работой, покрикивал и указывал, где лучше брать снег и куда его сваливать. Степа трудился не меньше других. Его круглые щеки разгорелись на морозе, весельем блестели большие голубые глаза, его волосы, светлые и золотистые, как чесаный лен, выбились из-под шапки и весь перед его синего тулупчика был в снегу. Степа зачерпывал полный ковш снега и, кряхтя, нес его туда, где стоял Гаврюшка. Маша носила снег лопатой и тоже старалась изо всех сил; рваный платок ее сбился набок и темные волосы растрепались... Ребята, как трудолюбивые муравьи, бродили между сугробами. Иной носильщик спотыкался, падал, и тогда веселый, громкий хохот далеко разносился

по деревне. А снежная куча с каждой минутой все росла и росла...

— Маша! А, Маша? Ведь большой будет? — спрашивал Степа.

— У-у! Страсть какой! — отвечала девочка и, оттопырив губы, делала страшные глаза.— Ни в одной деревне такого еще не бывало!

— Выше избы? — допытывался Степа.

— Может, и выше! — говорила Маша. И Степа был в восторге.

Носильщики уже начали уставать. Маша все чаще и чаще заплеталась ногами в своей длинной кацавейке. Ковшик казался Степе все тяжелее и тяжелее; ковшик оттягивал ему руки... В это время Гаврюшка и еще два мальчика-подростка принялись за работу. Они стали проворно руками и ногами работать над грудой снега: то лопатой по снегу похлопают, то коленами нажмут на него, и сами они все, с ног до головы, запорошились снегом и ходили как белые статуи. Их большие рукавицы намокли от снега... Гаврюшка работал бойчее товарищей, старался больше, запыхался и все-таки без отдыха возился над снежными комьями.

— Довольно, ребята! Снегу больше не надо! — крикнул Гаврюшка.

Носильщики побросали лопаты и расселись кто на плетне, кто прямо на снегу, а иные подошли к работавшим и, заложив руки за спину, с любопытством следили за всеми их движениями...

## II

И вот под руками работавших из безобразной груды снега мало-помалу стала выходить большая, высокая человеческая фигура — только без ног; ноги ее как будто ушли в землю. Вот стали уже видны грудь, спина, немного горбатая, толстая шея и большая нескладная голова. Вместо

рук воткнули в плеча две согнутые палки и толсто облепили их снегом. Теперь оставалось доделать только лицо: вместо глаз пальцами продавили две ямки, вместо носа приставили толстый кусок снега, палкой проделали беззубый рот, прилепили довольно большие уши, а вместо шапки насыпали на голову пушистого снега...

Когда сизые вечерние сумерки спустились над деревней, громадный и безобразный снежный дедушка был уже готов. Ребятишки собрались теперь кругом него и с торжеством разглядывали его.

— О-го-го! Вот так дедушка! — слышалось в толпе.

Очень маленькая девочка, лет пяти, засунув ручонки в рукава и загнув голову вверх, посмотрела на снежное чудовище и одобрительно пролепетала:

— Ай дедуся! Какой холосой!..

Степа и Маша радовались вместе с прочими. Да и как им было не радоваться: ведь и они помогали делать белого дедушку.

— Такого дедка, поди, нигде больше нет! — сказал Степка.

— Известно, нет! — со смехом заметил ему Гаврюшка. — Где ж такого сделать! Это только мы ухитрились...

— Ай да мы! Вот так мы — молодцы! — говорил Степа, от удовольствия прищелкивая языком.

Медведко вертелся тут же и с громким лаем бегал вокруг снежного великана. Ребятишки смеялись и науськивали его на белого дедушку... Все были рады и веселы и веселые и довольные разошлись в тот вечер по избам.

Два дня после того Гаврюшка с приятелями окачивал дедушку водой из колодца, чтоб он был крепче. На счастье ребятишек, вскоре хватил сильный мороз, и дедушка весь обледенел и блестел на солнце, точно серебряный. С этой поры для ребятишек любимым местом игр стала та площадка, где стоял их безобразный снежный дед.

Здесь они играли и в свою любимую игру «Журьку». Один из них садился на землю и рыл ямку, а другие, ухва-

тившись сзади друг за дружку, вереницей ходили кругом него — и передовой говорил:

— Округ Журиньки хожу, колокольчик навязу, вокруг ленточки-позументочки.

И потом он обращался к копавшему ямку:

— Здорово, дедушка! Бог помочь!

— Спасибо! — отвечал тот.

— Что делаешь, дедушка? — спрашивал передовой.

— Ямку копаю! — отвечал Журинька.

— Зачем тебе ямку?

— Камышек ищу!

— Зачем тебе камышек?

— Иголочки точить!

— Зачем тебе иголочки?

— Мешечек шить!

— Зачем тебе мешечек?

— Камышки класть!

— А зачем тебе камышки?

— В твоих деток швырять!

— Что же тебе мои детушки сделали?

— Всю капустку у меня переломали!

— Так ты бы их пестом!

— Пест-то изломался.

— Ты бы их лопатой!

— Лопата-то раскололась.

— А ты бы их ступой!

— Ступа-то развалилась.

— Так ты бы их блином!

— А блин-то я и сам съем!..

Тут Журька быстро вскакивал и с криком «кыр-кыр» принимался гоняться за ребятами: ему нужно было поймать передового. Ребятишки тоже с криком «кыр-кыр» бегали от него и всячески старались заслонить и защитить от него своего передового — матку... У деревенских ребят нет игрушек, поэтому им самим приходится выдумывать себе игры.



Сюда же, к подножию белого дедушки, ребята приходили и с куском пирога или с ломтем хлеба, густо посыпанного крупною солью, и закусывали; здесь они возились, боролись и подолгу сидели около плетня, под березой, и вели тихую беседу. Иногда кто-нибудь принимался рассказывать сказку или страшную бывальщину — и тогда все с большим вниманием слушали рассказчика. А высокий белый дедушка, сгорбившись, стоял перед ними и тоже как будто прислушивался...

Место для белого дедушки выбрали отличное — высокое, ровное. Тут неподалеку и колодец, и береза, увешанная снежными узорами, точно вырезанными из белой бумаги, и плетень тут же под боком. За плетнем ровною гладью расстилалось, как скатерть, белое поле, далее шло кочковатое болото, за болотом — темный лес, где по ночам волки выли, а за лесом — синеющая даль.

### III

Зима подходила к концу. Снег на земле облежался, сделался плотнее. Солнце в ясные дни пригревало снег сверху и покрывало его настом — тонкой ледяной корой. И на снегу не оставалось ни собачьих, ни заячьих следов; даже ребятишки бегали теперь по снегу, не оставляя следа. Деревенские охотники легко скользили по насту на своих длинных лыжах, и скользили без всякой помехи куда глаза глядят: по лесам и полям, по рекам и по оврагам, — снег везде сдерживал их...

С Василия Капельника — с 28 февраля — солнце стало припекать сильнее. В полдень с крыш начинало капать, а к ночи эта капель замерзала и в виде хрустальных про-

---

*Василий Капельник* — по новому стилю этот день народного календаря приходится на 13 марта.

зрачных сосулек висела вдоль крыш. Днем на солнце опять начинало таять, к вечеру снова подмораживало, ледяные сосульки делались длиннее, иные из них, наконец, обламывались и со звоном, как разбитое стекло, летели на улицу. Ребятишки поднимали их и сосали, как леденцы, и уверяли, что это очень вкусно.

Вот наступил и март месяц.

Хоть в деревнях и говорят, что после Евдокии (1-го марта) иногда снегу еще выпадает в сидячую собаку, но зима со своими морозами и метелями все-таки уже проходила. Медведь встряхнулся после своей зимней спячки, поднялся, встал из берлоги и пошел по лесу. Трескоток только слышался в лесной чаще... Прошел и Герасим Грачевник (4 марта) — и деревенские старожилы говорили:

— Коли грачи прямо на гнезда полетят, весна будет дружная!

Грачи в тот год прямо полетели на гнезда, и все думали, что будет дружная весна. Прошли и Сорок Мучеников (9 марта) — и в деревне старики сказывали:

— Будет еще сорок утренников!

Такое уж у них было поверье... Дожили и до Алексея, человека Божия.

«Алексей с гор потоки» привел с собой настоящую весну. Стало сильно таять. На крышах солома была уже видна, снег на деревенской улице потемнел и по сторонам дороги сделался какой-то серый, невзрачный. У изб стояли лужи, на полях темнели проталинки и на них была видна про-

---

*Евдокия* — день первомученицы Евдокии по новому стилю приходится на 14 марта.

*Герасим Грачевник* — день народного календаря, приходящийся по новому стилю на 17 марта.

*Сорок Мучеников* — по новому стилю эта дата церковного календаря приходится на 22 марта.

*Утренник* — утренний мороз до восхода солнца.

*Алексей, человека Божия* — память этого святого празднуется церковью по новому стилю 30 марта.

шлогодня блеклая трава. В оврагах и в низких местах зашумела вода, потекли ручьи...

А белый снежный дедушка все еще стоял, только немного поосел, сделался ниже и как будто покривился на один бок. На земле около него стояла лужа. Понемногу таял дедушка, но еще держался и по-прежнему днем собирал вокруг себя толпу ребятишек. Теперь, когда стало таять, ребятишки уже знали, что теплое солнышко скоро растопит весь снег, растопит и их зимнего деда, и любопытно им было знать: упадет ли дедка на одну сторону, или весь вдруг развалится, или незаметно, мало-помалу истает...

Однажды ребятишки сошлись сюда и толковали между собой.

— Долго ли-то еще простоит наш дедка? — заметил кто-то из ребят.

— Уж скоро от него только мокренько останется! — со смехом сказал Гаврюшка.

Степа смотрел на белого дедушку и думал: вот они старались — складывали его, а он вдруг возьмет растает и уйдет невесть куда, точно сквозь землю провалится...

— Скоро он уплывет, сердечный! — промолвила Маша. — Вон уж у него под боком лужа...

Какой-то мальчуган бросил в дедушку палкой. Палка с треском стукнулась об его обледеневшую голову и отлетела прочь.

— Еще крепок, волк его задери! — крикнул мальчуган.

— Не швыряйся! — остановил его Гаврюшка. — Пускай он помирает своею смертью!

День был ясный, солнечный...

Степа долго смотрел на белого дедушку, засмотрелся до того, что у него перед глазами стали разноцветные круги расходиться — красные, зеленые, желтые. И чем дольше Степа смотрел, тем больше ему казалось, что дедушка стоит перед ними как будто живой, стоит сгорбившись и посматривает на ребят своими дырявыми глазами.

— Какой он страшный! — прошептал Степа, дергая Машу за рукав.

— Кто? Дедка-то страшный? — спросила девочка.— Вот уж ничуть не страшный!..

Она подошла и с веселым хохотом погладила дедку по спине.

Маленькая девочка была тут же и пристально глядела на белого дедку. Она слышала, как говорили, что деда уже скоро не станет, что он растает,— и теперь, ходя вокруг дедки, она жалобным голосом лепетала:

— Дедуся, не утичай! Постой хось малесенько... Не утичай, дедуся!

Но дедуся помаленьку «утекал»...

Солнце закатилось. Наступили синие сумерки. В избах зажгли лучину; красный огонек забрезжил в окнах — и свет из окошек полосой падал на улицу. В синем небе затеплились яркие звезды. Бледный полумесяц высоко стоял над деревней и озарял ее своим ровным, спокойным светом.

Ребятишки разбрелись по избам. Только Степе не сиделось дома. После ужина, перед сном, он в одной рубашке — даже без шапки — побежал в проулок еще раз посмотреть на белого дедушку и проведать: не развалился ли он?

Прибежал Степа и видит: по-прежнему стоит дедушка, озаренный серебристым месячным светом,— сгорбился дедушка, покривился на бок, а все стоит... Степа обошел его кругом, потрогал его за плечо. Плечо — холодное... Степа прислушался: что-то шумит вдали! То — вода шумит, то — весенние ручейки бегут. И около дедушки где-то вода пробирается, тихо журчит, бульбулькает... В ночном безмолвии все звуки слышатся явственно...

Посмотрел Степа вверх — вверху месяц и яркие звезды горят, и нет им числа. И далекие звезды как будто мигают ему. Заглянул Степа дедушке в лицо — и вздрогнул, отшатнулся. Дедушкины дырявые глаза блеснули при месяце, точно живые, а на ледяных губах как будто улыбка

мелькнула. И жутко, страшно стало Степе, бегом пустился он домой, не чуя земли под ногами. Задохся Степа — и испуганный прибежал домой. Его ухода из избы не приметили, и он никому ничего не сказал.

На другой день у Степы голова заболела, стало в горле покалывать, поднялся кашель. Весь день Степа ходил невеселый, пасмурный, только один раз сбродил посмотреть на дедушку, а все больше сидел в избе под окном. Лицо у него горело и в глазах был жар.

— Ты что, Степа, куksiшься? Али лихоманку подхватил? — спрашивала его мать. — С утра до ночи толчешься на улице... Смотри ты у меня!

#### IV

Степа простудился и заболел, два дня кое-как перемогался, на третий — слег... Маша не хуже матери ухаживала за больным.

Днем Степу клали на полати, чтобы ему было потеплее, а на ночь перетаскивали на лавку, где было не так жарко. Через неделю Степу было уже не узнать: так сильно он изменился. Его пухлые румяные щеки опали и побледнели, голубые глазки его потускли и весь он похудел и как-то вытянулся. Отец смотрел на исхудалое его личико, хмурился и говорил:

— Пожалуй, не выживет малец!

Мужику очень жаль было Степу: он у него был один сын.

— Ну, даст Бог, поправится! — утешала его жена. — Ведь не от всякой болезни помирают!

Мать сходила к фельдшеру, принесла какое-то горькое лекарство и поила им больного. Но Степе делалось все хуже и хуже...

С каждым днем снежный дедушка таял все больше и больше. Таял и Степа... Голова у него трещала от боли, руки и ноги ломило, его бросало то в жар, то в озноб. Иногда он не узнавал своих, не замечал ни дня, ни ночи, все в голове его смешалось, перепуталось, и страшные, мучительные сны посещали его...

Однажды он дремал на лавке. Был уже темный вечер. Отец куда-то ушел, мать пряла, Маша сидела у его изголовья. Долго лежал Степа с закрытыми глазами — и вдруг почудилось ему, что солнышко спускается над ним, спускается все ниже и ниже — такое большое, красное — обдаёт его жаром и ярким пламенем брызжет на него. Степа отворачивается, закрывает голову руками — все хочет спрятаться от солнца. А солнце, багровое, раскаленное, все пуще на него надвигается, жжет его и палит немилосердно. Вот уж оно совсем близко... Степе невыносимо горячо. Он начинает задыхаться.

— Солнышко! Солнышко! — стонет он и ворочается на лавке — хочет уйти подальше и спрятаться от солнца.

Маша приглаживает его золотистые льняные волосики и говорит ему:

— Что ты, Степа! Какое же солнышко!.. Ведь теперь вечер!

Степа раскрывает глаза и как будто ничего не видит и не понимает.

— Вечер! — шепчет он своими сухими, запекшимися губами.

Через минуту вместо палящего жара его начинает хватывать озноб. Степе чудится, что в избу вошел белый дедушка и оттого подуло на него холодом. Степа дрожит, ежится, а дед подступает к нему, наклоняется над ним, протягивает к нему свои скрюченные снежные руки и смертельным холодом дышит на него...

— А-а! — глухим голосом рычит на него дед, широко разевая свою беззубую пасть. — Вы, дрянные ребятишки, всю зиму потешались надо мной, палками в меня швыряли... Еще недавно вы говорили, что я скоро растаю, уплыву,

что от меня только мокренько останется... Нет, стой! погоди! Не торопись меня хоронить... Ты, может быть, скорее меня растаешь и уплывешь! Вот как я обниму тебя да прижму к себе покрепче, так у тебя искры из глаз посыплются и голова повалится с плеч!

И он обнял Степку. Ледяной смертельный холод пронизал мальчугана насквозь. И вправду, из глаз его искры посыпались: голова у него так болела, как будто хотела разорваться. Весь дрожа от холода и страха, Степа мечется по лавке, старается сползти с нее и укрыться где-нибудь от объятий страшного деда,— а сам невнятно шепчет:

— Ой, дедушка пришел!.. Ой, белый пришел!..

Маша держит его за руку, ласково гладит по голове и успокаивает:

— Что ты, Степа! Что ты, милый! Никого здесь нет... В избе только я да мамка.

Степа слушает и как будто не слышит, раскрывает глаза и ничего не видит: в глазах жар, смотреть ему больно, тяжело, голова кружится и валится с плеч.

И лежит Степа без памяти, без движенья, как пласт...

Однажды вечером после ужина отец печально посмотрел на него и сказал жене:

— Видно, Степке не жить на белом свете!.. Надо ему гроб припасать...

— погоди! Успеешь!.. Гробик сделать недолго...— молвила ему жена.

А время шло. Снег давно стаял, и ручьи прошумели, и белый дедушка уже давно исчез под лучами горячего солнца. От дедки осталась только мутная лужа, да и та давно высохла... Прошла и Страстная неделя, прошла и Пасха

---

*Страстная неделя* — последняя перед Пасхой неделя Великого поста.

*Пасха* — главный христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа; отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, в период с 4 апреля по 6 мая (новый стиль).

с веселым колокольным звоном, с куличами и с красными яичками, прошел и Егорий...

Степа не умер, стал понемногу поправляться. Развеялись все его болезненные страхи и ужасы. Багровое солнце уже не спускалось над ним, не жгло, не палило его; белый дедушка также оставил его в покое и не обдавал его своим ледяным дыханьем. Но Степа был очень слаб и все больше лежал. Отец, и мать, и Маша — все были рады, что не пришлось делать гробик для Степки.

## V

В ясный и теплый майский день Степа в первый раз после болезни выбрел с Машей из избы. Маша скоро убежала к своей подружке, а Степа остался один. Он присел у завалинки. Ноги еще плохо слушались и худо держали его.

Прежде всего Степа заслонил глаза рукой от солнца и посмотрел в тот проулок, где стоял зимой белый дедушка. Там уж никого не было. Степа вздохнул с облегчением. Очень напугал его снежный дед во время болезни. Будет помнить его Степа, долго не забудет... Степа все смотрел в страшный проулок: вон колодец, за ним и то место, где стоял дед, далее — береза, плетень, за плетнем — поле... В проулке зеленела травка, береза опушалась молодым листом...

В поле, за плетнем, в ту пору крестьянин пахал на тощей вороной лошади, а вороны и грачи летали над пашней, отыскивали зернышки и всяких насекомых. Воробьи весело чирикали, прыгая по плетню; к ним порой налетали и снова скрывались пеночки, варакушки и другие малые птички. А в ясных сияющих небесах жаворонок заливался.

---

*Егорий* — Егорий вешний, праздник в честь великомученика Георгия Победоносца (по новому стилю — 6 мая).

*Варакушка* — птичка семейства дроздовых отряда воробьиных, у нее голубая грудка с рыжим пятнышком посредине.



И слышит Степа, как на другом конце деревни ребята запевают знакомую песенку:

Солнышко, солнышко!  
Выгляни в окошечко!..

Степа с удовольствием прислушивается к песне, улыбается и сам вполголоса начинает напевать:

У Христа есть сирота,  
Отпирает ворота  
Ключиком, замочком —  
Серебряной цепочкой...

Для взрослого, постороннего человека в этой песенке не было ни складу ни ладу, а нашим деревенским ребятишкам она нравилась: они, видно, понимали ее по-своему... Эту песню они пели во всякую пору, когда вздумается, но чаще всего в такое время, когда солнышко скрывалось за облака или небо грозило дождем и непогодой. Ребята любят красное солнышко... Своею песенкой они как бы вызывали его из-за темного облака, просили его не прятаться от них...

И сидел Степа у завалинки, грелся в солнечных лучах, дышал свежим пахучим весенним воздухом и с любовью смотрел вокруг себя на все знакомое... на голубое небо, на зелень березы, на молодую травку, на первые желтые цветочки, на куриц, рывшихся среди улицы... Степе казалось, что еще никогда не было ему так хорошо, никогда не был он так счастлив, как теперь, после болезни, когда сидел у завалинки на солнечном припеке и смотрел на светлый Божий мир. Все перед ним было знакомое, родное, но в то же время во всем этом знакомом было как будто что-то новое для Степы. Он глядел на небо, на зеленую травку — и не мог досыта наглядеться; он слушал чириканье воробьев, далекое пенье жаворонка — и не мог вдоволь наслушаться...

Степа как будто воскрес из мертвых: так близок он был к смерти. И теперь он был рад жизни... Теперь он хотел бы обнять не только всякого человека, но и Медведка, и кошку, и ее котенка, и цыпленка малого, только что вылупившегося из яйца,— ну, прямо сказать, был бы рад приласкать и пригреть всякое живое существо...

Белый дедушка чуть не заморозил Степу: отец о гробике уже поговаривал... А Степа остался жив и, Бог даст, будет жить долго, вырастет, сделается здоровым, хорошим работником, будет покоить отца и мать в старости и станет любить Машу и всех деревенских — всех людей...

Так думал и чувствовал Степа в те минуты.



# ВАНЮШКИН САД



**В**АНЯ был крестьянский мальчик. Он жил с отцом, с матерью в небольшой избушке на самом краю деревни Карачаево. Под соломенной крышей этой избушки вдоль стены ласточки налепили свои гнезда. Ваня часто видел, как из этих гнезд маленькие птенчики высовывали темные головки и широко раскрывали свои желтые рты, когда мать прилетала к ним с кормом... За избушкой начинались поля, шли перелески, видны были деревни и одна большая барская усадьба. Из-за зеленых перелесков белела сельская церковь с высокою колокольнею; ее блестящий крест в ясные дни был виден издалека, как ясная звездочка. Еще далее синели дремучие леса.

Отец Вани был крестьянин небогатый: у него были только две овцы, корова и лошадь. Всю жизнь он работал: летом на своей полосе — пахал, жал, косил; осенью — убирал и молотил хлеб; зимой ездил в лес — рубил бревна и дрова. А мать тою порою управлялась с домашним хозяйством: обряжала корову и овец, пекла хлеб, варила щи. Летом она также работала на поле, то граблями, то серпом; зимой пряла, ткала, шила и починивала одежду для мужа и для Вани. Правда, одежды у них было немного...

Зимой Ваня ходил в овчинном полушубке, сшитом из старых остатков, и в большой меховой шапке. Эту шапку дал ему отец. Отцу шапка, конечно, была впору, а Ванина голова почти вся уходила в нее и с затылком и с ушами. Из-под шапки оставались видны только нос и глаза, да и то Ваня должен был поминутно приподнимать ее кверху для того, чтобы она совсем не опустилась ему на лицо. Вот из-за этой-то большой шапки Ваню и прозвали в деревне

---

*Обряжать* — обихаживать (кормить, поить, доить, чистить и прочее).

«Головастиком». Летом же не приходилось кутаться, и Ваня бегал в одной рубашке и без шапки. Наряжался он только в праздники, когда шел с матерью в церковь.

Ване минуло шесть лет. Это был мальчик очень низенького роста, худенький, с светло-голубыми глазами и с волосами светлыми, как хороший, гладко вычесанный лен. Он был слабого здоровья, тихий и смирный, не любил шума и никогда не играл с деревенскими ребятами ни в городки, ни в бабки. Ваня был мальчик очень добрый. Ребятишки, бывало, и между собой подерутся, да и другим достанется от них: то начнут гонять собаку, швырять в нее палками или науськивать на нее других собак, то примутся мучить кошку и забавляются ее жалобным мяуканьем. А Ваня — нет! Он не дрался, боялся даже смотреть на драку и сторонился от буянов. Он не находил никакой забавы в том, чтобы мучить беззащитное животное. Ваня любил всех животных, для каждого животного у него находилось доброе слово.

Вечером, бывало, коровы возвращались с поля и проходили по деревенской улице, и Ваня ласково приговаривал им вслед:

— Коровушки-буренушки! Идите, голубушки! Домой пора...

Однажды Ваня вышел за ворота с куском хлеба. Вдруг откуда ни возмись черная дворовая собака, такая жалкая, худая — все ребра видать... Она уселась против Вани и, помахивая хвостом, умильно смотрела на него.

— Жучка есть хочет? Бедный Жучка... — промолвил Ваня. — Ну, уж так и быть... поделюсь с тобой.

И он разломил кусок хлеба пополам: одну половину отдал Жучке, другую стал сам есть.

Ваня часто брал к себе на колени кошку и разговаривал с ней.

— Бусинька, пой песенки, а я послушаю! — говорил Ваня. — Ужо вечером молочка дам Буске...

Буска видела, что ей нечего бояться, спокойно усаживалась к Ване на колени и мурлыкала свои песенки: «мры-мры», а Ваня ласково гладил ее по спине. Вечером он давал ей молока.

Ваня разговаривал со всеми животными, точно с людьми...

Летом Ваня ходил с отцом в поле, с матерью ходил в лес за ягодами, за грибами или за вениками. Летом целые дни он не бывал в избе. То сидел у избы на завалинке, смотрел на небо, на облака и думал: «Откуда облака к нам идут?» То следил за пролетающею вороною, то смотрел на воробышков, прыгавших по жердочкам плетня, и прислушивался к их тихому чириканью... Весной, когда по улице текли ручейки, Ваня делал запруды из грязи, из камней и щеп. Особенно же Ваня любил устраивать сады. Но прежде чем говорить об его садах, сначала надо рассказать о том, почему он вздумал устраивать эти сады.

## II

С того времени, как Ваня стал помнить себя, в праздники, в летнюю пору, ходил он с матерью к обедне. Церковь от их деревни была в трех верстах. Почти на половине дороги им приходилось проходить мимо богатой барской усадьбы — мимо большого старинного сада. Этот сад был прекрасен. Проходя мимо его забора, Ваня всегда отставал от матери, потому что все останавливался и с любопытством поглядывал в сад.

Однажды, в чудесное летнее утро, Ваня шел с матерью в церковь. Жаворонок звонко пел в ясном воздухе и утреннее солнце светило ярко. Было еще довольно рано: роса еще блистала на траве и на цветах; благовеста к обедне еще не было слышно. Когда они проходили мимо барского сада, Ваня не удержался и прильнул к забору.

— Мама, стой! Посмотрим! — попросил Ваня.

Мать приостановилась. Ваня крепко ухватился ручонками за деревянные перекладины забора и стал смотреть в сад. В поле, на том месте, где стоял Ваня, теперь светило солнце, было жарко, а в саду — тень, прохлада, поют-щебечут птички, пахнет какими-то чудесными цветами...

— Мама, как хорошо здесь! Как сладко пахнет! — промолвил Ваня.

Там, в саду, громадные, развесистые деревья росли аллеями. Аллеи шли прямо и вкось и пересекали одна другую. Деревья были так стары и могучи, что их узловатые корни вышли из земли наружу и местами, как толстыми жилами, бороздили песчаные аллеи. Деревья были высоки, очень высоки; их гибкие, широко разбросанные ветви почти соединялись вверху и составляли собой как бы зеленый навес. Тут росли липы, березы, лиственницы, сосны, кедры, клен, акации, орешник. Между деревьями, по сторонам аллей, густою стеною зеленел кустарник: смородина, крыжовник, малина, барбарис, пахучая сирень, шиповник, весь усыпанный розовыми цветами. Кое-где деревья стояли группами — то полукругом, то треугольником, и под деревьями были устроены красивые беседки, стояли деревянные диванчики, скамейки. Солнечный луч золотую полоскою падал там и сям на траву, на деревья и на розовый цвет шиповника.

Далеко из-за зелени был виден каменный барский дом — белый, с высокими колоннами, с балконом и с большими светлыми окнами. Перед домом росло множество цветов, крупных и мелких. Издали Ване казалось, будто перед домом разостлан великолепный пестрый ковер с различными узорами. Там цвели розы — алые, белые и желтые, пунцовые и пестрые махровые георгины, жонкилы, астры, бархатцы, бессмертные, душистый горошек, левкой, пионы,

---

*Жонкиль* — разновидность нарцисса.

*Левкой* — маттиола, садовое травянистое растение с душистыми цветами различной окраски.

лилии, колокольчики... Весь цветник был ярко озарен солнцем... Как пахнёт ветерок из сада, так оттуда и донесет до Вани запах цветов. Ваня слышит, как там жужжат пчелы, перелетая с цветка на цветок. Птички с тихим щебетаньем порхают по кустам и по ветвям деревьев. Хорошо в саду...

— Погулять бы там, мама! — говорит Ваня, указывая рукою на сад.

— Нельзя, голубчик! Это чужой сад, барский! — замечает ему мать.

И Ваня опять загляделся на эти чудесные высокие деревья, на эти невиданные цветы... В это время раздался благовест. Звуки колокола гулко, отчетливо разносились в чистом утреннем воздухе.

— Слышишь, Ваня? К обедне звонят! — сказала мать и набожно перекрестилась.

И вот Ваня с матерью опять идут по открытому полю. Солнце сильно припекает; вокруг ни прохлады, ни тени. Ваня как вспомнит про сад, про всю его роскошь и блеск, так ему и кажется, что он видел все это не наяву, а во сне...

Пришли они в церковь и стали на свое всегдашнее место, против большого старинного образа Спасителя. На образе сверху были написаны полукругом на темном фоне золотые слова: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы». Ваня еще не умел читать и спросил раз отца, про что написано там. И отец сказал ему: «Там написано, что Христос всех бедных зовет к Себе и обещает успокоить их». — «Он — добрый!» — подумал про себя Ваня и после того с особенною любовью стал смотреть на образ Христа. Ваня не раз слышал, как отец с матерью называли себя людьми бедными. Значит, и их и Ваню также успокоит этот добрый Христос.

---

*«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» — «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас» (Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28).*



Ваня думал, что для него и для всех деревенских ребятишек Христос когда-нибудь устроит такие же прекрасные сады, как тот барский сад.

### III

Не раз, не два, а много раз ходил Ваня с матерью в церковь, и каждый раз заглядывался на барский сад — тенистый и пахучий. Наконец он вздумал сам себе устроить сад. Он будет гулять в том саду. И Ваня живо принялся за работу.

Около своей избы, недалеко от дороги, он старательно очистил от щепок и от камешков небольшое место — аршин в длину да аршин в ширину, заострил ножом палочку в виде лопаты и вокруг всего этого места вырыл канаву. (Он видел, что вокруг барского сада была канава.) Потом Ваня наломал сухих прутьиков и натывал их вдоль канавы и переплел их гибкими и тонкими стебельками травы. Это у него вышел забор. Таким же образом он сделал и калитку и на веревочке привесил ее к забору. Теперь оставалось только разводить и украшать сад. Ваня наломал маленьких веточек ивы, березы, ольхи и посадил их рядами — это вышли аллеи. Под этими великолепными деревьями Ваня расставил скамейки. Он делал скамейки очень просто: брал тоненькую щепку, с двух концов перегибал ее, слегка надламывал и надломленные концы щепки врывал в землю. В аллеях он выщипал траву и насыпал белого песочку. Вот и дорожки у него точно такие, как в барском саду. Теперь еще надо цветов достать... Ваня нарвал в поле васильков, одуванчиков, куриной слепоты, незабудок, розового клевера, мелких желтых цветочков, достал даже ландышей — и насадил их в одной стороне сада. Цветник вышел великолепный!

---

*Аршин* — мера длины, равная 0,71 м.

Весь день трудился Ваня; к вечеру сад был готов. Ваня радовался, глядя на него, и живо вообразил себе, что его сад точно таков же, как барский сад... И вот, сидя на земле и не трогаясь с места, он наклонялся над жалкими березовыми и ольховыми прутиками и представлял себе, что гуляет в саду. Вот он отворяет калиточку, входит в свой сад и гуляет в его прохладной тени. От прутьиков и от листочков в его саду, вправду, падает на землю тень. Пахнет цветами. Да и в самом деле, васильки и особенно ландыши сильно пахнут... Ваня воображает себе, что ходит по саду. Он представляет себе это так живо, будто в самом деле гуляет под высокими тенистыми деревьями, между кустами роскошных цветов, садится на скамейки, отдыхает и снова ходит. Березовые и ивовые прутики он представляет себе большими деревьями; цветочки куриной слепоты, одуванчики и розовый клевер кажутся ему такими же отличными цветами, какие растут в барском саду. Аллеи и скамейки, канавы и забор — все так же точно... Но Ваня гулял не один в своем саду. Он не хотел гулять один и не хотел, чтобы его сад стоял так же пустой, как барский сад. Он пускал гулять в свой сад всех деревенских ребятишек. Однажды он и вправду предложил двум мальчикам — Васе и Парменову Трошке — погулять в его саду.

— Здесь-то погулять? — со смехом промолвил Трошка. — Да тут, брат, не повернуться... Я один ступлю, так весь твой сад раздавлю! Ни кустика, ни цветочка не останется...

— Зачем же так! — возразил Ваня, испуганно посмотрев на свой сад. — А мы вот сядем тут, около, да и будем играть — будто в саду гуляем...

— Ну, что это за сад! Пойдем лучше в бабки играть! — сказали мальчуганы и убежали прочь.

А Ваня был упрям и все-таки представлял себе, что гуляет не один в саду, что с ним гуляют все деревенские ребятишки.

— Я, мама, сад себе сделал — такой же, как барский! — радостно объявил он вечером матери, когда та вышла за ворота.

— Где же твой сад? — спросила она, озираясь по сторонам и не видя никакого сада.

— А это-то... Это-то что же? Разве это еще не сад?! — вскричал Ваня и с гордостью указал ей на прутьики, воткнутые в землю.

— А-а, вон где! — протяжно и с улыбкой проговорила мать.

— Я, мама, гуляю в саду... У меня отлично тут... цветы... — говорил Ваня.

— Ну, и ладно! — отозвалась мама. — Гуляй на здоровье! Только смотри уж, чтобы коровы не растоптали, как пойдут по улице...

— Ой, что это! Как же можно... — успокаивал себя Ваня. — Коровки пусть на лугу гуляют...

Но правду сказала мама. Ночью кто-то наступил на Ванин сад. Поутру Ваня увидел, что одна сторона забора повалена и некоторые деревья совсем потоптаны. Ване пришлось снова трудиться, рассаживать сад и городить забор. К полдню Ваня опять уже гулял в саду... Одна старуха-соседка проходила мимо и спросила:

— Что ты, Ваня, копаешься тут в пыли?

— Это у меня сад... Я в саду гуляю... — серьезно ответил Ваня.

— Ах ты, глупенький! — сказала старуха, усмехнувшись. — Какой же это сад? Разве сады такие бывают? Вон барский-то сад видал?.. А то натыкал прутьиков да и радуется...

— Нет, бабушка, ты ничего не видишь! — настаивал Ваня. — Это у меня сад такой же, как барский...

Старушка махнула рукой и пошла дальше.

Мальчишки постарше тоже смеялись над Ваней: их также Ваня никак не мог уверить, что он гуляет в большом, прекрасном саду, а не сидит на улице при дороге на солнечном жару и в пыли... Никто не верил, что его сад — большой, настоящий сад; цветочки в его саду жалко поникли головками, листья на его деревьях завяли, запылились, а на

иных вовсе опали, облетели, и прутьики стояли голыми. А Ваня все-таки оставался совершенно доволен своим садом. «Ах, как хорошо! — шептал он. — Деревья такие большие-большие, и под ними — тень! Ах, как прохладно, чудесно!»

А в то время, как Ваня восхищался прохладой и тенью своего сада, горячее летнее солнце немилосердно жарило его непокрытую голову, плечи и спину. «Ах, как хорошо пахнет цветами! А-ах!» — шептал он. А вокруг него вовсе не пахло цветами. Вокруг него — запыленная придорожная трава. Пробегут ли мальчишки, пройдут ли овцы, проедет ли кто-нибудь дорогой — Ваню и его садик каждый раз обдаст целым облаком серой пыли. Ваня чихнет, протрет себе глаза и опять гуляет по саду, то есть сидит, наклонившись над ним, да рассуждает сам с собой. И сидит Ваня на жаре, в духоте, в пыли — и точно не чувствует ничего этого. Говорят, у Вани нет сада, уверяют его, что он не гуляет в саду, а сидит у дороги над какими-то сухими прутьиками, воткнутыми в землю. «Это — неправда, сушая неправда! Это — не прутьики, это — развесистые, тенистые деревья, а куриная слепота и одуванчики — великолепные цветы!» — так думает Ваня. Чего же лучше, чего же еще надо?! Ваня доволен. Ваня счастлив...

Однажды вечером Ваня увидал, что солнце, как багровый раскаленный шар, закатывалось в темную тучу. В воздухе было тихо, душно... Ласточки низко летали над деревенским прудом и вороны громко кричали в роще. Вдали блистала молния и синеватою стрелою пробегала по черным тучам. За лесом рокотал гром, точно какой-нибудь зверь рычал. Ваня слышал, как мать говорила:

— Непогодушка поднимается. Спаси Господи и помилуй.

— Хорошо бы до дождика сено убрать под крышу! — говорил отец и торопился увозить сено на двор.

Когда Ваня лег спать, но еще не спал, на улице стало темно-темно, молния загоралась все ярче и ярче, а гром страшно грохотал, как будто над самою крышею. Потом

Ваня слышал: дождь полил, как из ведра, и крупною дробью застучал в стену и оконце.

Поутру, когда Ваня вышел на улицу, от садика его не осталось и следа.

— Тю-тю-тю! — протянул Ваня.

На улице было грязно и местами еще текли ручьи. Один из таких ручейков катился теперь по тому самому месту, где еще вчера был Ванюшин сад. Во время ночной бури дождевою водою садик размыло, и все палочки, прутьики и цветочки унесло Бог весть куда, даже песок с садовых дорожек уплыл.

— Унесло мой садик! — сказал Ваня и вздохнул.

Что же делать, Ваня! Не беда... Горе поправимое!

И опять Ваня принялся строить себе сад, и устроил его на диво, лучше прежнего... И вот он опять стал представлять себе, что гуляет под большими густыми деревьями в своем саду и любит на свои прекрасные, пахучие цветы.

Так не раз Ваня устраивал себе сад, и портило его дождем или ветром или наступали на него мимо проходившие лошади и коровы.

Наступила осень. По ночам ветер завывал в трубе то сердито, то жалобно. Пошли дожди, грязь, холод.

Однажды утром, подойдя к окну, Ваня увидел, что земля побелела. Снег пушистыми хлопьями повис на ветвях деревьев в виде белых узоров, лежал на заборах, на колодезном шесте, на краях соломенных крыш, на дороге, на кочках замерзшей грязи и на поблекшей траве. Снегом запорошило и Ванин садик. Потом снег пошел сильнее, и навалило его целые сугробы — и Ванин садик уже совсем скрылся под снегом...

Пошло время — год за годом. Ваня вырос, отец и мать его умерли. Ваня женился, и у него уже были дети. Ваня жил в той же избе, на краю деревни, жил так же бедно, как и его отец, — еще беднее. У отца были лошадь, корова

и две овцы. А у Вани остались только лошадь и овца. Он работал на той же полосе, на которой работал и его отец. Он ходил молиться в ту же деревенскую церковь и вставал перед тем же старым, потемневшим образом, с которого Христос призывал к Себе всех бедных. Много лет прошло после того, как Ваня ходил в праздники с матерью в церковь. Но и теперь, проходя мимо барского сада, вспоминает он, как, бывало, с матерью останавливались они у забора этого сада и любовались на высокие деревья и красивые цветы. Тогда он вспоминает и свой сад... Состарился Ваня и умер, и похоронили его рядом с отцом, с матерью. Долго жил он на свете, но ему уже ни разу не приходилось гулять в садах...

Хорошо, что Ваня хоть в детстве погулял в своем прекрасном *небывалом* саду...



ЛЮТИК



## ВСЯ КАК НА ЛАДОНИ

**Е**й шел тринадцатый год. Она была среднего роста, стройная, на щеках нежный розовый румянец, глаза большие, синие, как вечернее летнее небо. Ее густые волосы, тонкие, как шелк, и черные, как вороново крыло, перевязанные пунцовой бархатной ленточкой, спускались ей на спину, бежали по плечам. Она была очень красива, но чернилами мне не написать ее портрет.

При крещении ее называли Людмилой, родные звали ее Лютиком.

Она жила с отцом, с матерью в усадьбе, в деревенской лесной глуши. С первого дня жизни ее все баловали: у нее не было ни братьев, ни сестер, и вся любовь родных досталась ей одной. Когда она была маленькою, ее все носили на руках; когда же подросла, все стали смотреть ей в глаза как своей повелительнице. Все желания и капризы ее исполнялись, для того ей стоило только сказать слово... Все ласки и все услуги она принимала как должное. И девочке малопомалу стало казаться, что весь мир создан для нее...

Солнце светило с небес для того, чтобы ей было приятнее гулять; дождь шел для того, чтобы поливать ее любимые цветы; буря с громом и молнией проносилась, конечно, затем, чтобы Лютик после нее могла подышать свежим, благоухающим воздухом; по ночам месяц и звезды горели в небе также для ее удовольствия, и все люди вокруг нее жили, разумеется, для ее пользы и забавы... Ей, значит, не за что и некого было благодарить.

И действительно, девочка относилась к людям холодно и безучастно. Если она улыбалась, то с таким видом, как

---

*Благоухающий — чистый, здоровый, освежающий.*



будто оказывала великую милость. Недаром же няньки и мамки натрубили ей в уши, что «как взглянет она весело, так словно рублем подарит». И Лютик иногда под веселый час очень охотно дарила окружающим эти дешевые «руб-ли», ничего ей не стоившие. Даже мать и отца целовала она не потому, что ей хотелось выразить им свою ласку и нежность, а просто по привычке, из приличия, ради раз навсегда установившегося обычая. В ответ на шутки она охотно и весело смеялась, хотя бы и не чувствовала особен-ной веселости: у нее были белые, ровные зубы, и смех очень шел к ее хорошенькому личику; она уж давно узнала это, смотрясь в зеркало. Нельзя сказать, чтобы она была зла, но не было в ней и добра: любви не было в ее сердце. Лютик много думала о себе и очень мало о других.

Она жила в холе, на приволье, как растение, как кра-сивый цветок, и если бы она была действительно цветком, то, конечно, чувствовала бы себя совершенно счастливою; но она не была цветком и поэтому не могла быть счастлива и довольна своею «растительной» долей. Лютик чувствова-ла себя одинокою: люди жили сами по себе, она — сама по себе. Иногда она страшно скучала — не знала, куда девать время и куда деваться ей самой. Всевозможные детские книги, всевозможные куклы и игрушки были у нее, и все они уже давно ей надоели.

— Мне что-то скучно, мама! — бывало, жаловалась Лютик.

— Отчего же тебе скучно, милочка? — спрашивала ее мать.

— Да так... я не знаю... скучно! — надув губки, печально отвечала Лютик.

— Ну, займись чем-нибудь или поиграй!

«Поиграй! Займись!» — легко сказать... Старые игры — все одни и те же — опротивели, а новых нет. Заняться? ...Но чем же? Работать ей не для кого и не для чего... А работать что ни попало, без толку, без цели — так же скучно, как черпать воду решетом.

Девочка была ленива, училась плохо, да ее особенно и не принуждали. Нянюшки и мамушки говорили, что «барышне не бог весть что и надо», что «ей ведь, слава богу, не на службу идти!» Да и мать также думала, что «Лютик еще успеет выучиться»...

Она ни о чем не заботилась, ни над чем не задумывалась, и все впечатления скользили по ней мимолетно и бесследно... Однажды, например, она услышала на дворе шум и, высунувшись из окна, увидела какую-то маленькую деревенскую девочку, с плачем бегущую по двору.

— О чем она плачет? — спросила Лютик.

— Она забралась в сад яблоки воровать... А ее там увидели, оттащали за волосы и вытолкали вон! — отвечали Лютику.

— А-а! — безучастно протянула она и через минуту уже забыла и про девочку, и про зеленые, кислые яблоки, так дорого доставшиеся ей...

Только один отец замечал, что Лютик растет каким-то бесчувственным истуканом.

— Не знаю, что выйдет из нашего Лютика... Боюсь я за нее! — сказал он однажды жене. — Она какая-то странная... какая-то черствая, холодная! Никого она не приласкает, никого не пожалеет, вечно занята собой и совсем не обращает внимания на других. Ты замечаешь, она никому ничего не дарит, она ничем не поделится...

— Ах, полно, мой друг! — возражала ему жена. — Чего же ты требуешь от ребенка... Что же она еще понимает?.. Вот, погоди, вырастет...

Отец молча, задумчиво качал головой.

Неизвестно, что вышло бы из Лютика, если бы не приключилась с ней одна интересная история. Эта-то история и будет рассказана здесь...

## НЯНЯ ОТКРЫВАЕТ ТАЙНУ

Однажды вечером няня рассказывала Лютику, что около их усадьбы, в Суходольной пустоши, в старые годы зарыт разбойниками клад. Над кладом насыпан высокий бугор, и он уж давно травой весь зарос; у подошвы бугра три сосны стоят, клад сторожат.

— Денег, серебра, и золота и камней самоцветных там — тьма! — говорила няня.

— А как же добыть этот клад? — спросила Лютик, внимательно выслушав рассказ.

— Трудно его достать, очень трудно... — кряхтя и позевывая, толковала няня. — Ночью накануне Иванова дня надо идти туда одному, а крест нужно снять с себя, оставить дома... Ну вот, как придешь туда в самую полночь, надо встать на бугор, три раза топнуть ногой в землю и молвить: «Клад, клад, дайся мне!» А тут уж только держись... Зашумит кругом тебя, затрещит, загремит, всякие ужасы поднимутся... Оборачиваться уж нельзя! Стой да дожидайся!.. Не испугаешься — клад твой, а ежели побежишь — все пропадет.

— Значит, няня, нужно три раза топнуть ногой о землю... только и всего? — спросила Лютик.

— Нет, голубка! — продолжала старуха. — Нужно еще взять с собой цветок папоротника. Он цветет только один раз в год — в Иванову ночь... Надо сорвать его так, чтобы ни один людской глаз не видал того, и никому не показывать этот цветок. В нем — вся сила. Без него клад не покажется и во веки веков.

— Няня! А много там денег? — немного погодя задумчиво спросила Лютик.

---

*Иванов день* — по новому стилю приходится на 7 июля.

— Страсть! Видимо-невидимо... просто конца-краю нет...— отвечала няня.— Так старые люди говорят...

— На эти деньги я могу все купить, все сделать? Да? — приступала девочка.

— Все, что твоей душеньке угодно! Все...

Девочка обеими руками облокотилась на стол и задумчиво смотрела в темный угол. Там ей чудились золотые горы... Густой румянец заливал ее щеки, глазки горели... «Вот где они, деньги-то!» — думалось ей. А она уж знала силу, могущество денег. Все вокруг нее говорили о деньгах, говорили о том, что с деньгами можно все сделать...

С того вечера прошло много дней и ночей, но Лютик крепко запомнила сказание о кладе. Клад не выходил у нее из головы. Девочке захотелось достать его, и она не раз принималась расспрашивать няню о том, где находится заветный бугор, как пройти к нему. Лютик с нетерпением дожидалась ночи на Ивана Купалу. Только одно смущало ее: как найти цветок папоротника.

— Где он растет? — спрашивала Лютик.

— Говорят, в болоте...— отвечала няня.

— Каков же с виду этот цветочек? — допытывалась Лютик.

— Сама-то я не видала его...— поясняла старуха.— А сказывают, что такой беленький да красивый, на высоком стебельке... И весь-то он светится, как жар горит...

Наступило, наконец, 23 июня.

— Вот и до Аграфены Купальницы дожили...— говорила няня.— А завтра — Иванов день... а там — Петра и Павла... Охо-хо-хо! Как времечко-то идет, ровно вода льет... Не увидим, как пройдет и лето красное...

Лютик промолчала, ничего не сказала няне и весь тот день провела в страшной тревоге. Она не могла ни за что

---

*Аграфена Купальница* — по новому стилю приходится на 6 июля.

*Петра и Павла* — праздник в честь апостолов Петра и Павла приходится по новому стилю на 12 июля.

взяться, не могла посидеть спокойно: то ей было душно, то дрожь пробирала ее от нетерпенья и ввиду ожидающих ее ночных ужасов...

— Что с тобой, милочка? Здорова ли ты? — спрашивала ее мать.

— Так, что-то тяжело... — ответила Лютик.

— Да! Сегодня душно в воздухе... — заметила мать.

— К ночи, вероятно, соберется гроза! — сказал отец.

«Вот еще беда!» — подумала девочка.

Мать посоветовала ей выкупаться. Лютик пошла с нянькой на реку и выкупалась, но ей легче от того не стало.

День 23 июня показался Лютику томительно-долгим, мучительным днем.

### III

## НОЧЬ НАКАНУНЕ ИВАНОВА ДНЯ

Наступает ночь — тихая, ясная...

Лютик лежит уже в постели с закрытыми глазами, но не спит. Она заложила руки под голову, и волосы ее темною, густою волной рассыпались по подушке. А сердце ее бьется, бьется... Страшно идти одной ночью... Ведь нужно будет зайти в лес, найти цветок папоротника, потом пройти по степи, к бугру... Положим, до леса недалеко, не более версты... А все-таки хорошо было бы взять с собою няню... Да!.. Но нет! Нужно идти одной, и она пойдет одна, и достанет клад, и будет богатая-богатая...

В раскрытое окно льется из сада аромат цветущих лип, видно темно-синее небо, какая-то ночная птичка поет в кустах сирени...

Лютик сегодня, сейчас пойдет за кладом и только ждет, чтобы все поскорее улеглись, уgomонились, чтобы не мешали ей. Наконец, в доме все затихло... Старинные дедовские часы, висевшие на стене против кровати, сказали Лютику:

«Пора!» Стрелка их приближалась к XI, и няня уже давно храпела...

Час настал. Лютик тихо поднялась, сняла с себя крест, положила его под подушку, оделась потихоньку, осторожно сошла с лестницы, пробралась через окно в сад, из сада в поле. Там она скоро напала на тропинку и пустилась бегом.

Когда она подошла к лесу, ей стало жутко. Лес стоял темный, безмолвный, величаво поднимая к небу свои раскидистые зеленые вершины. Ночные тени лежали в чаще леса и по лесу расходился какой-то таинственный шорох... Ах, Лютик! Не пойти ли лучше назад? Страшно ночью в лесу... Нет! Она пойдет вперед: ей необходимо нужно достать цветок папоротника. А он расцветает только один раз в год, говорит няня, сегодня ночью... Если бы кто-нибудь указал ей этот цветок! Лютик не знала никаких цветов, кроме тех, что растут у них в саду, да и к тем она мало присматривалась.

— Няня говорила: белый, красивый, на высоком стебельке! Буду глядеть в оба,— вполголоса пробормотала Лютик и, вооружившись всем своим мужеством, стала продираться сквозь лесную чащу.

Крапива ей ноги жгла, верес цеплялся за платье, березы хлестали ее по плечам своими гибкими ветвями, ели кололи ей руки и лицо, сосны-великаны, гнилые пни и колоды загораживали дорогу, несносные комары и мошки больно кусали ее, слепили ей глаза. А Лютик упорно, терпеливо пробиралась в самую глушь... Мать ее, право, упала бы в обморок, а старая нянька сошла бы с ума, если бы узнали они, что их ненаглядная девочка, вся растерзанная, в оборванном платье, с растрепанными волосами, как безумная бродит одна по лесу в такую позднюю пору...

Около получаса прошло в поисках; подходящего цветка не находилось. Лютик уже устала, но не хотела отступаться от клада.

---

*Верес — можжевельник.*

Вдруг девочка заметила, что она спускается в болото... Лес стал редеть, земля сделалась зыбкою, пошли кочки.

Белесоватая роса стлалась понизу... Лютика обдавало сыростью, а ноги все глубже и глубже уходили в мягкий желтоватый мох. Наконец за деревьями показалась вода, а среди воды на кочке росла высокая густая трава, и из нее виднелся большой белый цветок. «Вот он!» — с восторгом подумала девочка и пошла за цветком в воду. Она поднесла к нему руку и сильно вздрогнула... Из травы мелькнула ей серая голова змеи. Змея зашипела и метнулась в сторону... Тут Лютик вспомнила о сказочных чудовищах, и ей подумалось: не стражем ли была приставлена нечистою силой к цветку эта серая змея? Лютик в ту же минуту сорвала цветок, запихала его за пазуху и — ни жива ни мертва — бросилась на берег...

Она идет. А кругом нее зеленою скатертью расстилается ровная, неоглядная степь и ночное безмолвие царит над степью. Синюю полупрозрачную тенью подернута даль... Вот и высокий бугор, тот самый, что описывала няня. Вот и три старые, полузасохшие сосны темнеют у подошвы бугра... Все так, все точь-в-точь как говорила няня.

В то время, как Лютик подходила к бугру, черная туча быстро заволокла небо, одною мрачною пеленою завесив его от края до края. Когда Лютик взбежала на бугор, вся окрестность кругом нее уже тонула в непроницаемом мраке. Собиралась буря... Поднялся ветер, сухие листья носились в воздухе. Девочка вынула из-за пазухи цветок, топнула ногой о землю и вскричала:

— Клад, клад, дайся мне!

А ветер бушевал все пуще и пуще. Молния зажигала небо, и гром грохотал, как будто в самом деле кто-нибудь в гремющей колеснице катался по темным облакам.

Сосны у подошвы холма скрипели и трещали... Лютик не робела, она в другой и третий раз топнула ногой о землю и громким голосом произнесла свое заклинание и ждала...

Вдруг ослепительная молния загорелась над землей, и в ее неверном красноватом освещении на несколько мгновений озарились степные дали, три высокие старые сосны, и холм, и на холме девочка. С белым цветком в руке, выпрямившись и слегка закинув голову, стояла она на вершине холма, обратив свое побледневшее лицо к черным грозным тучам, тяжело нависшим над ее головой. Порывистый ветер, как бешеный, рвал и крутил на ней платье, разведал ее черные волосы...

Молния погасла, гром с таким страшным треском прокатился над степью, как будто в ту минуту земля и небо готовы были распасться. Сильный порыв ветра чуть не сбил Лютика с ног, она покачнулась — и в то же мгновение при зареве вспыхнувшей молнии увидала, как ближняя к ней сосна повалилась наземь, вырванная с корнем. Сосна тяжело рухнула... Девочку обсыпало землей и мелким камнем.

Лютик задрожала и слабо вскрикнула, но скоро опять оправилась и стала прямо. Ей было жутко, но она все-таки не хотела бежать. Она помнила, зачем она пришла сюда, помнила слова старушки-няни, что «очень трудно достать клад», что «зашумит кругом тебя, затрещит, загремит, всякие ужасы поднимутся», что «ежели побежишь — все пропадет, а не испугаешься — клад твой!»...

Сколько сокровищ, сколько денег лежит вот тут в земле, под ее ногами! Как же после этого убежать!.. А страшно! Ух, как страшно... колени дрожат, ноги сами собой подгибаются, а сердце... сердце так колотится в груди, как будто хочет выскочить оттуда... Первая половина няниных предсказаний исполнилась в точности: вокруг Лютика действительно «трещало и гремело» и творились всякие ужасы. Теперь, значит, можно ожидать, что и вторая половина предсказаний исполнится — клад дастся в руки смелой девочке...

Лютик то поглядывала наземь — не показывается ли клад из-под бугра, то посматривала на небо и в темную даль. Буря свирепела все пуще и пуще, а клад, разумеется,



не показывался. Стал было накрапывать крупный дождь, но скоро прекратился.

Прошло еще с полчаса. Забрезжил рассвет. Тучи умчались и ветер стих. Обрывки серых облаков медленно ползли по небу, и из-за них кое-где просвечивала лазурь. Румянцем зарделась восточная окраина неба...

Вся минувшая ночь, проведенная в лесу в поисках за цветком папоротника, встреча с змеей, наконец, ужасы ночной грозы с ее оглушительным громом и ослепительной молнией — все это теперь Лютику казалось каким-то диким сном. Ей казалось, что не она, а как будто кто-то другой за нее переживал все страхи последней ночи. Но нет! То был не сон... Труп сосны с вывороченными вверх корнями темной, безобразной массой лежал у подошвы холма... Девочке очень странно было в такой ранний предутренний час видеть себя не в постели, не в своей спальне, а в какой-то дикой, глухой местности, в степи. Лютик вздохнула и, не дождавшись клада, грустно понурившись отправилась домой.

Ей только нужно было пройти через кусты, примыкавшие к лесу. За кустами шла дорога в усадьбу... Через полчаса она будет дома. С каким наслаждением ляжет она на свою постель и отдохнет от всех тревожений минувшей ночи!.. И ей живо представилось, как сладко теперь спит ее няня и как встревожится, если, проснувшись, не найдет на постели свою маленькую барышню... Завтра Лютик расскажет ей про свои ночные скитальчества — вот-то старуха заахает и закрестится...

По рассеянности девочка как-то сбилась с пути и попала в лес. Заметив свою ошибку, она тотчас же спохватилась и стала искать выхода из леса. Она поворачивала то направо, то налево, то возвращалась назад, то шла вперед, и с каждым шагом углублялась все дальше и дальше в чащу. Лес становился все темнее, все дремучее... Несмотря на усталость и волнение, девочка с изумлением и любопытством оглядывалась по сторонам. Лес впервые открывал перед нею свои тайны... Лес — не то что сад, совсем не то. В своем

саду Лютик знала каждый куст, каждый уголок. А здесь, в лесу, она — как в неведомом царстве, где на каждом шагу она ожидает встретить какое-нибудь диво. Ей жутко и приятно...

В лесу — зеленый полусвет; тихий скрадывающийся шорох расходится кругом, как будто кто-то невидимый крадучись пробирается легкою стопой по вершинам деревьев. Лютик видит, как низко над головой ее порхают и чирикают лесные птицы. Вон рыжая белка, прикрывшись пушистым хвостом, смотрит на нее с дерева своими бойкими темными глазками... Там заяц, насторожив уши, сидит за кустом и, почуяв приближение человека, скрывается в чаще... А тут еж пробирается между кочками, показывая из травы свою иглистую спину...

Сыч, забравшийся в темную чащу, таращит во все стороны свои большие, круглые глаза... Старый черный ворон тяжело хлопает крыльями, перелетая с дерева на дерево... Сломанная бурей, белостволая береза мерещится из чащи, как бледное привидение. Черный обгорелый пенек резко выделяется среди нежной зелени. Пучки цветов мелькают там и сям... Громадные корни, вывороченные из земли вместе с дерном, таращатся, как какое-нибудь сказочное страшное лицо...

На каждом шагу Лютику может встретиться волк или медведь. Ох, страшно, страшно! Куда она зашла? Что станет с ней?.. Наступает утро. В барском доме скоро уже встанут, мама с папой сядут за чай, а она... несчастная! Она будет блуждать по лесу, может быть, до тех пор, пока не попадет на зубы медведю или волку...

Лютик страшно устала, измучилась. Она уж еле тащилась, с трудом перебираясь через кочки, колоды и пни, запинаясь о валежник и поминутно задевая за сучья елей и берез. Ноги ее отяжелели и вся она чувствовала себя разбитой, точно палками отколотили ее по спине и по ногам. «Если я свалюсь, мне уже не встать,— думала она про себя.— Чувствую, что не встать...» Ее начинала мучить

жажда, во рту пересохло, в висках стучало... Первый раз в жизни Лютик проводила такую ужасную ночь...

— Господи! Что я наделала! Что со мной будет! — простонала она. — Пропаду я в этом темном лесу...

И она с ужасом смотрела на обступавшие ее со всех сторон могучие деревья. Деревья как будто протягивали к ней свои гибкие, длинные ветви, цеплялись за нее, тянулись к ней со всех сторон, словно хотели остановить и удержать ее навсегда в своей дикой лесной глуши. Но нет! Лютик не пропала в темном лесу... напротив: она из мрака вышла к свету...

#### IV

### К Л А Д

Лютик уже собиралась заплакать, хотела кричать, звать на помощь... Кого хотела она звать на помощь — неизвестно, да и сама она того не знала... Не могла же она думать, что нянька услышит ее и прибежит за нею сюда, в лес! Она ничего не думала: она просто одурела с отчаяния...

Вдруг она вышла на какую-то дорогу. Дорога была не широкая, но, по-видимому, проезжая, хотя и не торчали вдоль нее полосатые верстовые столбы. На ней были заметны следы колес и лошадиных подков. Дорога серой, пыльной лентой вилась по лесу; высокие деревья и густой кустарник зеленою стеной обступали ее с обеих сторон. Только вверху, над головой, видна была узкая полоса сияющего голубого неба. Солнце уже взошло — его красноватые лучи пробегали по зеленым вершинам сосен, елей и кудрявых берез. В воздухе после ночной грозы сильнее пахло цветами; птичье пение, гомон, щебетанье неслись отовсюду... Лютик

---

*Верстовые столбы* — столбы вдоль дороги, указывающие расстояние в верстах.

думала: «Эта дорога спасет меня, долго ли, коротко ли, выведет из леса, приведет меня к деревне или хоть к какой-нибудь жилой избушке... Наконец, здесь — не то, что в лесу — могут встретиться проезжие или прохожие...»

Лютик остановилась как вкопанная...

В трех шагах от нее, близ дороги, под плакучей ивой сидел какой-то старик с длинной седой бородой. Его белая холщовая рубаха, вся в дырах и заплатках, была подпоясана обрывком веревки; холщовые штаны его далеко не доходили до пят; ноги босы, в пыли. На коленях его лежала меховая шапка — вовсе не по летнему времени. Его худощавое загорелое лицо, словно вылитое из темной бронзы, все было изрезано глубокими морщинами. Рядом с ним на траве лежал кошель, стояла дырявая корзинка, прикрытая грязною тряпицей, и валялся страннический посох, гладкий и блестящий от долгого употребления, словно покрытый лаком.

В то время, как Лютик увидела старика, тот занимался серьезным делом: он доставал из корзины кусок черного ржаного хлеба и старательно сыпал его солью. Посмотрев в ту сторону, где был восток, старик набожно перекрестился и собрался есть... Он не замечал маленькой странницы и весь был углублен в свое занятие. Старик показался Лютику совсем не страшен, и она решилась подойти к нему.

— Здравствуй, дедушка! — сказала Лютик, сделав шаг к нему.

Старик поднял голову и с изумлением посмотрел на девочку своими серыми, тусклыми глазами.

— Здорово! — промолвил он, шамкая беззубыми челюстями.— Да ты как попала-то сюда?.. Ты ведь, кажись, барское дитя?

— Да! Я из усадьбы... я заблудилась в лесу... и так устала...— говорила Лютик.

— Устала — так садись, отдохни! — предложил старик, указывая ей место около себя.

Лютик опустилась на траву и вздохнула с облегчением. Первый раз в жизни она была так рада встрече с человеческим существом. Если бы не было неловко, она, право, обняла бы этого жалкого старика в лохмотьях. Первый раз в жизни в ее хорошенькой головке мелькнула мысль о том, что все люди — люди, в какой бы одежде ни ходили они — в шелковой или в холщовой... Она уже недавно испытала тяжелое чувство одиночества и беспомощности и теперь с живейшей отрадой смотрела на старика. Зайцы и белки в лесу бежали от нее, как от недруга, а сама она страшно боялась медведей и волков. Старик же не бежит от нее, и в то же время она не боится его, потому что он — человек.

«Он, кажется, добрый, даром что у него такие густые седые брови», — рассуждала Лютик, смотря, как старик ел свой черствый кусок хлеба, забеленный солью. Теперь она находилась в безопасности и была совершенно спокойна. Чего ж ей бояться! Она теперь не одна. Она не думала о том, что хилый старик не мог бы оказать ей большой защиты хоть, например, от тех же медведей и волков, которых она страшилась несколько минут тому назад. Для нее достаточно было чувствовать, что теперь рядом с нею сидит человек.

До сего времени барышня никогда еще не разговаривала с первым встречным. Теперь первый раз в жизни она почувствовала сильнейшее желание, почувствовала потребность побеседовать о чем бы то ни было с этим незнакомым человеком.

— Куда, дедушка, идешь? — спросила Лютик.

— Я, голубка, все лето хожу из деревни в деревню! — ответил старик, жуя сухую корку. — Хожу да милостыню Христовым именем собираю, запасаю хлебушка на зиму...

— Так ты, значит, нищий? — перебила его Лютик, вспомнив, как при ней иногда с брезгливостью говорили о нищих.

— Нищий! — отозвался старик. — Что будешь делать! Работать не могу, сил нет... Стар, зажился на белом свете, так

зажился, что и могила-то не принимает... А есть-то все-таки охота... Вот и бродишь лето-то красное! Спасибо добрым людям, дай Бог им дожить до хорошего... У иного — и у самого-то мало, а все же хоть крохой поделится. Народ-то уж больно обеднел...

— А разве денег у тебя нет? — спросила Лютик.

— Ой, дитятко! Какие у нас деньги... — качнув головой, промолвил старик. — Так, иной раз грошик перепадет, вот и все наши деньги... И без денег живем. Без доброты нельзя жить на свете, а без денег — можно...

— И родных у тебя нет? — допрашивала Лютик.

— Брат есть. У него зиму-то и живу, на печке лежу да кое-когда лапти ковыряю... — рассказывал старик. — Да братан-то беден, самому с женой прокормиться впору...

— А если мало набираешь? Если не хватит хлеба до весны?.. Тут что? — заметила девочка.

— Ну, немножко и попостишься, поголодаешь — не беда... Что ж делать! — со вздохом проговорил бедняк.

— Ведь ты, дедушка, я думаю, устаешь ходить-то! — заметила Лютик.

— Ну что ж! Устанешь и отдохнешь... Слава богу, хоть ноги-то пока еще носят...

— Приходится тебе и под дождем бывать, под грозой?

— Да ведь как же — всего случается... Дождиком вымочит, солнышком высушит, ничего! — спокойно проговорил старик.

— Может быть, ночь иногда застает тебя где-нибудь в поле, в лесу? — с участием расспрашивала Лютик.

— И это бывает... Случается ночевать и под березкой, и под сосенкой! — тем же спокойным покорным тоном отвечал нищий. — Да летом-то, голубка, везде хорошо!.. Как хлеба край, так и под елью рай. Вон хоть теперь скажем: теплынь, благодать... В лесу-то еще лучше, чем в избе. Воздух — вольный, простор, ни ты никому не мешаешь, ни тебя никто не задевает... А вокруг-то, глянь-ка: цветы

цветут, ягоды краснеют... А птиц-то, птиц-то! И песен не переслушаешь...

И живо представилось Лютику, как этот хилый старик, подпоясанный веревкой, босой, опираясь на посох, бродит все лето по полям и лесам, по пустынным дорогам и, переходя из деревни в деревню, просит хлеба Христа ради. Совершенно новое чувство, еще ни разу не испытанное Лютиком, больно защемило ей сердце. Ей стало жаль старика... Первый раз в жизни она пожалела не себя, а другого, своего ближнего.

Старик, между тем, кончил свой кусок хлеба, собрал крошки, упавшие ему на колени, взял их на ладонь и высыпал в рот. Лютик еще никогда не видала, чтобы так бережно обращались с простым, черным хлебом. Она иногда целые корки выбрасывала за окно... Впрочем, теперь она уж понимает, что бедняк должен дорожить каждой крошкой хлеба — для того, чтобы жить.

— А ты, дитятко, не хочешь ли хлебца? — спросил старик, заметив, что девочка пристально глядит на него.

— Пожалуй, я съела бы кусочек! — сказала проголодавшаяся барышня.

— Ну что ж! Ешь на здоровье... У меня хлеб есть! — промолвил старик, доставая из корзины соль, завернутую в тряпочку, и кусок хлеба и подавая их Лютику. — На, голубка! Поешь...

— Спасибо, дедушка! — пролепетала маленькая барышня и с великим удовольствием стала грызть своими белыми, блестящими зубами черствый ржаной хлеб.

Старик, добродушно усмехаясь, посматривал на нее.

— Как мне пить хочется! — сказала Лютик, доевши свой хлеб.

— И вода у нас есть! — утешил ее старик, вытаскивая из корзины небольшой берестовый бурак и подавая его Лютику.

---

*Бурак* — берестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой.

Та с наслаждением припала к бураку и жадно, не отрываясь, пила из него чистую, прохладную воду, слегка припахивавшую берестой. Ни квас, ни чай, ни шоколад, ни кофе никогда не казались ей так вкусны и приятны, как эта чистая ключевая вода. За каждый ее глоток Лютик с радостью отдала бы целую чашку чая или кофе с сахаром и со сливками...

— Ах, как хорошо!..— вскричала она, отрываясь от бурака.— Я точно ожила... Благодарствуй, дедушка!.. Благодарствуй, голубчик!

— Не за что, дитятко! Вода Божья и все Божье...— отозвался старик.

Теперь, когда Лютик закусил, напилась и успокоилась за свою участь, усталость окончательно сломила ее. Ее клонило ко сну, глаза сами слипались и голова отяжелела...

— Ты, дедушка, еще не скоро уйдешь отсюда? Ты посидишь? Я соснула бы немножко...— с трудом пробормотала она, ложась на траву.

— Пожалуй, посижу... Спи! — сказал старик. Лютик уже спала...

Когда она проснулась, солнце поднялось высоко, и зеленый лес весь сверху донизу был пронизан золотом горячих полуденных лучей.

— Вставай, дитятко! Мне пора идти...— сказал старик, завязывая свой кошель и собираясь в путь.— Нам нужно идти в разные стороны... Ты ступай туда (он указал рукой на дорогу). Пройдешь немного, увидишь две дороги... Одна — прямо, это в лес, а другая — вправо... Вот по этой дорожке и ступай! Выйдешь в поле, а там близко и деревня. Из деревни кто-нибудь проводит тебя домой...

А Лютик раздумывала, чем ей отблагодарить старика. Он накормил, напоил ее, охранял ее сон, указал ей дорогу... В ее кармане ничего не было, кроме носового платка. На шее у нее был повязан голубой шелковый шарф... Зачем старику этот шарф! Вдруг она случайно в ту минуту взглянула на золотое колечко, бывшее у нее на безымянном пальце



правой руки. Это — подарок матери. Мать говорила ей, что это кольцо дорогое... Чего же лучше! Если старик проживет этим золотым кольцом месяц или два — и то ладно... Он будет вспоминать о Лютике. Девочка стала снимать кольцо и насилу стащила его с пальца.

— Вот, дедушка! Возьми...— сказала она, подавая ему кольцо.

И удивительное дело! Первый раз в жизни Лютик чувствовала желание отблагодарить человека, первый раз в жизни она дарила такую красивую, ценную вещь и не только не жалела ее, но была сердечно рада, что может подарить что-нибудь... До сего времени она обыкновенно принимала только подарки от других и не думала ни с кем делиться ими...

— Что ты, что ты, Христос с тобой! Нет, нет! Оставь себе... — отнекивался старик, почти с испугом поглядывая на кольцо.— Куда мне его, дитяtko! Что ты! Этакая дорогая штука...

— Да! Дорогая... это правда! — говорила Лютик, стараясь сунуть ему в руку кольцо.— Тебе за это кольцо дадут много денег... тебе не придется нынче долго ходить по деревням... ты отдохнешь!.. Возьми же, дедушка! Возьми, пожалуйста... сделай милость, возьми!

Старик все отнекивался. Девочка упрашивала, и как же она обрадовалась, когда ей, наконец, удалось оставить свое золотое кольцо в загорелой морщинистой руке нищего.

— Ну, дай тебе Бог здоровья...— вздыхая и кряхтя, проговорил старик, поднимаясь с земли.

Они распрощались и расстались. Старый нищий пошел в одну сторону, барышня — в другую. Лютик еще несколько раз оглядывалась назад и видела, как бедняк брел по окраине лесной дорожки, тяжело опираясь на посох. Наконец, на одном из поворотов дороги старик скрылся за деревьями — исчез из глаз девочки, но не из ее воспоминаний. До конца жизни не забудет она того куска хлеба, которым поделился с нею нищий...

Лютик скоро вышла из лесу, миновала поле и очутилась перед деревней. Глядя на деревушку, можно было подумать, что как будто сильный вихрь разнес, разметал и наклонил, как попало, в разные стороны ее жалкие серые избушки с соломенными крышами. Одна избушка сползала в овраг, другая стояла прямо на юру, третья словно в испуге отшатнулась от нее, а там далее две избы рядом близко наклонились одна к другой, как старики, мирно и дружно вместе прожившие жизнь... Далее еще несколько избушек стояло на отлете; еще далее видны были амбарушки, запертые большими замками.

Лютик прямо подошла к крайнему жилью и остановилась перед ним в нерешимости. Это была маленькая, почерневшая от времени, покривившаяся избушка с одним крохотным оконцем; нижняя часть стекла была разбита и заткнута какой-то синей тряпицей; серая полусгнившая соломенная крыша склонилась на один бок, как будто ежеминутно готовясь упасть и рассыпаться. Жалкая избушка!

Такие избушки Лютик еще никогда не видала вблизи, не рассматривала их так пристально, как теперь. Конечно, она нередко с матерью и с отцом проезжала по деревням, но проезжала быстро — так, что куры, рывшиеся в песке среди улицы, кричали с испугу и едва успевали лётом спастись из-под ног скакавших пристяжных. Деревни мелькали перед нею, и все они казались ей похожи одна на другую, как две капли воды. Теперь первый раз в жизни она очутилась лицом к лицу перед убогой деревенской избой. Эта изба напомнила ей сказочные избушки на курьих ножках и те хижины, какие встречала она на картинах в очень живописном виде.

---

*На юру* — на открытом возвышенном месте.

*Пристяжные* — лошади, запряженные сбоку от оглобелей для помощи кореннику, запряженному посредине.

Лютик оглянулась: на улице никого было не видеть. Конечно,— летнее рабочее время, все ушли на поле или в луг... Лютик подошла к окошку... Ей почудилось, что в избе кто-то глухо простонал... и затем вдруг послышался жалобный детский голос:

— Ой, мама!.. Мама, не умирай!

В этом детском крике прорывалось такое горе, такое отчаяние, что Лютик вся вздрогнула и сердце ее замерло... Она вошла в сенцы, тихо отворила дверь и вступила в избу.

Хотя день был ясный, но в этом несчастном человеческом жилище было мрачно и темно. Лютик не могла сразу рассмотреть то место, куда она теперь попала, а когда глаза ее немножко свыклись с темнотой, увидела перед собою грязный щелеватый пол, черную закоптелую печь, закоптелые бревенчатые стены, закоптелый потолок и потемневший образ в переднем углу... Девочка просто пришла в ужас: она еще никогда не бывала в таких домах... Люди, жившие здесь, показались ей еще более жалкими, чем эта закоптелая лачуга.

Какая-то больная женщина почти в беспамятстве лежала на лавке; голова ее покоилась на груди грязного тряпья; какие-то лохмотья вместо одеяла покрывали ее; ее сухие, всклокоченные светло-русые волосы густыми прядями падали на пол; смертельная бледность подернула ее лицо; потухший взгляд ее полузакрытых глаз был мутен, как будто эта женщина уже ничего не понимала и ничего не видела перед собою. Больная беспокойно металась на своем жестком ложе и с трудом поворачивала голову то в ту, то в другую сторону; дыхание со свистом вырывалось из груди; сухие посиневшие губы шевелились, но ни одного звука не слетало с них... Лишь изредка больная протяжно, тяжело, мучительно стонала.

Тут же у ног больной сидел мальчуган лет 5—6, свесив с лавки свои худые голые ножонки. Его светлые льняные волосы свешивались на лоб; лицо его было очень печально, и крупные слезы текли по щекам. Мальчик был худ и бледен.

Из-за расстегнутого ворота его синей пестрядинной рубахи видна была впалая, костлявая грудь.

В изумлении, исподлобья посмотрел он на барышню, как на необычайное явление, и стал тереть глаза кулаком. Лютик села с ним рядом и ласково взяла его за руку.

— Это кто? Твоя мать? — спросила его Лютик, указывая головой на больную.

— Да! — тихо, чуть слышно промолвил мальчуган, стараясь отвернуться от гостыи.

Он, очевидно, дичился, боялся ее, и девочке стоило большого труда заставить его разговориться. Из отрывочных ответов ребенка Лютик узнала, что мать его заболела уже давно, стала было поправляться, но ее послали в поле на работу, и она опять свалилась...

— Сегодня ей больно худо... Кабы не померла!..

— Зачем же ей не дали поправиться и послали на работу? — вполголоса спросила Лютик.

— Надо было сено убирать, вот и погнажи... — отвечал мальчуган.

— С кем же ты живешь?..

— Живу с мамкой и с тяткой... еще баушка есть!..

— А где же они теперь? — допрашивала Лютик.

— Тятка на работе, а баушка в лес ушла по грибы... — со вздохом шептал мальчуган.

— Как же они оставили больную одну — с тобой?

— Да как... Тятке дома сидеть нельзя, работа не ждет... А баушка сердитая, все ворчит... то говорит, что мама притворяется, что ей на работу идти неохота, а то забранится: «Хоть бы убиралась, — говорит, — поскорее, только мешаешь, руки нам связываешь...» Вот мне мамку-то и жаль... За что баушка ее так?

— Пить... пить... — чуть слышно прошептала больная.

---

*Пестрядинная рубаха* — рубаха из пестряди, грубой домотканой материи, при изготовлении которой использовались разноцветные нитки.

— Пить просит... — пояснил мальчуган. — А чего ей дашь... воды нет!

— Как нет? Воды-то нет?! — живо заговорила Лютик, поднимаясь с лавки. — Отчего же ты не принесешь?.. Вы откуда берете воду?

— Берем-то ее из колодца, да мне не начерпать... — плаксивым голосом отвечал ей мальчуган.

— Так дай ты мне что-нибудь... хоть ведро, что ли... да покажи мне, как черпать... Я сама начерпаю воды! Пойдем! — торопила его Лютик.

Никогда в жизни барышня не хлопотала так усердно о других, да к тому же еще о простой деревенской бабе...

Мальчик взял ведро, и они отправились. Колодец находился среди деревни; колодезный сруб — гнилой, облизлый, подернутый зеленью наполовину, прикрывался такою же ветхой крышкой; с одной стороны колодца помещалась деревянная колода для поива скота, а с другой стороны — корявая рябина раскидывала над колодцем свои жидкие ветви. Мальчуган растолковал барышне, как надо опускать бадью и как потом осторожно поднимать ее вверх, чтобы вода не расплескалась. Бадья, хотя и окованная железом, была не особенно тяжела, но для непривычных рук изнеженной девочки она, разумеется, показалась «страх какой тяжелой». Опустить бадью вниз — в зияющее отверстие колодца — было еще дело довольно легкое, зачерпнуть ею воды оказалось уже труднее, а для того, чтобы вытащить бадью с водой на поверхность земли, Лютику пришлось пустить в ход все свои силы. Опершись коленом на сруб, нагнувшись над темным отверстием колодца, она самым неумелым образом тянула бадью и по своей неловкости легко могла полететь в колодец. А тут еще мальчуган приставал к ней со своими предостережениями...

---

*Поиво* — пойка.

*Бадья* — широкое деревянное ведро.

— Ты смотри за стенку-то не задевай... а то прольешь! — рассудительно замечал он.— Ну, вот так... Тяни хорошенько... Еще! Еще! Ну!.. Вот!

Лютик вся раскраснелась как маков цвет. Волосы ее растрепались. Она запыхалась и с трудом переводила дыхание... Несколько раз она уже думала, что веревка выскользнет у нее из рук и ей придется снова начинать свою тяжелую работу. Наконец бадья-мучительница показалась на божий свет из отверстия колодца.

Лютик докрасна натерла руки о веревку, оцарапала себе палец о бадью, все платье спереди облила водой и все-таки достала для больной воды... Первый раз в жизни Лютик оказывала такую услугу своим ближним: до сего времени только ближние обслуживали ей...

Больная напилась, то есть сделала несколько глотков, и как будто успокоилась. Мальчик опять поместился около нее. Лютик села с ним рядом и вполголоса спрашивала его об их житье-бытье, мальчик отвечал ей как умел... Вдруг больная заметалась и застонала пуще прежнего. Мальчик опять захныкал и припал к ее ногам.

— Ой, мама!.. Ой, милая!.. Не помирай! — причитал он сквозь слезы.

Лютик чувствовала, что в то мгновение в сердце ее происходит что-то особенное, что-то совсем новое, никогда еще не испытанное ею. Ей стало так жаль этого маленького плачущего мальчика, так жаль... Ей страстно хотелось утешить его чем-нибудь, успокоить его, сказать или сделать ему что-нибудь приятное — ну, одним словом, принести ему отраду, облегчение... В эту минуту она не могла придумать никаких особенно хороших слов и не знала, что ей делать. А между тем ей было невыносимо больно, тяжело смотреть на мальчика и слышать его рыдания, надрывающие душу...

В совершенно непонятном для нее волнении, почти как-то машинально, она наклонилась к этому крестьянскому мальчугану, одетому в грязную изорванную рубашонку, крепко обняла его за шею, как своего младшего брата, как

своего самого близкого друга, и приклонила его голову к себе на плечо. Она ласково гладила своею нежною ручкой его нечесанные, всклокоченные волосы, целовала его в лоб и в бледные щеки, теперь мокрые от слез, и шептала ему:

— Ну, не плачь, не плачь же! Полно... Мама твоя поправится, выздоровеет, и все будет хорошо...

Тут Лютик почувствовала, что и на ее глаза набежали слезы, и теплые капли их падали ей на руку и на волосы этого крестьянского мальчика, и на его лоб, и на его полужакрытые глаза... Лютик плакала... Конечно, плакала она и прежде не раз — о пустяках, из-за разных капризов и вздоров... Но теперь первый раз в жизни заплакала она о чужом горе.

Вдруг стукнула дверь. Лютик оглянулась и увидала, что в избу вошла какая-то баба и с удивлением смотрела на нее.

— Барышня!.. Да вы как же зашли-то к нам? — спросила ее пришедшая.

Она бывала в усадьбе и видала Лютика. Барышня вкратце рассказала ей, что она гуляла и заблудилась в лесу.

— Хотите, я провожу вас домой? Мне нужно идти в вашу сторону...— сказала ей женщина.

Лютик, конечно, была очень рада ее предложению. Ей только жаль было оставить больную женщину и плачущего мальчугана, но она утешила себя тем, что непременно упросит мамашу навестить эту несчастную больную и помочь ей... И она действительно упросила мать... Расставаясь с мальчиком, Лютик оставила ему свой шелковый голубой шарф, носовой платок, даже пунцовую бархатную ленточку с головы. Одним словом, она отдала ему все что можно, отдала бы и платье, если бы скромность не удерживала ее...

В усадьбе, разумеется, все были в тревоге. «Барышня пропала! Исчезла неведомо куда!..» Мать просто с ума сходила... И все, разумеется, очень обрадовались, когда Лютик жива и невредима возвратилась домой...

Напрасно Лютик в Иванову ночь запасалась каким-то цветком папоротника: разбойничий клад не достался ей. Она пришла с пустыми руками... но зато вместо разбойничьего клада она во время своих странствований нашла клад более ценный...

Она пошла из дому затем, чтобы достать несметную массу денег и закупить себе на эти деньги ненужную всякую всячину. Она ушла из дому холодной себялюбивой девочкой, думавшей только о себе, скучавшей от нечего делать, а возвратилась совсем другим человеком... Теперь она любила людей, чувствовала сострадание к несчастным и искренно желала жить и трудиться для счастья ближних.

Это — самый дорогой, самый лучший клад в мире: он приносит с собой человеку высшее счастье, доступное ему в жизни — спокойствие совести и душевное довольство...





# ТРАГИЧЕСКАЯ МИНУТА

(Подлинное происшествие)



**В** ЖИЗНИ иногда встречаются нам такие картины, такие потрясающие сцены, которые никогда потом не забываются. Они глубоко и резко запечатлеваются в памяти во всех своих подробностях, со всеми красками и оттенками. Например, проживи я хоть сто лет, не позабыть мне ни за что одной из таких поразительных сцен...

Это было не очень давно... Я с сестрой гостил в усадьбе нашей старой тетушки. Усадьба небольшая, и стоит она над рекой, в затишье, посреди лесов, полей и лугов; старый барский дом почти совсем спрятался в саду. Тетка безвыездно жила в своем старом деревенском доме в обществе старой ключницы и серого кота. Кота звали Матросом или — чаще — попросту Матроской. Матросом прозвали его за то, что он, разыгравшись, с изумительною легкостью и быстротой карабкался на деревья, с ловкостью акробата цепляясь когтями за малейшие неровности коры; таким же образом спускался он с дерева и с саженой высоты прыгал на землю.

Матроско был любимцем моей тетушки: старушка всегда уделяла ему вкусный кусочек и поила его со своего блюдца чаем, то есть сливками, разбавленными теплой водой. Матроско, со своей стороны, был замечательно привязан к ней: он ходил с нею в огород, в сад, в поле — одним словом, бегал за нею повсюду, как собачонка. Он спал обыкновенно на мягком кресле, рядом с креслом тетушки, но при всяком удобном случае норовил забраться к ней на колени. Если ему удавалось попасть к ней, он, по-видимому, тогда чувствовал себя самым счастливым котом в мире и громко запевал свои песни. Если же старушка гладила его по его мягкой, шелковистой спине или чесала у него за ухом, тогда пение его звучало таким самодовольством и делалось так громогласно, что даже слышно было из другой комнаты.

Бывало, в таких случаях разляжется он с полным комфортом, вытянется, одной лапкой легко и осторожно ухватится за тетушкин рукав, приклонит к ней голову со всей своей кошачьей нежностью и грацией и, полузакрыв глаза, сладостно, томно мурлычет...

Я люблю животных и всегда чувствую к ним жалость. Жестокое обращение с животными возмущает меня... Конечно, какому-нибудь господину ничего не стоит толкнуть, ударить или даже придушить какого-нибудь жалкого, заморенного котенка. Но спрашивается: по какому же праву? За что же это?.. Не за то ли, что это несчастное маленькое животное слабее, беззащитнее какого-нибудь глупого верзилы? Не за то ли, что это животное не может думать так же хорошо, как думаем мы, и не в состоянии говорить с нами человеческим языком, выражать нам свои нужды и желания?.. Но ведь и животное по-своему думает, чувствует, и у него также есть своя душа!..

Кошка так же, как женщина-мать, защищает своих котят, совершенно забывая о себе и вступая из-за них в бой с неприятелем, во сто раз сильнее ее. Если у нее отнимут котят, она несколько дней после того ищет их, чрезвычайно трогательно зовет их к себе, ходит грустная, убитая и жалобно мурлычет. Значит, она по-своему, своею маленькою кошачьею любовью любит своих детенышей... Собака во сне бредит, лает, визжит: значит, она видит сны, значит, у нее сильно развито воображение. И почему знать! Во сне она, быть может, создает целые поэмы в собачьем вкусе: может быть, видит себя на охоте, видит какое-нибудь бесконечное болото, покрытое кочками, поросшее густой травой, с массой уток или дупелей, или видит дремучий лес и шмыгающих в его полумраке волков, зайцев и лисиц... Иные животные, как например лошадь, олень, умирая, плачут и смотрят на окружающих так грустно, так печально, что и сомневаться нельзя в том, что они в эти горькие минуты действительно тоскуют, скорбят «душой»...

Мне особенно жаль животных именно потому, что они лишены возможности ясно, словами высказывать нам свои желания, потребности, свои радости и страдание...

Матроско был добрый, смирный, ласковый кот. Я скоро познакомился с ним, и мы сделались друзьями...

Мы вместе с ним гуляли по саду. Я с книгой ходил по аллее взад и вперед, а Матроско следом бродил за мной. Иногда он, бывало, сядет в сторонке, посидит и опять ко мне. Он всегда был очень доволен, когда я брал его к себе на плечи. Если же я долго не обращал на него внимания, он или терся около моих ног, выгнув спину и задрав хвост, или же садился среди аллеи, прямо на дороге, так что я неминуемо должен был натолкнуться на него... Он ходил со мной даже в поле. Если я шел скоро, то он трусил за мной рысью, и серая спина его была чуть видна из-за густой травы. Он также хаживал со мной и на берег реки и катался со мной в лодке. Он, обыкновенно, входил в лодку с некоторым опасением и во все время плавания осторожно переходил с одной стороны лодки на другую, с тревожным видом поглядывал на воду, нюхал, прислушивался и вообще выражал большое беспокойство.

Не позабыть мне, как жалок и смешон показался мне Матроско, когда я в первый раз в сопровождение его отправился купаться. Когда я, раздевшись, бросился в воду и поплыл на середину реки, Матроско забежал по берегу и жалобно замыкал, вероятно считая меня уже безвозвратно погибшим. (Кошки, как известно, боятся воды и добровольно никогда не войдут в воду, хотя, в случае крайности, и могут держаться на воде.) Матроско не мог следовать за мной, не мог спасти меня, но что мог — он делал... Он бегал взад и вперед по самой окраине берега, так что порой даже ступал в воду. Я видел, как он потом, выйдя на сухое место, тряс то одной, то другой лапкой... Я цел и невредим возвратился на берег, и Матроско радостно терся около моих ног.

Матроско, как всякий порядочный кот, ловил мышей и крыс. Я не думаю, чтобы у него, как утверждают некоторые философы, была врожденная склонность к этому занятию. Мать научила его ловить мышей и крыс в ту раннюю пору его жизни, когда он только что «вступил в свет», то есть когда выполз с места своей родины, из-под печки, и стал бродить по щелеватому кухонному полу. Мать сначала приносила ему мертвых мышек, а потом стала давать ему наглядные уроки, которые, разумеется, не прошли бесследно: при нем она подкарауливала мышей, спрятавшись за каким-нибудь лукошком, и терпеливо, затаив дыхание, выжидала удобного момента, затем стремглав бросалась на свою добычу и хватала ее. С течением времени Матроско и сам попробовал свои силы на охотничьем поприще. Впрочем, особенных подвигов он по этой части не совершал, потому что почти всегда был сыт по горло.

У Матроски было странное обыкновение — тащить домой свою добычу, где бы он ни поймал ее. Из-за этого у нас бывало много шума. Тетушкина ключница-старушка и сестра моя очень боялись мышей и, завидев Матроску с его добычей, поднимали страшный гвалт.

— Ай-ай! Батюшки-светы! — кричали они. — Матроска мышь несет! Возьмите, возьмите его скорее!..

Матроску хватали и с его запрещенным товаром высаживали в сад или на двор. А он, между тем, глухо урчал, вероятно воображая, что хотят отнять у него добычу. В следующий раз как ни в чем не бывало он опять с мышью тащился в столовую, несмотря на внушаемые им ужас и отвращение, и опять его торжественно изгоняли вон...

Ловил он также в саду птичек, когда те бывали слишком беспечны и слетали на нижние ветви кустов. Но благодаря его привычке — тащить домой свою добычу — мне не раз удавалось живьем освобождать птичек из его когтей. Если

же птички не попадались ему в лапы и, заметив происки своего серого неприятеля, щебеча летали над ним, тогда Матроско с самым меланхолическим видом бродил по саду, в тени деревьев и кустов, как-то необыкновенно жалобно мурлыча и посматривая по верхам. Он казался в те минуты обиженным и словно жаловался на птичек. А птички как будто подтрунивали над ним, с громким щебетом и писком налетали на него, носились за ним по пятам, перепархивая с дерева на дерево, с кустика на кустик и, очевидно, отводя его от своих гнезд. Они иногда доводили Матроску до того, что тот, наконец, печально опустив хвост, удалялся на балкон и с горя заваливался спать.

Иногда — тоже, должно быть, с горя — бросался он на куричьих цыплят. Но если птичница замечала его проделку, тогда Матроске за его смелость приходилось платить собственными боками. Вообще, два-три цыпленка, съеденные им, чрезвычайно повредили его репутации и навлекли на него массу более или менее чувствительных неприятностей. Пропадет ли как-нибудь цыпленок, унесет ли его ворона или ястреб, закусит ли его сдуру чужая собачонка, случайно забежавшая на двор, каждый раз темные подозрения падали на Матроску, хотя он, в сущности, ни душой ни телом не был виноват в пропаже цыпленка. Даже тетушка в таких случаях бывала к нему несправедлива.

— Ой, уж ты мне, птицелов негодный! — говорила старушка, грозя ему пальцем. — Ты опять принялся за свое... Я тебе дам!..

Но у Матроски совесть была чиста, а поэтому он спокойно лежал, растянувшись на балконе и полузакрыв глаза, в какой-то ленивой истоме прислушивался к нескончаемому птичьему пенью и щебетанью, раздававшемуся вокруг него по саду.

В летнюю пору балкон был его любимым местопребыванием. Здесь он то лежал как убитый, растянувшись во весь рост, то спал, свернувшись клубком, то сидел в клас-

сической позе, сгорбившись, поджав под себя лапы, и с необыкновенно глубокомысленным, философским видом по-сматривал на мир из-за перил балкона...

Я уже сказал, что Матроско был добрый, смирный, ласковый кот. Только не было у него миру с рыжим котом, жившим в скотной избе. Как только, бывало, сойдутся они где-нибудь в саду, за кустом или между гряд, так сейчас же оба и начнут реветь в один голос. Усядутся и злобно смотрят друг на друга, не сводя глаз, шерсть на них поднимется дыбом, хвосты распушатся, а зрачки глаз переливаются всеми цветами радуги. И шипят они, фыркают, воют и ревут так дико, так невыносимо, что я брал иногда прут и шел разгонять их...

А они были в состоянии целые часы сидеть таким образом, друг против друга, реветь и фыркать. Я не знаю причины этой ненависти, но знаю только, что недели не проходило без драки между Матроской и рыжим котом.

Впрочем, должно отдать справедливость Матроске: он не искал встреч со своим рыжим ненавистником, никогда не заходил в его владение — к скотной избе. А рыжий, напротив, лез к нему, забирался в сад и первый принимался реветь самым вызывающим образом. Вероятно, чувство рыцарского достоинства не позволяло Матроске уклоняться от боя. И вот — он усаживался почти нос к носу со своим неприятелем и начинал дико завывать... Если их не разгоняли вовремя, то в конце концов слышалось неистовое фырканье и шипенье: коты бросались друг на друга и царапались с яростью... После того, усталые, взволнованные, с расцарапанными мордами и с окровавленными ушами, расходились они в разные стороны — точь-в-точь как и люди, основательно «посчитавшиеся» между собой...

После одной из таких ожесточенных боевых схваток Матроско возвратился домой в самом жалком виде: у него была надорвана часть уха и оцарапан глаз. Но и рыжий кот после того долго не показывался в сад: вероятно, и тому досталось на орехи.

Через несколько времени заметили, что у Матроски заболел раненый глаз, стал подергиваться какою-то беловатой пленкой и, наконец, весь затянулся ею. Матроско окри-вел...

Когда на следующее лето я опять приехал к тетке в ее старый дом, у Матроски уже болел другой глаз — так же затягивался пленкой и затянулся совсем. Теперь глаза его представлялись двумя бесцветными, мутными кружками. Матроско наш ослеп... Свет навсегда потуск для него. Он уже не видал ни голубого неба, ни зеленых деревьев, ни птичек, ни мышей, ни рыжего кота, ни знакомой лежан-ки, где он грелся по зимам, ни своей барыни-старушки, ни плошки с едой. Мы жалели его...

И, действительно, грустно было смотреть на него, как он бродил по комнате, поминутно натыкаясь на мебель, ища двери и не находя ее. Иногда, после напрасных поисков, совершенно растерявшись и не зная куда идти, он садился среди комнаты, печально поникнув головой... Он сделался мрачен и уныл, все больше сидел дома, спал в тетушкиной полусумрачной комнате или по целым дням лежал на бал-коне. Он старался держаться в стороне, забивался под сту-лья, под кресла: ходившие обыкновенно пинали его, когда он попадался им на дороге. Он как будто понимал, что ме-шает людям, и поэтому старался как можно меньше ходить по комнатам. Матроско редко показывался в сад, всегда пробирался осторожно, неуверенно и не решался отходить далеко от дома,— особенно после того, как он однажды за-блудился...



Выпустили его как-то на двор. Покружился, покружился он по двору, растерялся и вместо того, чтобы идти к дому, побрел в поле за околицу, все дальше и дальше. Его нашли уже в соседней деревне, на гумне: он бродил между ворохами соломы и отчаянно мяукал. Деревенские мальчишки с удивлением увидали его и окружили всей гурьбой.

— Ребята! Кот-то никак слепой! — догадался кто-то из них, видя, что Матроско ходит, на все натываясь.

Мальчишки, желая положительно убедиться в его слепоте, подносили ему палец к глазам, тыкали ему в нос прутиком, махали перед ним пучком соломы... Тут Матроско еще пуще замаякал и не знал, куда ему деваться. В это время один мальчуган, когда-то бывавший в усадьбе, признал Матроску.

— Ребята! Ведь это кот-то барский! — вскричал он, сделав это открытие. — Право, барский!.. Отнесем-ка его в усадьбу! Барыня нам пряников даст...

— Ой ли? — усомнились его приятели.

— Верно, барский!.. Уж я знаю! Вишь какой мягкий да гладкий... — продолжал паренек, поглаживая кота.

— А что, в самом деле, — давай отнесем! — согласились товарищи.

Мальчуган, первый признавший кота, проворно подхватил его на руки и скорым шагом пошел по направлению к усадьбе. Остальные ребята, в числе шести человек, следовали за ним. От скорой ходьбы голова Матроски, бывшая на весу, покачивалась из стороны в сторону, и бедный кот время от времени продолжал мяукать. Вероятно, неизвестность его положения беспокоила и пугала Матроску. Он положительно не знал, где он, кто его несет и куда, и что ожидает его. Несут ли его домой, на балкон? Или ожидают его какие-нибудь новые неприятности? В самом деле, положение его было невеселое...

Уже подходя к усадьбе, эта процессия встретила двух дворовых ребятшек, посланных барыней на поиски за Матроской. Так как за кота им были обещаны пряники, то,

очевидно, столкновение с деревенскими мальчишками было неизбежно.

— Это — наш кот! Давайте его нам! — приступили дворовые.

— Мы нашли его у себя на гумне, мы и отнесем его барыне! — отвечали деревенские, уже мысленно сосавшие сладкие барские пряники.

— Нет! Мы отнесем... Подавай! — кричали дворовые, также мечтавшие о пряниках, и отважно заступили дорогу деревенским ребятишкам.

Распря из-за Матроски загорелась не на шутку.

Несший кота, недолго думая, бросил Матроску наземь и напал на дворовых мальчуганов; товарищи поддержали его. Произошла свалка, причем и на долю слепого Матроски досталось невзначай несколько пинков. Деревенские победили... Дворовые с воем бежали домой. Победители торжественной процессией вступили в усадьбу, рассуждая о том, что они задали «важную колошмятку» этим ревунам... Процессия чинно явилась в дом, и несший кота, ласково поглаживая его, передал его барыне. Старушка оделила мальчишек пряниками и отпустила с миром.

Идя по двору, они поддразнивали побежденных.

— А что, взяли?! Что, взяли?! На-кось!.. — кричали они, припрыгивая и показывая из кулака кончик пряника.

— У-у, кошатники! — огрызались дворовые, смотря на них исподлобья.

Вот с той-то поры Матроско и не отходил далеко от дома...

Он по чутью узнавал только тетушку и меня. По-прежнему он бывал доволен, когда его брали на руки, но мурлыкал он уже тише прежнего и вообще выглядел невеселым. Когда я теперь смотрел на его жалкую фигуру, мне невольно припоминалось, какой он был прежде славный, живой и игривый котик... И что теперь случилось с ним! Он был еще вовсе не стар, но несчастье, видно, и животного не красит и не молодит — так же, как и человека...

В конце того же лета мне совершенно невзначай пришлось быть свидетелем странной и страшной сцены. С первого взгляда в этой сцене, пожалуй, не было ничего особенно поразительного, тем более что действующими лицами здесь явились не люди, а только два кота, но смысл этой сцены был положительно ужасен. Я не мог тогда спокойно смотреть на нее, да и теперь еще не могу спокойно вспомнить о ней...

Возле самого дома рос тополь. Во время ветра его верхние ветви с шумом стучали по крыше и на старушек наводили уныние в темные осенние и зимние ночи...

Однажды вечером, проходя мимо этого тополя, я вдруг заметил в его темной листве какое-то движение, слышал какой-то смутный, легкий шорох — и остановился. В первую минуту мне подумалось: «Не белка ли забралась на тополь?» Белки нередко забегали в сад... Но лишь только я остановился, как с тополя на крышу дома прыгнул рыжий кот. Очевидно, он был испуган... нет! мало того — просто, казалось, какой-то панический ужас обуял его. Шерсть на загривке у него стояла дыбом, хвост распушился, глаза дико сверкали. Он весь как-то съежился, сгорбился... Он остановился на самом краю кровли и, дрожа, вполоборота, пристально смотрел на тополь, в одну точку, словно не мог глаз отвести от какого-то предмета... Что могло так напугать его? Кот в те минуты выглядел совершенно обезумевшим... Я уже знал, что этот толстый, откормленный рыжий кот был вовсе не трусливого десятка и не побежал бы от другого кота, будь тот хоть семи пядей во лбу, — сам, напротив, обратил бы его в бегство... От кого же он мог с таким страхом убегать на крышу? Какой такой страшный для него неприятель мог скрываться на тополе?

Я невольно посмотрел по направлению его взгляда и увидел, что следом за ним лез ощупью, цепляясь за ветвь тополя, слепой Матроско. Я удивился, да и теперь удив-

ляюсь тому, каким образом он, слепой, с таким жалким, беспомощным видом бродивший по комнате и поминутно на все натыкавшийся, мог забраться почти на самую вершину тополя... Матроско шел очень решительно, но, дойдя до тонкой части ветви, вдруг остановился. Ветвь стала гнуться под тяжестью его тела... Вероятно, он знал, помнил, что крыша от тополя недалеко: прежде, в своих странствованиях, он не раз взлезал на этот тополь и перебирался с него на крышу. Но теперь он не видал расстояние между им и крышей и поэтому не мог соразмерить силы и направление своего прыжка.

Матроско не ревел, не мяукал, стоял молча на качавшейся под ним ветви, с сосредоточенною яростью устремив свои мутные, ничего не видящие глаза в том направлении, где находился его заклятый враг, ослепивший его, лишивший его света, погрузивший его в беспросветную ночь и осудивший на жалкую, безрадостную жизнь — в вечных потемках... Холодом веяло от его неподвижной, словно оцепеневшей фигуры... Его угрожающая поза и кажущееся спокойствие были поистине ужасны... Он чувствовал близость врага и не мог достать до него.

Я не знаю, что ранее, до моего прихода, происходило между ними, но только Матроско казался на этот раз торжествующим победителем. Он, по-видимому, преследовал неприятеля, а рыжий толстомясый кот трепетал при виде своего ослепшего противника и озирался на него с тем тайным, непреодолимым ужасом, с каким мы смотрели бы на какое-нибудь страшное привидение, неожиданно представшее перед нами.

Если рыжий кот справлялся с Матроской, когда тот был зрячий, то теперь со слепым уж, конечно, он сладил бы легко. А между тем он теперь убегал от Матроски. Что же такое заставляло его бежать, если не панический страх!

Выразительные позы этих животных и вся обстановка их встречи невольно нагоняли ужас...

Эти животные только-только что не говорили... да, может быть, они и говорили по-своему, и говорили, может быть, друг другу ужасные вещи... Впрочем, теперь и самое молчание их было очень выразительно. До тех пор я никогда еще не подозревал, чтобы физиономии животных могли быть выразительны до такой степени...

Кончилось тем, что я подставил к тополю лестницу и полез за Матроской: ему самому, вероятно, было бы трудно спуститься вниз. Рыжий кот, увидав меня, разумеется, исчез моментально, юркнув в слуховое окошко... Я благополучно снял Матроску с тополя и унес его на балкон. На этот раз он не обращал ни малейшего внимания на мои ласки и, казалось, весь был погружен в свои думы. Вскоре он ушел от меня в столовую, забился в угол, под кресло, и неподвижно, не шевельнувшись, просидел там весь вечер... Бедняга!



# ДВА ВЫСТРЕЛА

(Из воспоминаний моего старого друга)



## I

**Т**ОГДА я был еще ребенком, ходил в рубашечке, но втайне страстно желал поскорее сделаться «большим». Я сильно обижался, когда меня называли «мальчишкой»; мне легче было бы вынести самую злую, ожесточенную брань, чем это полупрезрительное, полуснисходительное, гадкое прозвище.

Мне тогда минуло уже 8 лет. Я жил со своими родными в деревне — и, как все дети вообще, вырастающие в деревне, пользовался почти неограниченной свободой, рос на воле, и с тех уже ранних дней я научился ценить и любить волю. Нередко я сравнивал свое житье-бытье с положением детей нашего богатого соседа-помещика. Тех деток муштровал француз-крикун, больно была гувернантка-немка, сердитая старая дева. Бедные дети богатого барина ходили по ниточке, сдували с себя пылинки и из страха наказания бормотали свои французские приветствия. Что из них вышло — не знаю: мы давно уже разлучились.

Мои родные были далеко не богаты; небо избавило меня от французов-крикунов и от сердитых немок. Я рос дико, но здорово: по ниточке не ходил, пылинки с себя не сдувал, розга на мне не бывала — словом, рос без всяких страхов и стеснений; но на простой взгляд простых людей я не казался дурным мальчиком.

## II

Летом я поднимался с петухами. Восходившее солнце заставляло меня бегающим по саду или по полю — всего мокрого от утренней росы. И летний день мой также кончался с последним солнечным лучом. Лишь солнце западало за горизонт, я валился на свою постельку и до зари спал мерт-

вым сном. По ночам меня тогда еще ничто не тревожило: тогда не будили меня ни докучливые мухи, ни думы тяжелые, ни вопросы о хлебе насущном — назойливые вопросы о завтрашнем дне... А затем весь день опять я носился вперегонки с ветром. Ветер — тогда казалось мне — уставал скорее меня и, сложив свои легкие крылья, падал; падал — и ложился на покой где-то там, далеко, за болотами.

Набегавшись по полю вволю, я отдыхал в тени, в чаще березовой рощи, что росла на самом берегу нашей тихой неглубокой речки. По обрывистым берегам этой речки я неутомимо ползал и ловил в норах стрижей, но ловил напрасно. Напрасно я просовывал руку то в ту, то в другую нору — стрижи не попадались. Наползавшись вдоволь, самым основательным образом перемарав себе в песке руки и лицо, я принимался купаться, и купался иногда подолгу. Из теплой воды идти вон не хотелось. К тому же я знал, что, кроме птиц небесных, горячего солнца да прибрежных деревьев, за мной никто не подсматривает, никто меня не видит, никто не обидит меня.

Преспокойно бродил я по речке от берега к берегу, от одного куста ивы к другому. То опускался я на колени и на песчаном дне искал ракушинок дорогих — таких, какие описывались у меня в книжках. Но, кроме простых ракушинок со слизняками, не находил никаких других. Находил я зато блестящие камешки, а мне думалось иногда: не золото ли нашел я? Но оказывалось — не золото... То решетом ловил я мелкую рыбу и потом отпускал ее в воду. Жаль было. Рыбки задыхались у меня в решете; они так широко разевали ротик, так тяжело дышали, так, казалось мне, жалобно смотрели на меня... Рыбки, махнув хвостиком, в минуту исчезали в водной глубине.

Так шли мои летние дни. Мать, кажется, только для одной проформы при встрече замечала мне порой:

— Посидишь ли ты, Гаря, на месте хоть минуточку? Ведь тебя совсем дома не видно.



Она брала меня за голову, приглаживала мои светлые кудри, ласкала меня.

— Ах, как загорел-то! Совсем цыганенок!..— говорила мать.

А отец добавлял с угрозой:

— Ужо добегают молодец! Книга-то медведем покажется...

Я смеялся над такими пророчествами, целовал маму и неся, куда меня ноги несли, куда глаза мои глядели. А ноги тогда несли меня всюду и глаза глядели на все четыре стороны. Не было тогда у человека ни долга, ни обязанностей, не существовало для дерзкого никаких преград.

Но, вопреки отцовским угрозам, вопреки его ожиданиям, книга не казалась мне медведем. Летом, правда, я книг почти не брал в руки, но зато осенью, а особенно в длинные зимние вечера, я любил с ними беседовать...

### III

В саду и по полям, бывало, залягут высокие снежные сугробы. Ветер воет, шумит деревьями, гудит в трубе. Вот и темный вечер спускается над нашей Михайловкой, над нашими болотами, занесенными снегом, над голыми березами нашей рощи, над деревянной сельской церковью. Огни зажигаются на селе. В избах в светце трещит лучина, а у нас, в барском доме, в столовой горят две сальные свечи и освещают тесовый потолок, бревенчатые стены и длинные ряды моха. Пожилая женщина с бледным худощавым лицом, с кроткими голубыми глазами сидит у стола с шитьем или вязаньем. Высокий старик, с длинными седыми усами, в темном кафтане, опушенном мехом, читает или просматривает свои хозяйственные книги, все исписанные цифрами да

---

*Свечец* — подставка для лучины.

цифрами... Мальчуган с ясными голубыми глазенками, как-то странно часто обращающимися вверх и напоминающими глаза бледной худощавой женщины, поместился тут же у стола, взобрался на высокий табурет, скрестил на книге руки, в книгу уперся подбородком и погрузился в чтение старика Плутарха. Бледная пожилая женщина — моя мать. Седой усач — отец. Голубоглазый мальчуган — я сам... Все это теперь я вижу так ясно-ясно...

— Читать так долго по вечерам, при огне, не годится: как раз глаза испортишь,— говорит мне, бывало, мать.

— Ничего!..— бормочу я, вовсе не вслушиваясь в слова матери: передо мной проходят сильные, доблестные мужи, и я в те минуты, любуясь на них, дивлюсь им.

— Ничего! — передразнивая меня, ворчит отец и смотрит на меня, по своему обыкновению, сверх очков.

Темный вечер заглядывает в окна. Деревья в саду то шумят, то стоят тихо. В пустой зале через каждый час кукушка кукует. За амбарами караульный бьет в доску. Время для меня проносится скоро... Иногда, впрочем, я и засыпал над Плутархом. В таком случае являлась старая Протасьевна и разлучала меня с Плутархом, уводя или унося меня на руках в спальню. Но такие случаи со мной бывали редко...

Так умственно я вырастал на Плутархе. Я помню и теперь эту старую книгу с синеватыми листами, с старинной печатью, в толстом кожаном переплете... На Плутархе, говорят, много поднялось поколений. И я его зачитывался, и на меня он производил сильное впечатление. Под обаянием описаний многих славных жизней я видал себя — в мечтах — полководцем, вождем несметных ратей. В мечтах — я поднимал страшную войну против всех царей и полчищ их. В мечтах — передо мной лились потоки крови и от горо-

---

*Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк, автор «Сравнительных жизнеописаний», сочинения о выдающихся грехах и римлянах.

дов не оставалось камня на камне. На месте нашей мирной Михайловки и кругом ее мне представлялся пустырь, голая, печальная равнина, без деревьев, и везде бугры могильные... Я победил бы всех царей, я покорил бы все армии в мире, и все народы, уstraшенные войной, стали бы жить дружно, по-братски, под одной властью... Какой именно? — я тогда и сам не знал. «Лучше бы всего, конечно, — раздумывал я, — если бы мог снова на земле явиться Христос... Но Он не был бы царем! Ведь Он не хотел им быть... Он остался бы все тем же учителем, проповедником вечной, безграничной любви...» И моя война была бы последняя война — войн больше не было бы никогда... Отцы и матери не разлучались бы с любимыми сыновьями, жены — с мужьями, сестры — с братьями, отцы — с малыми детьми. Люди не шли бы в огонь, под ядра и пули и не терзали бы друг друга подобно диким зверям...

Такие или почти такие странные думы и мечты наведала на меня, глупого мальчика, старая книга в дождливые, сумеречные осенние дни и по длинным-длинным зимним вечерам. Я скрывал свои мечты и только отчасти делился ими с Ваней. Ваня, сын нашего кучера, был мне ровесником и другом моих детских игр. Он смотрел на вещи практичнее меня: когда я задумывал воевать, Ваня меня удерживал и представлял мне всякие резоны...

— Маменька узнает, забранится... — говорил мой рассудительный Санчо-Панчо.

Вообще Ваня оказывался трусливее меня. Да и понятно: я был барин, а он — крепостной. К тому же я читал уже Плутарха, а он лишь едва, под моим руководством, начинал отличать «в» от «б».

---

*Санчо-Панчо* — правильное Санчо-Панса, оруженосец Дон Кихота, героя одноименного романа Мигеля де Сервантеса, написанного в начале XVII в.

Зимою днем я также не сидел дома.

Надвинув шапку на уши и крепко перетянувшись ремнем, легко скользил я на лыжах по белой равнине — по полям, по болотным трясинам, по оврагам, занесенным снегом, проникал в рощи, и тут, в мертвом, безмолвном царстве белых деревьев, я бегал, носился, бывало, до того, что вспотею, распахну свой мерлушечий полушубок, растегну поддевку, а шапка слезет совсем набок. В таком растрепанном виде, разгоряченный прогулкой, являлся я домой и приводил в ужас свою старую няню.

— О господи! — восклицала она, всплескивая руками.— Да ты что это, сударь мой! Никак тебе умереть захотелось? Нонче ведь не лето...

Старуха усаживала меня перед топившейся печкой на скамейку, снимала с меня валенки, разувала меня, брала в руки к себе мои ноги и все ворчала:

— Замерз, поди?.. Э-эх, дитятко, дитятко!

Мои же ноги тогда, вероятно, были здоровее и теплее ее старческих ног, несмотря на то что я пришел с мороза, а няня почти постоянно сидела на теплой лежанке или у печки на сундуке.

Вечером я опять садился за книгу. Сказок я не любил: все они мне казались очень просты и однообразны, словно бы списаны были одна с другой. По началу каждой я мог угадать конец.

— Не сказать ли, батюшка, тебе сказочку? — предлагала, бывало, няня.

— Да нет ли у тебя, няня, какой-нибудь новой сказочки? Старые-то сказки у тебя все такие скучные,— замечал я.

---

*...легко скользил я на лыжах по белой равнине — по полям, по болотным трясинам, по оврагам, занесенным снегом.— Тогда мой друг жил в одной из северо-восточных губерний (примечание П. В. Засодимского).*

*Мерлушечий полушубок — сшитый из шкурок ягнят.*

— Как это скучные? — уже обиженным тоном возражала няня. — А о золотом яблочке! А о Жар-птице!

— Скучно!.. — бормотал я себе под нос.

— Не угодить стать нонче... — ворчала Протасьевна, усаживалась на свой сундук, брала свой шерстяной чулок и быстро принималась двигать деревянными спицами.

Ее губы надуты, рыжие брови ее нахмурены. Она сердится... Я тоже дуюсь, как мышь на крупу. Но размолвка у нас длится недолго. Я подхожу, припадаю к ней...

— Ой уж ты, баловник! — шепчет она, ласково треплет меня по плечу и целует.

Любил я зато возиться с арифметическими задачами. Чем задача была головоломнее, тем сильнее мне хотелось решить ее, дойти своим умом. Заучивать какие бы то ни было правила я терпеть не мог. Но как, каким способом я решал тогда задачи, мне теперь и не придумать, но помню, что большую часть из них решал верно. Забирался я, бывало, куда-нибудь в уголок и по целым часам просиживал там над аспидной доской, над какими-нибудь неподатливыми цифрами. Не раз моя мать передавала нашему старому священнику о моих арифметических подвигах, и старик каждый раз говорил: «Изрядно», гладил меня по голове и пророчил, что я буду умный. Так-то жилось мне.

## V

По летам приезжал из гимназии брат и гостил у нас в Михайловке все каникулы. Он был старше меня шестью годами, и не дал нам Бог с ним ладу. Он сам только что вышел еще из мальчишек, и потому ему хотелось поважничать надо мной. Всячески старался он дать мне почувствовать, что он уже большой, что я ему не пара, что я должен

---

*Аспидная доска* — пластина из черного сланца, на которой писали грифелем.

относиться к нему с почтением, а он уже может меня безвозбранно, безнаказанно поддразнивать и дурачить...

Года за два до тех происшествий, которые я скоро расскажу читателю, особенно неприятно он подшутил надо мной. Ах, не забыть мне этого! Брат сказал мне, что если какой-нибудь птичке насыпать на хвост соли, то она будто бы не улетит, с места не двинется. Для меня, шестилетнего мальчика, этот вздор имел всю прелесть новизны. Открытие было чрезвычайное... Не заманчиво ли взять прямо руками живую пичужку, потрогать ее, посмотреть на нее вблизи, запереть в клетку или отпустить на волю — как там вздумается! Ужасно хорошо!.. Вот и заходил я с солью в кармане. Несколько дней я не имел покоя — ни денно ни ночью. Несчетное число раз подкрадывался я вдоль забора к воробьям с горстью соли, несчетное число раз подползал я на брюхе к воронам, бродившим около амбара. Нет! Хитрости мои не удавались. Воробьи улетали с забора, рассаживались по деревьям и весело перечирикивались в густой листве. В их бестолковом чириканье мне слышалась насмешка над глупым барчонком, шляющимся с полным карманом соли. Вороны улетали и, сидя на крыше амбара, каркали на меня, широко разевая свои клювы... Мне казалось, они удивлялись тому, что за охота парню бродить по жару, высунув язык от усталости, ползать по траве и марать зеленью свои чистенькие панталоны. Измучился я, но насыпать соли на хвост не удалось ни одной пичужке. Наконец уж мама, узнав все дело, смеясь и утешая объяснила мне, что ведь птичка ждать не станет, пока я сберусь насыпать ей соли на хвост; а если бы я мог насыпать ей на хвост соли, так, значит, мог бы и схватить ее... Тогда я очень рассердился на брата и при всех называл его обманщиком и вралем...

Особенно же брат допекал меня охотой. Он ловко стрелял, по летам много набивал дичи, чем немало кичился, смеялся надо мной, над моим бессилием, над неумелостью и дразнил меня своим ружьем.

Я уже много раз просил у него ружье.

— Куда тебе! Убьешься еще, пожалуй! — говорил он свысока, презрительно усмехаясь. — Где тебе! И курок-то тебе не спустить...

Брат смеялся. Но мне было не до смеха. Не понимаю, что ему было за удовольствие раздражать и мучить меня!

И вот, после одной особенно горячей перепалки, когда на мою долю досталось слишком много горьких насмешек, я замыслил при первом удобном случае захватить ружье и убить ворону, галку, воробья — кто, одним словом, попадетсЯ. Я принесу брату убитую птицу и брошу ему в лицо: «Вот тебе и не умею стрелять! Вот тебе! На! Бери!» Так мысленно я заранее торжествовал над братом.

Наступал летний вечер, ясный и тихий. Безоблачные небеса синели над нашей Михайловкой, над всей нашей мирной весью. Ветерок чуть дышал... Я лежал за садом в траве и из ствола старого жесткого дидля делал трубочку: думал ею позабавиться в тот вечер. Я так погрузился в свою работу, что не видал подбежавшего ко мне Ваню, не слышал даже его топота по мягкой траве.

— Барин! Две утки на пруд прилетели! — проговорил он запыхавшись и повалился возле меня наземь.

Я опустил нож и мгновение смотрел молча на Ваню.

— Неужто? И сели? — спросил я шепотом, хотя вблизи нас, кроме куста плакучей ивы да старой, полузасохшей березы, никого не было.

— Сели! — поддакнул Ваня. — Да какие, барин, большие! Страсть!.. Вот такие будут!.. Да куда те, больше!

Ваня с азартом размахнул руками чуть не на полсажени.

— Пстой! Покарауль их!.. Я сейчас...

Брошен нож, позабыт дидель и все свистульки в мире. Я опрометью пустился бежать к дому и прямо в комнату брата: я знал, что после чая он уехал с отцом в поле.

---

*...над всей нашей мирной весью. — ...над всем нашим мирным селом.*

Я вскочил на кушетку, сдернул со стены ружье и едва не уронил его — таким тяжелым сразу показалось оно мне. Я выхватил шомпол, опустил его в ствол, шомпол отскочил от войлочного пыжа. Ружье, на мое счастье, оказалось заряженным. В патронташе я нашел коробочку пистонов и, дрожащей рукой надев один из них, осторожно спустил курок. Все это делалось лихорадочно, торопливо...

Итак, пришел час отомстить брату за его злые насмешки.

Чтобы не натолкнуться на кого-нибудь в комнатах с ружьем в руках, я выскочил чрез окно в сад и пустился бежать. Мне все казалось, что из-за деревьев на меня выскочит или старая Протасьевна, или наш лакей Дмитрий, или вообще кто-нибудь из домашних... Я стремглав перелетел через садовый вал, словно за мной гнались по пятам, и на всех рысях направился к церкви. За церковью, за небольшим возвышением, в полуверсте от усадьбы, в ложбине лежал тот пруд, на который прилетели большие утки. Ваня поджидал меня на дороге.

— Ну, что? — мог я только вымолвить от волнения.

Дрожь тревоги и нетерпенья все сильнее и сильнее охватывала меня по мере того, как я приближался к своей заветной цели.

— Тут!.. У берега... Не спугните...— прошептал Ваня.— А я домой... меня мамка гаркала...

Ваня улепетнул в Михайловку, а я наклонился и пополз в густой и высокой траве. Я сбросил шапку, чтобы не мешала, и тихонько, притая дыхание, полз сажень тридцать... Наконец близко и пруд. Я начал уже ясно различать прибрежные ивовые и ольховые кусты. Я надеялся скоро открыть и уток: мои глаза в то далекое время были проницательны и быстры, как у белки, иголку бы в траве отыскал, не только что утку... Я остановился и стал прислушиваться.

Все было тихо кругом. На голубой поверхности чистого пруда, как в большом овальном зеркале с зеленой рамой,



невозмутимо-спокойно отражались легкие белые облака и синева далеких, высоких небес. В том же зеркале отражались и густая, сочная темно-зеленая осока, склонившаяся и словно замершая над водой, и кусты ив и ольхи, и западная сторона неба, подернутая нежно-розовым отсветом вечерней зари... Я напряженно прислушивался. Ветерок на ту пору не дул. Листья прибрежных кустов не шевелились... За осокой, под самой крутью берега, вдруг послышался легкий плеск. Я пуще насторожил ухо. Рука моя крепче ухватилась за ружье. Но как сильно забилось мое ребяческое сердце, когда до меня донеслось едва слышимое утиное кряканье. Птицы тут — у меня под руками! Я делаю еще шага два-три... Их пара... селезень и утка. Самка наклонила набок голову и точно прислушивалась... Неужели они заметили меня? В ту ж минуту я поперхнулся, глухо кашлянул... Утки почти разом поднялись. Селезень взлетел выше... Я тоже вскочил, приложился и, не чуя земли под собой, щурясь и дрожа, прицелился в селезня и спустил курок...

Сквозь сероватый дым, на мгновенье разостлавшийся по голубому небу, я видел, как селезень, словно опущенный камень, повалился на землю. Ружье немного отдало, но боли физической я не чувствовал; зато мое нравственное состояние в те секунды было невыразимо странно. Я был оглушен треском, ошеломлен, и, опустив в изнеможении к ноге еще дымившееся ружье, я стоял словно во сне, точно пригвожденный, и как бы сквозь туман все смотрел на то место, где упала убитая птица. Мой слух в те минуты был до того раздражен, был так чуток, что мне казалось, я слышал, как селезень упал, как тяжело стукнулся он о сухую землю. А упал он от меня сажень за двадцать с лишком, по другую сторону пруда... Утка давно уже скрылась из вида. Я, наконец, тронулся с места и пошел туда, где ожидал найти мертвую птицу.

Тихо обходил я пруд. Я волочил за собой ружье, волочил и мои отяжелелые ноги... Ну, вот!.. Вот и селезень у моих ног. Я близко наклонился к нему. Он лежал на боку,

уткнувшись в траву окровавленным клювом и смотря прямо на меня своими широко раскрытыми глазами. Одна лапка подогнулась и слабо вздрагивала... Я приложил руку к селезню: тело было еще тепло.

Мне вдруг стало страшно от неподвижного взгляда умиравшей птицы. Я отшатнулся... Солнце на ту пору уже закатилось. Синее небо, за минуту светлое, мне показалось теперь каким-то сумрачным. Все вокруг меня после выстрела словно вдруг потемнело... Вечерние тени сгущались. В воздухе пахло гарью и серой. Мне чудилось, что пахнет свежей кровью. Мне чудилось, что кровь видна и на каплях росы, по траве и по цветам. Я снова наклонился к селезню. Он был уже мертв... Я взял его и чувствовал, как дрожь пробежала по моему телу, и мне стало очень неприятно, очень досадно, тяжело... Я чувствовал, как что-то сдавливало мне горло, и слезы набегали на глаза...

«За что? За что убил я эту бедную птицу? — закопошилось у меня в голове. — Он жил... у него был товарищ. Товарищ по нем тосковать будет. У него, быть может, есть дети... Бедные утята! Бедный селезень!» Я злился на брата, на самого себя, на Ваню, злился на все. «Неужели и большие охотники так же, как я, жалеют птицу и боятся ее молящих взглядов? — спрашивал я самого себя. — Вероятно, нет! Я еще маленький, поэтому я дрожу и плачу... Я, значит, еще мальчишка... я птицу жалею!» Я слышал, что иные охотники, найдя недобитую птицу, сами зубами же раскусывают ей голову или просто свертывают шею. Тогда я решил, что в охотники я вовсе еще не гожусь... Тихо, словно нехотя, брел я домой с ружьем и с убитым селезнем в руках. Я очень закручинился. Вечер был испорчен выстрелом. Меня уже не радовало ожидание похвалы, изумление брата, аханье и оханье старой Протасьевны при рассказе о моих подвигах. Все эти картины не манили, не заставляли меня ускорять шаг... Я чувствовал себя великим злодеем и глупейшим из глупцов... Сколько раз мама говорила мне:

— Грешно лишать жизни какую бы то ни было тварь... Очень дурно делают люди, так или иначе убивающие друг друга... Не мы дали жизнь, не нам ее и брать...

И тут, в виду убитой птицы, я дал себе слово никогда больше не братья за ружье. Пусть смеются надо мной сколько хотят, а убивать безвинного я все-таки не стану и не стану!

## VI

То, что ожидало меня дома, не вполне походило на то, что я нарисовал в своем воображении. Старуха Протасьевна, правда, охала и ахала, но брат не на шутку рассердился на самовольный захват его ружья и пожаловался на меня отцу.

— Ты, брат, смотри у меня! — сурово проговорил отец, погрозив мне пальцем.

Не страшна была для меня эта всегдашняя угроза, страшно было живое, яркое воспоминание о том неприятном, болезненном ощущении, что было испытано мною на берегу церковного пруда в ясный, благодатный летний вечер над трупом селезня... С тех пор я стал сторониться от оружия, и только чрезвычайный случай заставил меня снова взяться за него.

## VII

«Борей на осень хмурил брови...»

Сентябрьский денек выпал сумрачный, пасмурный и туманный. Такие дни в нашем краю бывают нередко в начале осени.

---

«Борей на осень хмурил брови...» — слегка измененная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Осень во время осады Очакова» (в оригинале — «Борей на осень хмурит брови...»).

Побродив по лесу, полакомившись последними оставшимися ягодами малины и достаточно утомившись, вышел я на прогалину. Тут, там и сям торчали рогатые груды обожженных, выкорченных пней. Тут же, почти на середине луговинки, стоял стог старого прошлогоднего сена. Тут, в тени деревьев, на самой окраине прогалинки, находилось и мое любимое место отдыха во время моих частых странствований по лесу. Тут я и теперь прилег на землю, опустил голову на кочку и принялся следить за серыми облаками, низко проносившимися над лесом. Я любил всматриваться в причудливые образы облаков, то белых, как пар, то темных, как дым, то розовых и красноватых, когда солнечные лучи озаряли их снизу румяным светом. Там, в вышине, представлялись мне то горы, то высокие башни и целые города в воздухе, города в развалинах, нечто вроде Помпеи; то чудились мне как будто стада каких-то чудовищных баранов, с минуты на минуту сливавшихся в неясные очертания; то рисовались мне какие-то странные узоры. Плавающие, багровые облака перед закатом солнца представлялись мне заревом и дымом великого небесного пожара... Так лежал я и смотрел задумчиво вверх...

Вдруг, откуда ни возьмись, ястреб... Плавно и мерно и словно что-то высматривая, описывал он над прогалиной круги, спускаясь с каждым кругом все ниже и ниже. Притая дыхание, я лежу в траве, зорко наблюдая за хищником.

«Не к добру,— подумал я,— он смотрит на землю так пристально».

В лесу водворяется мертвая тишина, птичье пение и перечерикивание разом смолкают. Чуют, видно, пичужки что-то недоброе... Ястреб поднимается выше и затем, как стрела, падает насупротив меня в кусты; через минуту он поднимается уже с добычей и усаживается на стог. Своими крепкими когтями он щиплет-рвет еще живую птичку...

---

*Помпеи* — город в Италии, у подножия вулкана Везувий.

Пух и перья разлетаются по сторонам. Рыжие перья у ястреба встали на затылке дыбом, взъерошились. Он задушил птичку, но не ест ее, роняет наземь. Глаза его сверкают диким, кровожадным блеском... У-у! Каким злым, свирепым показался он мне в те минуты. Я возненавидел этого убийцу — мучителя бедных маленьких птичек, возненавидел всею своею детской душой.

«Вот если бы теперь было под рукой ружье!.. Этого стоило бы убить... не жалко... Ах, как бы я его...» — думал я... подумал и вскочил.

Сказано — сделано.

Я мигом сбегал домой. Мне опять удалось благополучнейшим образом захватить братнино ружье. Меня нимало не озабочивала мысль о том, что домашние могут проведать о моих похождениях, что отец опять мне может погрозить. Через час я был уже снова в лесу, на знакомой прогалине, перед стогом прошлогоднего потемневшего сена. У стога я нашел в траве исципанную, исклеванную пеночку. Но ястреба уже не было тут... Я знал, что он часто показывается над моей прогалиной, и догадывался, что у него около того места должно быть гнездо... Я решился дожидаться ястреба, хотя бы и пришлось для того просидеть до полуночи в лесу, промокнуть от тумана, продрогнуть от ночного холода... Я подкараулю и изведу злую птицу. Это решено.

Я прилег за деревья и вооружился всем моим терпением...

Сердито и глухо шумел холодный осенний ветер ветвями голых кустов и деревьев. Жалобно скрипели старые сухие березы. Молодняк низко нагибался от ветра. Желтые, нежно-палевые, розовые и красные листья слетали с деревьев. Они носились, кружились вокруг меня в сыром, туманном воздухе и, покружившись, словно нехотя, падали на мокрую увядшую траву. Я сидел будто в каком-то заколдованном царстве туманов. Кусты и деревья, темные ели и

---

*Молодняк — молодой лес.*

сосны сквозь белесоватую дымку казались мне какими-то неясными тенями. Сероватые сумерки между тем заметно сгущались над землей. Между дерев в лесу становилось уже темно.

Облака заволокли все небо из края в край. Принялся накрапывать дождь... Ястреб, как назло, не показывался... Наконец-то!

На этот раз, сделав в воздухе два-три круга, ястреб прямо опустился на стог и спокойно уселся, обратившись ко мне своим крючковатым клювом... О, глаза! Ехидные глаза... Но не могли они усмотреть меня в ту пору...

Осторожно приподнялся я, встал на одно колено, прислонился к стволу березы и прицелился. Сердце мое забилося учащеннее: я хотел непременно убить ястреба... А ястреб сидел не шевелясь. Его грудь была для меня открытой мишенью. Из-за тумана ястреб казался мне более, чем был в действительности. Целясь в него, я не чувствовал ни того волнения, ни той тревоги, как в первый раз.

Выстрел раздался. Грохот далеко прокатился по замолкшему лесу и сотнями отголосков замер в чаще... Ястреб повалился со стога и повис, зацепившись лапой за одну из валежин, которыми обыкновенно прикрывается верхушка стога... Встревоженное воронье подняло со сна страшное карканье. А я, бросив ружье, лез на стог за добычей. Я вскарабкался, сдернул ястреба... Душитель-злодей лежал у меня на руках и холодел... «Ага! Попался! Не станешь больше птичек клевать!» — со злою радостью думал я, глядя ястребу в затуманившиеся очи. Я трогал его крепкий клюв, его скрюченные когти, я гладил его жесткие крылья... не жаль мне было ястреба... «Но ведь он жил, хотел жить... Все-таки жаль его!..» — промелькнуло у меня в голове.

Что это за странное противоречие, пусть судит читатель. Но если бы меня тогда спросили, убил ли бы я опять ястреба или нет, то я не колеблясь сказал бы «да».



СКАЗКА



**В** НЕЗАПАМЯТНЫЕ времена на краю света белого было большое государство — Дураково царство. Царство было как царство.

Царь жил в большом каменном, изукрашенном дворце, а что он в том дворце делал, какие у него были занятия — про то народ не ведал. У входа во дворец в медных шапках воины стояли, рослые, грозные, и простой народ к царю не пускали.

Министры царские, вельможи и всякие знатные люди жили в малых дворцах, тоже изукрашенных, пили, ели, спали да с народа — на свое озорство — деньги вымогали.

Простой народ, обыкновенно, работал на них денно и ночью, чтобы жить им было вольготно, сам перебивался с квасу на хлеб, а когда не бывало ни квасу, ни хлеба, палец сосал и с голоду выл втихомолку.

Так в Дураковом царстве всякий свое дело правил.

Вельможам и всяким знатым людям жилось как нельзя лучше: их была кучка малая, а работал-то на них весь народ — сила несусветная. Иной скажет: что же мешало народу избавиться от этой тли? Помеха была — и крылась она в самом же народе...

Испокон веков народ приучали царя почитать за бога и ни в чем ему не перечить, что бы он ни вздумал, чего бы ни захотел. Министры да вельможи всем распоряжались, судили-рядили, для своей охраны из народа же воинов набирали, подати с народа тащили и сами законы выдумывали, чтобы лучше грабить народ и держать его впотьмах, но все это проделывали именем царским. Они знали, что народ уж так приучен, что царю ни в чем не перечит, что царь укажет, все сделает, хоть самому себе горло перегрызет,— ну, а на них-то, на знатных людей, народу вроде как бы «наплевать».



Дело происходило очень просто... Вздумают вельможи издать какой-нибудь новый закон, чтобы народ еще крепче поприжать, соберутся на совет вместе с министрами, напишут, наплетут, что им в голову взбредет, да с царевой подписью и предъявят народу. Они говорят: «Это подпись царская!» А кто ее знает, пес ее разберет.

— Значит, так царь хочет! — со вздохом говорит народ.

А вельможи-то молчат — и только лукаво друг дружке подмигивают.

Для указов придумали даже особенную форму, и по этой форме, как блины на сковородке пекутся, все указы писались от имени царя и за его подписью.

Скажем примерно: вельможам на пьянство денег не хватило. Надо, значит, народ пограбить, но надо это сделать не зря, а по закону. Вот и пишется указ: «Я, Чурбан, царь вседураковский, такой-сякой и пр. и пр... объявляю всем моим верным подданным, что я не ем, не пью, ночи не сплю, все о них забочусь, все думаю только о том, как бы им жилось лучше под моим царским скипетром. Что знатные люди, что простой народ для меня — все единственно, все равно близки и любезны моему сердцу. Ныне ради блага, крепости и славы государства, нашего Дуракова царства, положил я увеличить подати на самую малость и взыскивать с души по лишнему целковому». Следовала подпись...

Но выпускались не одни грабительские и боевые указы, бывали и милостивые указы — примерно, вроде того: «Я, Чурбан, царь и т. д. объявляю всем моим верным подданным великую радость, посланную нам не иначе как самим Богом. Жена моя вчера в ночь принесла дочь (либо сына, смотря по полу). Все радуйтесь и веселитесь и вместе с нами Богу молитесь хорошенько. А я по случаю такой необыкновенной радости на сей год подати уменьшаю и немедленно, неукоснительно повелеваю всенепременно скостить по гривне с души». И подпись.

---

*Скипетр* — царский жезл, символ высшей власти.

Иногда, чтобы потешить и побаловать народ, когда он становился задумчив, хмурился и впадал в угрюмость, вельможи с министрами придумывали фокус, называемый «реформой», и показывали его народу. Появлялся указ: «Я, Чурбан, царь и т. д. В непрестанных заботах о благе моих верных подданных я надумал для общего облегчения произвести реформы. До сего дня чиновники мои под присягой переливали из пустого в порожнее, но теперь уже, ей-богу, этого больше не будет: они станут теперь переливать из порожнего в пустое, что будет служить залогом дальнейшего преуспевания на том же пути. До сведения моего дошло, что будто бы также случалось, что били людей простого звания прямо в лоб: с сего дня все это прекратится, ручаюсь в том своим царским словом,— бить будут по загривку».

Конечно, и после такого указа бывало, что чиновники сбивались и начинали по-прежнему переливать из пустого в порожнее, а не из порожнего в пустое, как следовало бы по закону; случалось также, что людей простого звания били не по загривку, а в лоб (бывало, что одновременно попадало и по тому и по другому месту), но министры утешали народ тем, что такие отклонения от реформы происходили единственно по «недосмотру».

Надо сказать, что государи Дуракова государства были все из одной породы и происходили из знаменитейшей и древнейшей фамилии, как уверяли вельможи и некоторые ученые той страны. Родоначальником этой фамилии и основателем до тех пор благополучно царствовавшей династии был Чурбан I, чуть ли не современник столь же знаменитого препрославленного царя Гороха. После того прошли многие сотни лет, а на престоле Дуракова царства Чурбаны не переходились. Знать, ко двору пришлось.

В то время, о каком сказка сказывается, сидел на престоле Чурбан XXII. Народ его не знал: так же, как и его предков, вблизи никогда его не видал, а на портретах царь выходил истинно как картинка.

Он только в два года раз показывался на улицах, да и то в полузакрытой колеснице.

В таких чрезвычайных случаях по обе стороны дороги становились воины с копьями и мечами наголо — для того, чтобы кто-нибудь, грехом, не проскочил к колеснице и не заглянул в нее. Городские зеваки при проезде царя толпами стояли позади воинов, снимали шапки, кланялись, иные при этом еще ревели и лаяли по-собачьи, а царь сидел в колеснице со своим первым вельможей и кивал головой — или, может быть, просто от тряски голова его покачивалась из стороны в сторону, — разобрать было трудно. Люди из-за копий и дреколий воинов могли только разглядеть, что на шапке его какие-то перья понатыканы, одежда вся раззолочена, на плечах, на груди для чего-то висюльки болтаются, блестят, как жар горят.

При Чурбане XXII на Дураково царство пошли напасть за напастью.

Началось с того, что министры белены объелись, а вельможи и все люди знатные стали с жиру беситься и пуще прежнего пустились озорничать.

Они сказали:

— Не хотим больше вина пить, хотим крови человеческой! Крови! Крови нам подавай — свежей, тепленькой!

Ну, вельможи захотели, значит, и делу конец. Собрались на совет нечестивые, написали указ и через день на всех углах прибили его.

А в указе том значилось: «Я, Чурбан XXII, царь дураковский, такой-сякой и проч., и проч., всем объявляю: в неусыпных заботах о моих верных подданных признал я за благо в течение 90 дней и ночей резать людей из простого народа — всех кого ни попало, мужчин и женщин, старых и малых — того ради, что для славы и могущества моей державы много людской крови понадобилось, а посему...» и т. д.

---

*Дреколье — дубины, колья.*

И поехали по всему государству царские бардадымы с толпами воинов, вооруженных с ног и до самых зубов. Рубили, резали направо и налево, встречного и поперечного, кто под руку попадет, особенно же норовили резать людей здоровых и молодых, в ком было крови больше. Целые бочки свежей крови отсылались в престольный город. Министры, вельможи и все знатные люди пили, пили, напились крови допьяна и совсем ошалели.

И кричат, пьяные:

— Не хотим мы больше деревянными шарами играть, хотим — вместо шаров — детские головы катать!

Опять последовал указ, чтобы для спокойствия, безопасности и могущества державы всем детям обоего пола до семилетнего возраста рубить головы... Целыми телегами повезли в царев город отрубленные детские головы, и пьяные вельможи забавлялись ими.

Горевал, изнывал народ, плакал кровавыми слезами, да и слезы те все уже выплакал, но терпел. Только самые отчаянные головы роптали втихомолку... Ведь указ-то царский: значит, сам царь так хочет, — а царь все равно что бог. Значит, слезами хоть захлебывайся, а молчи!..

Наконец, знатные люди с негодованием заговорили:

— Уж очень нам обидно и для нас унизительно, что люди из простого народа так же, как мы, на двух ногах ходят, голову вверх задирают, на небо тоже глядят и по-человечески промеж себя говорят... Не можем мы дальше сносить такого себе поругания!

И опять за царской подписью последовал указ о том, что ввиду высших соображений, а также для порядка и по случаю другого прочего повелевается всем людям простого звания отныне ходить на четвереньках, голову вверх не задиравать, на красное солнышко не взглядывать и человеческую речь в житейском обиходе не употреблять, но по мере надобности лишь мычать, да и то с осторожностью, чтобы

---

*Бардадым* — здоровенный верзила; здесь: пристав, надзиратель, следящий за исполнением царских указов.

вельмож и знатных людей не беспокоить; в случае же ослушания будут приняты для обуздания надлежащие меры, как то: урезывание языка, выкалывание глаз, колесование, четвертование, морение голодом и зарывание в землю живьем.

Народу стало совсем невтерпех.

— Что ж это будет! — заговорили в народе. — Не могли слова молвить, на красное солнышко не погляди, на четвереньках ползай, как пес...

Люди более смелые предложили идти, добраться до царя, посмотреть на него вблизи хоть раз в жизни и спросить: для чего он такие указы мерзопакостные выпускает?

И пошел народ скопом на престольный город — и прямо на царский дворец. Испугалась царская челядь. Министры, вельможи, все знатные люди — попрятались в щели. Народ вошел во дворец и толпой ввалил прямо в тронную залу.

Смотрит: царь на троне сидит, в порфире, в короне, в одной руке — держава, в другой — скипетр. Поклонились ему раз, поклонились два и три. Царь сидит как истукан, не шелохнется. Тогда один из толпы осмелел, немного повыдвинулся вперед и сказал:

— Царь-государь! Вот пришли мы к тебе со своей бедой... Тошно нам жить пришлось! Ослобони нас от твоих бардадымов...

Царь сидит ни гу-гу, пальчиком не шевельнет.

— Царь-государь! — заговорил другой из толпы. — Ослобони, смилостивись, слово вымолви!..

Молчит царь — ни ответа ни привета.

— Что за оказия! — шепотом кто-то сказал в толпе. — Осерчал он на нас, что ли? Говорить с нами не хочет? Или, может быть, глуховат?.. Крикнем погромче!

И из сильных, мощных грудей вырвался крик, громом и гулом наполнивший тронную залу:

---

*Порфира* — пурпурная мантия, подбитая горностаем, символ власти монарха.

*Держава* — золотой шар с крестом наверху, символ монаршей власти.

— Уйми своих бардадымов! Моченьки нашей нет... отзовись! К тебе речь держим!..

Молчит, не шелохнется, словно и в самом деле оглох.

— Что ж это? — сказал какой-то смельчак. — До ночи нам здесь толчись, что ли? Подойдем поближе!..

И подошли поближе... Да, точно — царь Чурбан... все как на портрете: брови, усы, борода клином, лицо белое, губы сжаты, глаза все в одну точку смотрят, ни на кого не глядя, одежда раззолочена, на груди висюльки болтаются...

Какой-то юноша взошел по ступеням трона, положил свою заскорузлую, мозолистую руку царю на плечо, на мягкий бархат его порфиры, и молвил:

— Эй, царь-государь! Послушай-ка!..

Слегка он потрянул царя за плечо, и повалился царь, покатился с трона, только голова по ступенькам застучала. Корона слетела в одну сторону, скипетр и держава укатились в другую, порфира — с плеч долой...

И случилось тут диво дивное, чудо чудное...

У подножия трона лежал не человек, а простой деревянный чурбан, сделанный довольно грубо наподобие человека, с раскрашенным лицом и одетый в нарядное платье...

Тут народ сразу понял, для чего министрам, вельможам и всем знатым людям был нужен этот раскрашенный, раззолоченный болван. Все они прятались за него, его именем свои злодеяния прикрывали.

Добр был народ в Дураковом царстве, но и он не мог всего забыть и простить. Потянул Варвару на расправу... Главных кровопийц — министров и вельмож — посадили на кол, а всю прочую царскую сволочь на базарной площади три дня драли, а на третий день всех прогнали из виду вон.

После того у всякого отбило охоту нового Чурбана заводить. Народ сам стал своими делами править и зажил на славу.

Было бы хорошо, если бы и мы зажили так же.

---

*Потянул Варвару на расправу.* — Привлек виновных к ответу.



# АРФА ЗВУЧАЛА

(Старинная легенда)



**З**НАМЕНИТЫЙ мастер создал эту арфу. Он добыл для арфы самые лучшие струны в мире, самые звучные, самые чуткие и отзывчивые. Для отделки ее он достал прекрасное блестящее черное дерево и украсил его только крупными перламутровыми звездами. Прекрасна, проста и изящна была эта арфа. Творец ее был великий артист — старик высокого роста, могучий, с величавою осанкой. Густые седые волосы как серебристым сияньем окружали его большой, открытый лоб. Старик уже давно задумал создать такую арфу, чтобы все — народы и цари — заслушались ее.

Он долго трудился над нею. Наконец наступил тот час, когда арфа явилась на свет. Всю последнюю ночь, глаз не смыкая, работал над нею старик...

— Кончил! — со вздохом проговорил он, поднимаясь с места.

В растворенное окно уже брезжил рассвет, и до тех пор красный огонь ночника казался на сером фоне комнаты желтым мигающим пятном. С любовью и с тихою грустью старик смотрел на арфу, смотрел долго-долго, потом бережно взял ее и подошел с нею к окну. В ту минуту свежий утренний ветерок, с проблеском рассвета ворвавшись в комнату, задул едва мигавшее пламя ночника... Слегка опершись арфой на подоконник, старик посмотрел на божий мир, широко и далеко расстилавшийся перед ним.

Утро занималось над землею. Светлая полоска горела на востоке. Но земля еще спала, вся погруженная в неясные синеватые тени; спал город, спали деревни, поля, леса, даже, казалось, спала река и, словно спросонок, тихо плескалась в своих берегах. Полоска на востоке разгоралась все ярче и ярче; голубое небо уже светлело над землею. А на земле все было еще тихо...

— Иди в мир! — вслух промолвил старик, обращаясь к арфе, как к живому существу.— Я создал тебя на благо



людям, на радость и утешенье им. Пусть они, слушая тебя, делаются лучше, добрее; пусть становится светлее у них на душе! Послужи им, сделай их счастливыми!

По-прежнему все было тихо и в небесах и на земле. Словно совершалась какая-то тайна... Только листья на деревьях слегка дрогнули и зашелестели под дуновеньем предутреннего, перелетного ветерка. Старик легко провел пальцами по струнам — и арфа ожила. Первый звук, трепетно сорвавшийся с ее струн, походил на легкий вздох. Тихо, чуть слышно пронесся он над землей... Откинув волосы, старец вдохновенно посмотрел на сиявшие небеса и тихо, как бы про себя, заиграл на арфе прекрасный, радостный гимн, такой же светлый и ясный, как то ясное летнее утро, что загоралось над землею.

Солнце блеснуло на горизонте и золотисто-розовым светом обдало небо и землю. Арфа звучала все громче и громче. Теперь ее звуки уже разливались могучей волной; они словно неслись на встречу к вечному светилу, в огне, в багрянце, в лучезарном блеске всходившему над миром. Победные, торжествующие звуки свободно разносились в воздухе, прославляя солнце, свет и жизнь...

Замерли дивные звуки... Солнце взошло. Земля пробуждалась, листья на деревьях слышнее зашелестели, цветы поднимали свои за ночь поникшие головки, трещали насекомые и птички пели — стозвучная музыка неслась ото всюду: с полей, с лугов, из зеленой лесной тени... То жизнь заговорила, и не слышал в то утро ее говора только тот, кто спал в темной могиле вечным, непробудным сном. Все живое, казалось, радовалось, ликовало, празднуя появление на свет чудесной арфы... Старик, стоявший у своего высокого открытого окна, был совершенно доволен делом рук своих. Со слезами на глазах посмотрел он на арфу, приблизил ее к себе и — счастливый, взволнованный — нежно прильнул устами к ее струнам. В порыве восторга он целовал арфу...

— Ты прекрасна, моя арфа! — шептал он с любовью, склоняясь над нею. — Но... ты слишком чутка, восприим-

чива, ты слишком нежна, моя арфа! Я уже стар, мне недолго играть на тебе. А тебе, может статься, предстоит еще долгая жизнь... Хорошо, если ты попадешь в руки человека такого же чуткого, нежного сердцем, как ты сама! А если тебя захватят чьи-нибудь грубые лапы?.. Ведь тогда не будут беречь тебя, как я... Тогда станут не пальцами перебирать по твоим туго натянутым, отзывчивым струнам, будут, пожалуй, кулаком стучать по тебе... Кулаком!.. Когда самое легкое прикосновение заставляет тебя всю дрожать... Боюсь, что тебя не поймут и не оценят.

Старик задумчиво поник головой.

— Не знаю, что сделают из тебя люди и как они станут обращаться с тобой...— немного помолчав, со вздохом проговорил он.— Может быть, они искалечат тебя, разобьют, оборвут твои нежные струны... Но теперь ты все-таки иди к ним, послужи им... Ты должна идти!.. Я знаю, кому завещать тебя перед смертью. Я отдам тебя Ивону.

При жизни старика из арфы извлекались только высокие, торжественные звуки.

Умирая, старик дрожащими руками передал арфу своему любимцу, юноше Ивону.

— Играй на ней все хорошее, все, что хочешь...— прошептал он, с усилием взглядывая своими угасавшими глазами на румяное юношеское лицо, склонившееся над его изголовьем.— Только не извлекай из нее фальшивых нот... Эти ноты режут слух... И не трещи на ней без толку! Пусть каждый добрый ее звук — грустный или светлый — будет внятен людям и вызовет отголосок в чьей-нибудь душе: в душе ли блудного или добродетельного сына — все равно... Для этой арфы — нет отечества, нет «чужих», нет «язычников». Весь мир — ее отечество, и все люди для нее — «свои»... Ивон! Исполнишь мой завет?

— Да! — промолвил юноша.

Старик с усилием приподнялся и, дрожащей костлявой рукой указывая на небо, прошептал:

— Помни!

В предсмертном бреду горячие уста его шептали с мольбой:

— Больше любви! Любви!..— И с этими словами умер старик.

## II

Ивон полюбил арфу, хранил ее как благословение умирающего старца и с почетом держал ее в переднем углу своей комнатки, под старым, потемневшим распятием.

Ивон был красивый, здоровый юноша, с русыми шелковистыми кудрями, с цветущим, румяным лицом и с кроткими карими глазами. В этих глазах светилась добрая, сильная, любящая душа, готовая ради ближних на всякие жертвы. Каждая хорошая девушка желала бы сделаться женою Ивона, каждый почтенный старик и старушка желали бы назвать его своим сыном... Старик знал, кому передавал свою арфу. Если бы он прожил еще сто лет, то все-таки не нашел бы человека, более достойного обладать его чудесной арфой.

Ивон воспевал природу, ее вечные, неувядаемые прелести — и в звуках арфы как бы слышался шелест деревьев, сладостное дуновение ветерка, тихое журчанье источника и пенье птиц лесных... Но Ивон воспевал не одну природу. Он пел о любви, о братстве, о мире всего мира, о дружной, единомысленной работе «всех для всех», словом, пел о том, что навевают на всякую чуткую, благородную душу юношеские золотые мечты. Песнь его была поэтична. Много страсти, много святого увлечения было в его игре, фальшивых нот не прорывалось и не слышалось бестолковой трескотни.

Нежно, любовно звучала арфа в его руках. И стар и мал заслушивались ее. Даже жесткие, черствые люди, казалось, дотоле жившие на свете только для одного зла, на горе ближним и себе, приходили от нее в восторг и умиление... В потемки самой порочной души арфа вносила свет и ра-

дось, раздувая искру Божию, невидимо для людей тлевшую в них под пеплом всякой житейской мерзости.

Человек, заносивший руку на ближнего, заслышав арфу, вдруг останавливался и, поникнув головой, шел в сторону, словно преследуемый страшным вопросом: «Что хотел ты сделать с братом своим?» Скряга, заслышав звуки арфы, подзывал к себе нищего, за минуту перед тем прогнанного от его порога, и давал ему, не считая, целую пригоршню денег. Храбрый воин, в боях поседелый, приготавливавший оружие к битве и уже мысленно рубивший врагов своим тяжелым, острым мечом, заслышав арфу, с глубоким вздохом оставлял свой блестящий меч и щит. Мудрец, ученый, целые годы не отрывавшийся от заплесневелых книг, сам заплесневевший над ними и позабывший из-за них весь мир, при звуках арфы невольно поднимал голову; седые нахмуренные брови его расходились, разглаживались глубокие морщины — и этот ветхий старик, желтый, как пергамент, сухой, как египетская мумия, вдруг улыбался и начинал тихо напевать ту песенку, что в далекие годы детства над его колыбелью пела мать. Старик плакал... Страдалец в звуках арфы находил отраду, своей скорби — утolenье. Счастливый при звуках ее всем сердцем, всеми силами души своей желал сделать всех окружающих довольными и счастливыми...

Для Ивона наступила благодатная пора. Он любил и был любим. Вероника, подруга его детских лет, сделалась его невестой.

Однажды, в прелестный праздничный летний день, Ивон надел свой нарядный бархатный камзол, маленькую шапочку с пером, рассыпал по плечам свои шелковистые кудри и, взяв арфу, отправился с невестой за город. Вероника была дивно хороша в своем белом платье, с своими роскошными белокурыми волосами, свитыми на голове в виде короны; ее голубые глаза словно отражали в себе голубое сияющее небо, а белоснежные щеки ее алели таким нежным розовым румянцем, как будто на них почивал отсвет зари. Все

встречавшиеся с ними на улице невольно останавливались, любовались на жениха и невесту и долго смотрели им вслед. И они исчезали в золотистой дали, как светлое виденье, на миг слетавшее с неба в эти темные, узкие улицы.

Взявшись за руки, проходили они по тенистым рощам, по цветущим, сладко пахнущим лугам, наконец, вышли на берег реки и здесь, под кустом зеленеющей ивы, опустились на траву. Арфа покоилась между ними... Тихий час настал. Вероника сидела, обхватив колено руками, и, склонив слегка головку, задумчиво, мечтательно смотрела в даль. А Ивон, скинув шапочку, полулежа облокотился о землю рукой и любовался на узорчатый лист папоротника. Свесившиеся русые кудри бросали тень на его красивое лицо.

— Здесь растут крупные незабудки! — промолвил Ивон. — Я нарву их и сделаю из них венок. Этот венок из голубых цветочков будет чудо как хорош на белокурых волосах моей Вероники.

Девушка ничего не сказала, только улыбнулась и ласково посмотрела на него. Скоро венок был готов, и Ивон с поцелуем надел его на свою невесту.

Так светло и ясно, так мирно начавшийся день разразился к вечеру страшною грозой. Молодые люди не заметили, как подкрались черные тучи, заслонили солнце и быстро заволокли все небо. Гром гремел и яркие молнии прорезывали сгустившийся над землею мрак. Буря мигом налетела — с ревом и воем. При свете вспыхивавших молний видно было, как кусты ив низко стлались по земле, а высокие деревья трещали и гнулись от ветра, раскачивая из стороны в сторону свои темные вершины. Крупными каплями стал накрапывать дождь. Ивон схватил в одну руку арфу, в другую — невесту и хотел бежать в хижину пастуха, чтобы там переждать непогоду. Но в это самое мгновение страшная молния загорелась в облаках: казалось, разверзлись небесные выси и посылали на грешную землю целые потоки огня...

Ивон невольно оглянулся на реку и при свете горевшей молнии увидал там — посреди кипящих волн — утлую ры-

бачью лодку. Напрасно лодка старалась пробиться к берегу: бушующие волны крутили ее как щепку, всю обдавая белой пеной. Люди, бывшие в лодке, в отчаянии простирали руки к берегу, моля о помощи, но криков их не было слышно из-за громовых раскатов бури и из-за треска ломавшихся деревьев... Ивон в ту ж минуту оставил руку невесты, скинул с себя камзол, шапку, подал арфу Веронике и быстро сбежал с берега. Вероника страшно побледнела.

— Куда? — едва могла промолвить ему вслед испуганная девушка.

— Подожди! Я сейчас возвращусь! — крикнул он ей в ответ, бросаясь в воду.

Не успел он еще отплыть от берега, как лодка опрокинулась под напором налетевшего вихря и исчезла в темных волнах. Ивону удалось схватить в воде какую-то женщину — он вытащил ее на берег. Потом он спас рыбака, и другого... но когда поплыл за третьим, за последним, силы изменили ему — и он пропал в кипящей пучине...

Вероника при синеватом свете молний видела, как он боролся с волнами, как он с усилием в последний раз поднял над водой свое бледное лицо с прилипшими к нему мокрыми кудрями, видела, как потом на мгновение еще мелькнула из волн его белая рука — и все было кончено...

Люди, спасенные Ивоном, горячо благодарили небо за избавление от смерти.

### III

Буря по-прежнему ревела и гром грохотал. Но Вероника уже ничего не видала и не слыхала. Как стояла она, так, казалось, и застыла, замерла в своей выжидающей позе. Она не чувствовала, как дождь мочил ее и холодные капли его катились по ее лицу, как слезы текли по щекам, падали

---

*Камзол* — старинная мужская одежда наподобие жилета.

ей на руки, на грудь. Ее мокрые волосы растрепались от ветра, полураспустившийся венок из незабудок зеленой гирляндой лежал на ее голове; ее белое легкое платье промокло насквозь... Неподвижно стояла Вероника, как прекрасная статуя, крепко прижав арфу к груди, склонив голову и с невыразимым ужасом, напряженно смотря широко раскрытыми глазами туда, вниз, на реку — на то место, где посреди кипящих волн она видела в последний раз своего милого.

Рыбаки с трудом заставили ее сдвинуться с места и пойти с ними в хижину пастуха.

— Смотри, ты вся мокрая... занеможешь — умрешь! — говорили ей эти добрые люди.

— Умрешь! — прошептала она как эхо, и вдруг громко и дико расхохоталась. — Ах, да... умрешь!.. А не правда ли, очень мил этот веночек? — заговорила она, обращаясь к рыбакам. — Эти голубенькие цветы очень идут к его Веронике... не так ли?

Буйным, безумным огнем горели ее глаза, до той поры такие кроткие и спокойные.

Когда привели ее в хижину, она долго сидела понурившись, но вдруг сняла с себя распустившийся венок и стала внимательно рассматривать его. Она перебрала его весь по цветочку, и все время какая-то необыкновенно жалостливая улыбка блуждала по ее губам. Окружавшие, смотря на Веронику, тихо плакали...

— Ивон сказал: «Подожди... Я сейчас возвращусь!» — шептала девушка, прикладывая руку ко лбу и как бы стараясь что-то припомнить. — Да! Точно... Ивон сказал: «Я возвращусь!..» А его все нет...

Последние слова она проговорила тихо, но таким раздирающим тоном, что женщина, стоявшая около Вероники, не выдержала.

— Не жди, голубка! — сказала она, положив ей на плечо свою грубую, тяжелую руку. — Он уж не придет к тебе больше. Утонул твой милый!

Вероника вздрогнула, точно откуда-то холодом подуло на нее.

— А ты лучше одумайся! — промолвил старый рыбак, наклоняясь к ней. — Не сиди так... уж лучше плачь... плачь, дитятко! Легче будет...

Она схватила арфу и заиграла. В игре ее вылилось такое отчаяние и такое жгучее сердечное горе, что даже сама арфа дрогнула и зарыдала под ее лихорадочно дрожащими пальцами.

С той минуты, как Вероника увидала в последний раз над волнами белую руку Ивона, рассудок ее помутился навсегда...

Буря промчалась, мрак миновал, яркое солнце светило с лазури... А Ивон с бледным лицом лежал неподвижно на песчаном речном дне, между серыми камнями и разноцветными раковинами, и густые, цепкие водоросли, как зеленым саваном, обвивали его, перепутавшись с его русыми шелковистыми кудрями.

Вероника похудела, розовый румянец на щеках ее погас. Голубые глаза ее то загорались безумным весельем, то вдруг делались грустны и затуманивались слезами, а ее сухие, горячие губы шептали: «Воротись! Воротись, мой милый!..»

Родные присматривали за больной Вероникой. Но каждый раз, уловив удобную минуту, она бежала с арфой на берег реки, к тому месту, где пропал навеки ее милый. Словно какая-то неведомая сила влекла ее неотступно к этим берегам. В белом платье, с распущенными волосами и бледная как смерть, являлась она на берегу, как привидение, пугая мирных рыбаков своим безумным видом. Прижав арфу к груди, она подолгу стояла на береговом обрыве неподвижно, в выжидательной позе, смотря на реку своими обезумевшими очами.

То вдруг она начинала играть на арфе, и арфа под ее пальцами плакала и смеялась безумным смехом, надрывая душу тем, кто случайно слышал ее. При этих отчаянных звуках люди невольно содрогались и болели по чужому



горю. Глубокое сострадание будила арфа в их душе. Тем, кто слышал арфу, не вкусен в тот день казался обед и никакое веселье не веселило...

Наконец, родные стали строже присматривать за Вероникой и не пускали ее из дома. Арфу у нее отняли.

— Арфа расстраивает ее! — говорили родные.

Все жалели Ивона и его несчастную невесту. Люди долго грустили по его песням.

— Кто другой сплет нам такие песни, какие пел Ивон?! — говорили они с печалью. — И где, для кого заиграет его чудесная арфа?.. Да еще и заиграет ли она когда-нибудь?..

Но арфа заиграла...

#### IV

Только заиграла арфа на этот раз не в комнатке Ивона, не на улице и не на зеленом просторе полей и лугов: она заиграла в королевском дворце. Да!.. В той стране, как поется в старой песне,

Жил добрый славный государь,  
Счастлив любовью народной,  
Красою дочери гордись...

Дочь его, Бланка Прекрасная, была поистине красавицей — в лучшем значении слова. Высокая, стройная как тополь, с золотистыми волосами, с умным выразительным лицом, она внушила бы к себе восторг и обожанье всюду, где бы ни явилась — и на раззолоченном троне, и в дымной хижине какого-нибудь убогого угольщика. И душа ее была так же прекрасна, как тело...

Она узнала о чудесной арфе и пожелала обладать ею. Немедленно принесли к ней арфу. Арфа сразу понравилась Бланке. Родным Вероники дали за нее целые пригоршни

золота. И вот таким-то образом арфа зазвучала в королевских покоях.

Старый король крепко любил свою дочь и по вечерам, избавившись от министров и от всех государственных дел, приходил в комнату дочери. Бланка садилась на бархатную скамейку у его ног и тихо играла на арфе. Положив руку ей на плечо и свесив на грудь свою длинную седую бороду, король подолгу сидел задумчиво, прислушиваясь к ее пению и игре.

А Бланка Прекрасная своим чудным, мелодичным голосом пела о том, чтобы люди сильные в могуществе своем не угнетали слабых, чтобы люди счастливые посреди веселий не забывали о страдающих и болящих, чтобы богатые не притесняли бедных, судьи судили бы по совести, а воин только защищал бы свое отечество, а не разбойничал на больших дорогах... Король был человек добрый и поэтому с удовольствием слушал песни дочери.

Те же самые песни Бланка Прекрасная пела с аккомпанементом арфы и на торжественных придворных празднествах. Арфа в ее нежных руках звучала так прелестно, такие дивные, восхитительные мелодии слетали с ее отзывчивых струн, что даже самые сердитые вельможи переставали коситься друг на друга. Придворные дамы были в восторге.

— Что это за чудесная арфа! — говорили они между собой.

Арфа чувствовала себя очень хорошо, сознавая, что она делает благое дело. В эти дни она была в большом почете, все смотрели на нее с благоговением. Но скоро дела переменились... Для королевской дочери наступила пора выходить замуж. Женихом явился король соседнего государства. Пышно отпраздновали свадьбу, и Бланка с мужем и со своей неразлучной арфой, плача, покинула дворец и своего старого осиротевшего отца.

Король Гвидо был молод, виден, статен, но нравом был суров и жесток. Сердце его не умело прощать; не знал он

пощады. Однажды король заподозрил в недоброжелательстве к себе великое множество народа и уже готовил ужасную, кровавую расправу. Узнала о том Бланка Прекрасная, пришла к нему с арфой, села у ног его, как, бывало, сживала с отцом, и запела. Песнь ее молила о жалости, о сострадании... Арфа плакала и стонала, словно тысячи несчастных изливали в ее звуках свое горе и отчаяние. Король Гвидо нахмурился, вспыхнул и не дал кончить Бланке. Он вырвал у нее из рук арфу и с силой треснул ее об пол. Струны едва не лопнули и так жалобно звенели... Бледная, встала перед королем Бланка, грустно посмотрела на него и молча, с укором покачала головой.

— Эй, люди! — крикнул во гневе король Гвидо.

Со всех сторон сбежались придворные.

— Убрать с глаз долой эту отвратительную арфу! — кричал он в бешенстве, топая ногами. — Чтобы духу ее не было в моем дворце! Живо!..

И арфа моментально исчезла из королевских покоев.

## V

Придворные — люди смышленные. Они не бросили арфу куда попало. Нет!.. Они отнесли ее к одному известному музыканту по имени Фабрицио. Музыкант с радостью взял у них арфу и дал им за нее много денег.

Фабрицио был уже и ранее известен за хорошего музыканта, а теперь, завладев арфой, он стал знаменит. О нем уж иначе и не говорили, как «наш несравненный, очаровательный, наш гениальный Фабрицио, наш божественный маэстро». Каждый концерт его был для него новым торжеством, каждое появление его перед публикой вызывало такие громы рукоплесканий, что от них сотрясались колонны концертного зала. За каждый вечер он получал с благодарной публики по целому мешку червонцев.

Ему не стало проходу от поклонников и поклонниц, за ним толпой бегали по улицам. Мальчишки напевали мотивы его известных произведений. На каждом шагу продавались его портреты, и на них он был изображен, как живой: с большими темными глазами, с черными волосами, длинными и растрепанными, и с печатью вдохновенья на открытом челе. Женщины стали носить шляпы под названием «Фабрицио». По нем сходили с ума...

Фабрицио очень хорошо понимал, что знаменитостью своей, своим богатством, почестями, славой он обязан чудодейственной арфе. И он обращался с нею бережно, хранил и лелеял ее как зеницу ока. Но что же он играл на ней? Чем он увлекал публику и приводил ее в такой неистовый восторг?..

Он извлекал из арфы только одни нежные, безмятежные звуки. Он воспевал лазурь и сиянье небес, туманную золотистую даль и розы, вздохи и слезы влюбленного, тихую печаль разлуки и радости свиданья. Он не брал на арфе бурных аккордов, он не потрясал зрителей глубиной и силой чувства. В те дни одни сладостнейшие звуки лились со струн арфы... Фабрицио игрой своей ласкал и нежил слух. Он со своей арфой делал чудеса... «Он делал фокусы», как говорил один злой насмешник. То он свистал соловьем, то ворковал по-голубиному, то журчал, как тихоструйный ручеек, то в совершенстве передавал затаенный девический смех, шепот-ропот...

Ему подносили букеты великолепных цветов, его венчали венками. У всех на устах было имя «нашего знаменитого, гениального Фабрицио». Но арфа... бедная арфа скучала, не веселили ее эти шумные триумфы, этот гром рукоплесканий, эта масса букетов и венков, попадавших иной час и на ее долю. Арфа была недовольна. Она чувствовала себя неловко в руках этого ловкого артиста.

У Фабрицио были хорошие музыкальные способности, но в том была его беда, что он больше мечтал, чем работал. Романсы и вальсы ему давались легко; успех вскружил ему

голову, не дал ему поработать над собой — и Фабрицио не пошел далее вальсов и романсов. Одуревши от почестей и славы, он бросил свою невесту — бедную, но милую девушку, любившую его уже давно, когда он был еще простым музыкантом и добрым человеком. Он женился на богатой, знатной женщине. Своих прежних знакомых бедняков он также оставил и водил компанию с вельможами.

Фабрицио жил на славу и на славу пускал пыль в глаза и себе и другим; пожил он всласть, вволю.

Прошли года... Фабрицио уже давно овдовел, богатства его уплыли между пальцами, и слава рассеялась, как дым, как сновиденье. Фабрицио поседел, сгорбился; руки у него дрожали, и пальцы были уже не в силах летать по струнам. Фабрицио со своими вальсами и романсами вышел из моды. Фабрицио был забыт... Публика бегала за другими артистами, слушала с упоением других певцов и музыкантов. Теперь у нее были уже другие «гении», другие идолы ставила она на пьедесталы.

Однажды, когда у Фабрицио не хватило денег на хлеб насущный, он взял уже более не нужную ему арфу и отнес к одному богачу.

Этого богача звали Миной.

Знаменитый артист предложил знаменитому миллионеру купить у него арфу. Тряся головой и шамкая своими беззубыми челюстями, музыкант начал было рассказывать целую историю об арфе, об ее славном прошлом, о своих собственных триумфах...

— Да теперь-то деньги тебе нужны? — грубо перебил его богач.

— Да, да! Деньги... деньги! — шамкал Фабрицио.

— Ну, так бы и говорил толком! А то понес всякий вздор... — рассудительно заметил Мина.

Его интересовала не история знаменитой арфы, а занимало совсем другое...

— Да ведь ты был богат, у тебя были большие деньги... Как же ты прожил их? — спросил Мина. — Удивительно! Уму непостижимо...

Богач даже хлопнул себя по бокам, как будто ему жаль было чужих денежек, и тут же прочел отставному «гению» целую рацею.

Миной кой-что слышал об этой арфе, знал ее, но она все была не нужна ему. Звон золота и серебра, даже звон медных монет был для него слаще всех арф — небесных и земных. Он так и сказал смущенному Фабрицио:

— Правду сказать, арфа мне совсем не нужна! Но... жаль мне тебя, музыкант! Как бы, значит, вроде милостыни даю тебе за нее червонец. Получай!

Фабрицио думал было поторговаться с Миноем, но ему ужасно хотелось есть, поэтому он молча, с жадностью схватил червонец и побрел домой.

## VI

Миной, как нередко случается между богатыми, был человек совсем глупый, тупой, разумевший только одно — копить деньги. Зачем, для чего, для кого копить — он этого и сам не знал, не думал об этом, да и думать не хотел. Он купил арфу только для похвальбы, ради того, чтобы людишний раз поговорили о нем: «Миной купил знаменитую арфу... Миной, говорят, заплатил за нее тьму денег... Шутка ли, скажите! Вот-то богатство!.. Счастливец этот Миной!..» И Миной самодовольно улыбался себе в бороду, воображая, как заговорят о нем, и вспоминая, как дешево досталась ему арфа...

Миной был человек большой, толстый, с одутловатым лицом и с маленькими глазками, заплывшими жиром. Вообще с виду он много походил на свинью, наряженную в людское платье. Рыжие волосы его были жестки как щетина, нос толстый, приплюснутый, губы как у негра, пальцы на руках — неуклюжие, как обрубки дерева. Он по-

---

*Рацея* — длинное скучное рассуждение.

стоянно смотрел в землю и был сутуловат, потому что всю жизнь сидел над столом, сводя счеты и перебирая деньги. И удивительно было видеть, как его неповоротливые пальцы делались ловки и проворны, как у акробата, когда он принимался считать деньги. При виде денег этот жирный толстяк совсем преображался. Вся эта массивная туша при виде блестящих червонцев трепетала и замирала от восторга; глазки подергивались какою-то маслянистой влагой, а красное, лоснящееся лицо сияло и блестело, как хорошо вычищенная медная сковорода.

К такому-то человеку попала наша арфа. Он мельком взглянул на нее, подергал струны, чтобы узнать, крепки ли, провел рукой по черному блестящему дереву и обратил особенное внимание только на перламутровые украшения. «Сколько-то стоят эти перламутровые звездочки?» — мысленно спросил он себя.

Арфу заключили в великолепный бархатный футляр с дорогими золотыми украшениями и поставили ее в одной из пустых громадных зал Миноева дворца. Скучно было арфе, холодно, сыро, потому что хоть дворец и был роскошен, но Миной из скупости зимою не топил его, за исключением двух-трех жилых покоев.

Один раз в год дворец освещался и настезь растворялись его двери: Миной устраивал пир — «пир на весь мир», как хвастливо говаривал он. На пир собирались к нему люди богатые, торгаши, ростовщики и пестрая толпа всевозможных льстецов, прихлебателей и блюдолизов. Миной для такого торжественного случая облачался в великолепный костюм, пыхтел, пыжился, разыгрывая из себя вельможу: то выпячивал грудь, то приподнимал плеча и старался смотреть свысока, но походил на вельможу столько же, сколько лягушка на вола.

Бывало, кто-нибудь из гостей обращал внимание на богатый футляр. Тогда футляр раскрывали и вынимали из него арфу, продрогшую от сырости и холода. В среде пирующих оказывался обыкновенно какой-нибудь дешевенький артист,

любитель обивать пороги у знатных и богатых, и предлагал сыграть на арфе. Миной, тоже слыхавший, что вельможи иногда покровительствуют искусствам, кивал головой артисту в знак согласия. Тот становился среди залы в самой изящной позе и начинал играть на арфе и воспевать небывалые доблести Миноя. По словам этого певца, Миной оказывался, к его удивлению, «просвещенным покровителем искусств и наук», «благодетелем сирых и убогих», «истинным утешением всех бедняков» и «достойным сыном своего отечества» и прочее... Миной половины не понимал из того, что ему пели, но делал очень глубокомысленный вид. По окончании пенья, когда гости принимались рукоплескать и артист, приложив руку к тому месту, где, по его предположениям, у человека должно быть сердце, любезно раскладывался на все четыре стороны, Миной уже совсем не знал, что ему делать: смеяться ли, выругаться ли, или просто сунуть артисту червонец и махнуть рукой: «Проваливай!..»

Гости подходили к арфе, барабанили своими грубыми пальцами по ее нежным, отзывчивым струнам и, в угождение хозяину, одобрительно замечали:

— Играет изрядно!

А Миной, оттопырив губы, самодовольно мычал.

— Да! Ничего... эта штука стоит денег! — говорил он, щелкая арфу по струнам.

Струны жалобно звенели, вся арфа вздрагивала и тяжело вздыхала... Нет! Пусть лучше снова запрут ее в футляр, чем оставаться долее в обществе этих человекообразных обезьян... И арфу опять заключали на целый год в темный футляр — до следующего пиршества. Никогда еще так дурно не чувствовала себя арфа... Даже в руках сладкогласного Фабрицио ей было легче, нежели здесь, в Миноевом дворце. «Уж лучше бы попасть на улицу или в жалкую каморку какого-нибудь убогого бедняка, чем молча, в потемках, стоять в футляре и только один раз в год являться на свет — и то лишь для того, чтобы болвана славить...»

Желание арфы скоро исполнилось.



Миной занемог, заболело у него горло. Самые лучшие врачи сошлись к его одру. Каждому знаменитому врачу за посещение платили по сту червонцев. «Лихо!» — подумали про себя врачи и начали всячески пачкать и пичкать больного. Когда врачи достаточно разбогатели, а больной уже изнемог и лежал как пласт, решено было приступить к операции. Врачи, поговоривши между собой по-латыни, вставили Миною вместо его собственного дрянного горла золотое... Но золото, всю жизнь веселившее Миною и постоянно помогавшее ему, на этот раз не помогло...

Он умер, прожив, однако ж, с золотым горлом лишние пять дней. Последними словами его были: «Деньги мои, деньги!»

После его смерти, разумеется, явились моментально, словно из земли выросли, наследники. Множество набежало их разом со всех сторон... Труп Миной не успел еще остыть, а вокруг него шел уже содом; наследники из-за богатств дрались и грызлись, как голодные псы из-за кости. Наконец, кое-как, с грехом пополам, поделили они между собой имущество, не помянув Миной ни единым добрым словом.

Один из служителей, видя, что все рвут и тащат, увлекся общим примером и, пользуясь суматохой, стащил арфу вместе с футляром. Футляр он продал украдкой знакомому ростовщику, а арфу — для пущей безопасности — унес в дальнейшее городское предместье и там сбыл ее задешево, как вещь пустяшную, по его мнению.

## VII

Арфу на этот раз купила Роза-Мария, жалкая уличная певица, по прозванию Дохлый Котенок.

Эта несчастная молодая девушка еще ребенком осталась сиротой: отец ее был убит на войне, а мать умерла с горя... Маленькая Роза — в ту пору милая, прелестная девочка —

очутилась на улице, под открытым небом. Она, вместе с собачонками, бродила под окнами, промышляя себе корки хлеба и даже не раз, с бою, отнимая их у собак; она проводила где день, где ночь, нередко спала на улице, прикорнув у фонтана или на широких, гранитных ступенях величественного храма. Она почти не знала чистых детских радостей и рано попала в бродячее общество нищих и калек.

Теперь ей было 17 лет. Постоянно, и летом и зимой, она ходила в синей бархатной кофточке, с галунами на рукавах и на груди, с блестящими шнурами по швам, и в короткой пунцовой юбке. Но ее бархатная кофточка уже выцвела, залоснилась, галуны на ней порыжели, шнуры блестящие потускли, юбочка истрепалась; так же истрепалась и сама Роза-Мария.

Она тонка и худощава, лицо ее бледно, и как-то странно и страшно видеть на этом бледном, безжизненном лице ее большие глаза, темные как ночь, оттененные синевой и горящие лихорадочным огнем. Порой на щеках ее пятнами проступает яркий, болезненный румянец. Ее черные как смоль непричесанные волосы беспорядочными прядями распадаются по плечам. На ней — шляпка с пером, но дождь, ветер и осенние бури сделали из этой некогда щегольской женской шляпки какой-то жалкий, грязный комок, едва державшийся на ее распущенных волосах. В ее лице, в ее глазах, больших и темных, во всей ее фигуре — затаенная грусть, утомление и невидимые миру слезы. Ее глаза как будто все хотят спросить кого-то: «Скоро ли же конец?..»

Днем Роза-Мария, напевая и играя, ходит по улицам, ловя медные монетки, там и сям вылетающие ей из окон. По вечерам она поет в харчевнях, потешая буйных пьяных матросов и всякий темный сброд. А ночь она дрогнет на своем жалком чердаке, где во все щели дует ветер и проливаются холодные капли дождя.

Придя домой, она опускается на свое жесткое нищенское ложе и подолгу сидит, уныло понутив голову и в бессилии опустив на колени свои худенькие руки. В этот тихий ноч-

ной час насильственная улыбка, игравшая днем на ее губах для ее слушателей, исчезает бесследно. Все ее нерадостное прошлое — с холодом, с голодом — проносится перед ней как ряд пестрых, неприглядных картин. В это время нельзя было смотреть на нее без слез.

Если бы мать теперь увидала ее — такую худенькую, грустную, разбитую... Господи! Ведь сердце у нее перевернулось бы от жалости и боли... С какою любовью, с какими горячими слезами она обняла бы теперь и крепко-крепко прижала бы к груди свою ненаглядную девочку! С какою нежностью ласкала бы она эту бедную головку с непричесанными, распущенными волосами! Как целовала бы она этот горячий лоб, эти чудесные глаза, эти губы и бледные, худенькие щеки! И мать сказала бы: «Люди, люди! Люди-братья, что же вы сделали с моей милой деточкой!..»

Но у Розы уж давно не стало матери. Нет у нее ни родных, ни знакомых, никто ее не любит, никому до нее нет дела; никто не придет к ней на чердак — не приласкает, не шепнет ей ни слова о той великой любви, что прощает и мытаря, и блудницу, и разбойника, распятого на кресте.

Роза-Мария жила как дикарка, не зная, где свет, где мрак... С самым наивным видом она распевала в харчевнях всякие глупые, нехорошие песни. Она не понимала их и не догадывалась, что смешного находили в них слушатели... Грустно, тяжело было арфе; с болью чувствовала она, что из нее извлекают какие-то нелепые звуки, недостойные ее чудесных, отзывчивых струн. И посреди веселого пенья и чоканья стаканов у арфы порой вырывались такие жалобные, душу щемящие ноты, что разгулявшиеся кутилы невольно хмурились. Невесело, нехорошо жилось арфе...

Но, как ей ни было дурно, она все-таки не согласилась бы променять свою теперешнюю бродячую, уличную жизнь на гнусное существование во дворце какого-нибудь богача. Эта несчастная певица — еще девочка, почти ребенок; арфа

очень хорошо понимала это, и недостойные песни не могли оскорблять ее глубоко. Уличные пороки и грубость в ней вызывали только сожаленье... Уже давно сказано: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят».

Арфа видела, что и в пьяненьких матросах, и в самых жалких нищих и ворах, и вообще — во всем этом темном, оборванном люде, порою пробивалось на свет чувство добра, горела искра Божия, в душе самого отчаянного, бесшабашного негодяя порой пробуждался человек... А там, во дворце Миноя, там — холодная пустыня; там слышен только звон червонцев; там вдоль стен стоят каменные статуи, похожие на людей, и бродят холодные, бессердечные люди, похожие на статуи... Нет! Арфе здесь лучше — тем более что певица, оставаясь одна ночью на своем чердаке, иногда наигрывала на ней такие милые, унылые песенки. Певица мечтала под ее тихие, нежные звуки и забывалась от своей тяжелой, нерадостной жизни. Иногда вой ветра нагонял на нее хорошие, блаженные сны... Во сне к ней приходила мать...

Но недолго арфа побыла в руках Розы-Марии. Девушка простудилась в своей бархатной кофточке, заболела и скоро угасла, как гаснет восковая свечка, стоящая на сквозном ветру. Перед смертью она даром отдала арфу одному своему знакомому, такому же несчастливцу, как сама, уличному певцу Сильвану.

## VIII

Сильван был большой весельчак, человек, никогда не унывавший. Никто еще не слышал от него ни одной жалобы. Ходил он босой, и все платье его состояло из одних заплат. Свою старую рваную шапку он отдал одной бедной огороднице для чучела, и шапка его уже давно красовалась

---

*«Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят» — слова Христа (Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 34).*

на высоком шесте посреди гряд, мотаясь от ветру — на страх воробьям. Карманов в его платье не было; все, что он получал за свое пенье, Сильван отдавал своему слепому старому отцу и оставлял немного для себя. Отроду у него не бывало никакого сундучка: все свое он носил с собою...

Сильван чрезвычайно обрадовался арфе. Он хранил ее как свое единственное сокровище, пылинки сдувал с нее. Он пел на городских улицах, ходил по ярмаркам, по деревням и селам, играл на деревенских праздниках, на свадьбах, на крестинах — только на похороны не пускали его. Он играл на арфе простые, но хорошие песни. Хотя Сильван с виду был неказист, но он был честный человек, с сердцем кротким и незлобивым.

— Сильван! Сделал ли ты себе новый камзол? — иногда спрашивал его отец.

— Как же, батюшка, сделал! — отвечал сын.

— Ну-ка, иди покажи...

«Покажи» для слепого значило — «дай потрогать руками». Сильван близко подходил к старику и начинал повертываться перед ним. Старик проводил дрожащей рукой по его спине, по груди, по рукавам.

— Сильван! Да никак ты весь в заплатах... — в недоумении бормотал старик, опасавшийся за здоровье сына.

— Что ты, батюшка! — вскрикивал Сильван. — Какие тут заплаты... Это у меня все нашито для украшения, по моде, — ныне все так носят... Ах, батюшка! Если бы только ты видел, как это хорошо! Я весь точно жар горю... Когда иду по улице, все красотки заглядываются на меня. «Вон, — говорят, — смотрите, смотрите... Сильван идет!...»

— Ну, то-то, — говорит старик и приятно ухмыляется, воображая, как все любят на его молодца.

А у того-то на камзоле — заплата на заплате, и между заплат кое-где видно смуглое голое тело.

— А отчего же ты босой? — спрашивает старик Сильвана, ощутив его голые ноги.

— Башмаки очень узки, натирают ноги! — не обинуясь отвечает сын. — Дома я снимаю их...

— А шляпу купил? — допрашивает заботливо отец.

— Как же, купил... — продолжает Сильван. — И отличная шляпа... такая, знаешь... с пером, вся обшита бархатом... чудесная шляпа!

— Покажи! — говорит отец, протягивая к нему руку.

— Я отнес ее, батюшка, к мастеру. Нужно было перо исправить... — нисколько не смущаясь, объясняет Сильван.

— Ну! То-то же! — шепчет успокоенный старик.

Сильван ест кое-как, ходит в чем попало, дрогнет от холода, а у старика зато зимой — и теплый, уютный угол, и теплая одежда и сытная еда...

Простые люди любили добродушного Сильвана, любили его простые песни. Он умел играть и невинные, детские песенки, и ребятишки с удовольствием плясали под звуки его арфы. Слушая арфу, отдыхал поселянин от своих тяжелых трудов, бедняк позабывал свое горе, а веселый становился еще веселее и добрее. И звучала арфа по городам и селам, по полям и по большим дорогам, всем доставляя утешенье и отраду... Арфа была довольна, счастлива. Никогда еще ей не приходилось доставлять удовольствие такой массе народа, как теперь. Ей отрадно было сознавать, что все эти люди — мужчины, женщины и дети — незадолго перед тем горько плакавшие, заслышав арфу, осушали слезы и только тихо вздыхали. По-видимому, горе их смягчалось, утиhalo...

Так шел год за годом.

Слепой старик, отец Сильвана, умер, вполне спокойный за сына и уверенный, что тот щеголяет в новом камзоле. Вскоре за ним и Сильван отправился в ту страну, «откуда никто не приходит»...

Хозяйка Сильвановой каморки предлагала кое-кому арфу, но желающих купить ее не нашлось. Хозяйка с досады забросила арфу на чердак.

---

*Не обинуясь — не задумываясь, не смущаясь.*

Шел год за годом. Люди рождались и умирали. Земля в свое время то покрывалась снегом и деревья опушались белыми узорами инея, то цветы расцветали и летнее солнце обдавало землю ярким светом и теплом. То черные тучи сгущались на небе, с шумом и вихрем проносясь над землей, то легкие белые облака, как воздушные барашки, тихо плыли по голубому небу...

А арфа, всеми оставленная, всеми позабытая, валялась на чердаке, в сору, в пыли и в паутине.

Теперь была в большом ходу и в моде ярко расписанная красками трехструнная балалайка, вся покрытая аляповатыми украшениями из сусального золота. Ярко сверкала и горела она на солнце своим дешевым блеском. Конечно, музыка ее была довольно односложна: «трень-брень» — и только. Но ее трескучая, залихватская музыка — по большей части плясовая — очень нравилась... Балалайку можно было услышать и в театрах, и в концертах, на улицах и площадях — всюду: она не брезгала никаким обществом, не разбирала ни места, ни времени... Немало и доставалось ей: ее роняли, стучали ею по чему попало, однажды даже треснули ее кулаком. Но балалайка — выносливый инструмент, не обидчивый, не особенно нежный...

А балалайка так и старается, так и надсажается: «Трень-брень! Трень-брень!» Хотя из ее бренчанья не выходит никакого толку, но резких звуков, звону и треску много, очень много... Балалайка — в ходу, балалайка — в славе.

Ну а арфа? Все прошлое порой проходит перед нею как во сне.

Арфа помнит того славного старика, что вызвал ее к жизни; помнит милого, благородного Ивона и его несчастную безумную невесту; помнит Бланку Прекрасную; помнит

---

*Сусальное золото* — тончайшие листы золота или сплавов, золото имитирующих.

сурового короля Гвидо, помнит, как он безжалостно хватил ее об пол и как вся она дрожала от боли; помнит, как Фабрицио в многолюдной ярко освещенной зале при помощи ее приводил в неописанный восторг тысячи слушателей и как зальные колонны сотрясались от грома рукоплесканий; помнит, как она дрогла от холода во дворце богача и как глупые гости Миноя барабанили своими толстыми пальцами по ее нежным, отзывчивым струнам... Как ей было тогда больно и обидно!.. Помнит она несчастную уличную певицу; помнит веселого, добродушного Сильвана и его странствование по городам и селам, по полям и по большим дорогам...

Наслаждений и страданий была полна ее жизнь. Есть о чем вспомнить...

А теперь!.. Только крысы ночью порой иногда пробегают по ней, извлекая какие-то дикие, робкие звуки, да ветер, ворвавшись через слуховое окно, глухо гудит по ее струнам... Днем иногда солнце, в виде приветя, шлет ей, словно украдкой, свой золотой, горячий луч; ночью месяц озаряет ее своим бледным синеватым сияньем. И арфа в те минуты, как призрак, смутно мерещится в груди старого хлама, вся в пыли и в паутине...

В сумраке чердака, под самой крышей, посреди мусора лежит наша забытая арфа. Ее прекрасное черное дерево треснуло и поломалось местами, одна струна лопнула, другая была уже надорвана. Жизнь помяла нежную, отзывчивую арфу...





# АЗАЛЬГЕШ

(Восточное предание)



**С**РЕДИ высоких гор бежит, шумит река Юрзуф. На берегу ее поныне видны на скале высокой, неподалеку от реки, мрачные развалины башни, а вокруг — следы могил, покрытых серыми камнями.

Здесь в старину жил Бурумир, могучий князь, с своей красавицей-женой. По склонам гор, в ущельях и долинах обитал его народ.

Княгиню горцы звали Азальгеш. Красивее ее не видали жен на свете. Ее голубые глаза горели как звезды, волосы золотистой волной бежали по ее белоснежным плечам, улыбка ее алых губ была полна очарованья. Ее правая рука чудесным, волшебным свойством обладала: она светилась впотьмах... Азальгеш была добра и так же прекрасна душой, как и телом.

Бурумир похитил Азальгеш. Он примчал ее с далекого севера. Долго летел он с нею на своем славном вороном коне. Снежные метели и вьюги, словно в погоню, с воем и ревом неслись за ним с севера; снежные метели и вьюги бешено крутились за ним по бесконечным равнинам степным, порой обдавая его, как облаком, холодною снежною пылью. Бурумир в соболью шубку закутывал свою красавицу-невесту... И не догнали его северные вьюги и метели, умчался он от них с невестой на теплый, цветущий юг — в тот край благодатный, где вечно розы алеют и благоухает жасмин...

Красив был Бурумир, но мрачна была его красота. В народе его звали «железным»... Он был силен, высок и строен; волосы у него были черные, густые как грива, и такие же черные длинные усы и борода; смуглое лицо его дышало силой, и темные глаза блестели как горящие уголья. Вид у него был настоящий княжеский — воинственный и горделивый. Он носил красное платье, расшитое золотом, и алмазами горел его широкий золотой пояс...

Азальгеш не знала, что он был за человек. Он мог быть хороший человек, хотя ей и не нравились его темные, срос-

шиеся брови и выражение его тонких, крепко сжатых губ. Она согласилась быть его женой только с тем, чтобы он каждый день для своего народа делал добрые дела. Он нахмурил свои нехорошие брови, и злой огонек сверкнул в его очах, как молния сверкает в темных тучах. Но, взглянув на прелестную Азальгеш, смело и открыто смотревшую ему прямо в лицо, он смирился и тут же страшной клятвой поклялся Азальгеш, что каждый день он станет творить добро для своего народа.

— Помни же, князь! — торжественно подняв руку, тихо промолвила Азальгеш. — У тебя в руках — сила, у тебя — власть. Ты можешь и должен делать добро... Эта земля в цветах и зелени создана не для того, чтобы человеческими слезами и кровью орошать ее. Ясное небо над нашими головами сияет так ласково и кротко не для того, чтобы вместо тихих молитв и веселых, радостных звуков возносились к нему с земли вечные жалобы и стоны... Помни! Небеса и земля слышали твою клятву... И небо тяжело покарает тебя!

Бурумир слегка вздрогнул, и бледностью покрылось на мгновение его смуглое лицо.

— Моя несравненная Азальгеш! — проговорил он, любясь на ее лицо, пылавшее одушевлением. — Свет моих очей, мир души моей... Я — твой невольник, твой раб... Все, все — для тебя!..

— Сделай народ счастливым, а мне самой немного надо! — сказала Азальгеш. — Рабов, невольников не надо мне...

— Сделаю счастливыми всех! — в восторге повторял Бурумир.

Бурумир был человек свирепый и жестокий. Народ боялся и ненавидел его... Но бывают такие моменты, когда смягчается и самый лютый зверь. Под влиянием любви к Азальгеш, под влиянием взглядов ее кротких очей Бурумир помнил свою клятву: мягче относился к людям и смирал порывы своего бурного нрава...

Они поселились в Долине роз, в маленьком, прелестном дворце, утопавшем в зелени садов. Счастливо прожили они год... Народ успокоился и вздохнул свободно.

## II

Бурумир был труслив и подозрителен, хотя хоронил свою трусость в душе глубоко. Опасно показалось ему жить в долине, посреди своего смиренного народа. С тайным страхом посматривал он с террасы своего дворца на пышные кусты роз, красовавшиеся в саду, и думал темную думушку: «Не ползет ли змея под этими кустами роз? Не кроется ли за ними враг?» С досадой и злостью взглядывал он иногда на свой густой, тенистый сад, на его великолепные, роскошные деревья. Они мешали ему смотреть на долину и наблюдать за тем, что делается там... «Под тенью их, быть может, скрывается какая-нибудь опасность?»

И Бурумир, наконец, решился свить себе гнездо наподобие орлиного. Он задумал воздвигнуть башню на скале.

— Зачем же это? — спросила Азальгеш. — Нам было здесь так хорошо...

— Соседние народы войной мне угрожают! — ответил Бурумир.

Он повелел народу строить высокую каменную башню — и работа закипела мигом...

Прошли века после того, как выстроена эта башня. Все удивлялись крепости ее стен и необыкновенному искусству строителей. По времени в народе сложилось предание, что башню строили какие-то великаны, ворочавшие чуть ли не горами и одним махом бросавшие снизу на самую вершину скалы целые каменные глыбы. Но это — суцая неправда... Башню строили простые смертные, люди даже не особенно сильные, с утра до ночи ползавшие, как муравьи, около скалы и лепившиеся по скале, люди трудолюбивые, терпеливые, покорные грозному владыке. Многие из них при

создании башни лишились сил и здоровья, многие были убиты, задавлены или изувечены каменными глыбами.

Ее нижнее жилье вырубili в скале, и вместо окон прорубили четыре щели: одну — на север, другую — на восток, третью — на юг и четвертую — на запад. После того уже началась постройка самой башни. Надо было нагромоздить два высокие этажа, а наверху, вместо крыши, сделать платформу и обнести ее зубчатым парапетом. Ни на быках, ни на ослах, ни на лошадях невозможно было таскать камни на скалу: скала — как прямая стена, совершенно отвесная. Груды камней наносили к подножью скалы, к скале приставили лестницы. На лестницах непрерывною цепью стояли рабочие и передавали камни один другому, снизу вверх. В это время иные, изнемогши под тяжестью каменной массы, обрывались с лестницы, падали и расшибались до смерти. Потом и кровью кропили рабочие эти серые камни...

Каменья своим цветом походили на скалу, и оттого издали вся башня казалась вырубленной в скале. От башни — из ее главного, большого окна с разукрашенной амбразурой — был протянут к дереву на противоположном берегу реки висячий холщовый мост. Три года женщины той страны без устали ткали его из самых крепких ниток.

Готова башня — и Бурумир в ней поселился с своей прекрасной Азальгеш.

В нижнем жилье помещались самые верные, испытанные слуги Бурумировы; во втором этаже, убранном со всем великолепием восточной роскоши и неги, жил князь с княгиней; в верхнем этаже были их спальни.

Вокруг башни ютились воины в своих мазанках.

На новоселье жизнь пошла иначе, хуже... Темные демоны вновь овладели Бурумиром. Народ опять стонал от притеснений.

Каждый день с толпой вооруженных воинов уходил князь из башни «творить суд», как говорил он Азальгеш, а на самом деле для того, чтобы разбойничать. Он грабил беззащитных путников, страшным пыткам подвергал не-

счастливых, вымогал последний грош у бедняков, казнил безжалостно людей невинных, казавшихся ему подозрительными. Воины на его глазах без милосердия и без пощады тиранили старцев, жен и детей. Бурумир словно наслаждался людскими страданиями. В траур оделся весь край...

Азальгеш ничего не знала: никаких слухов не доходило до нее из долин и ущелий гор. Под угрозой страшной казни Бурумир запретил передавать княгине об его злодеяниях.

Азальгеш скучала, оставаясь одна в угрюмой башне. Однообразно и уныло проходили ее дни.

### III

Иногда Азальгеш подолгу сидела в амбразуре окна, как тоскующая голубка, приютившаяся в трещине скалы. Ее хорошенькая головка с распущенными белокурыми волосами склонялась на грудь. Азальгеш, пригорюнившись, смотрела на север и желала бы заглянуть в туманную даль, за высокие горы, что стеной поднимались перед ней.

Родимый север манил ее к себе, одиночество ее пугало. Горы, казалось, все надвигались и надвигались, теснили и давили ее... Ах, зачем тогда снежные метели и выюги не догнали их, не отняли ее у Бурумира! Великолепен этот южный край, величественны его горы, много в нем чудес и диковинок, но родная сторона ей милее! Прекрасен этот громадный пирамидальный тополь и темный кипарис, но рябина и черемуха да белостволая березонька милее и краше их! Пышны эти белые и алые розы, слов нет, царственно пышны они, но незабудки и ландыши внятней душе говорят...

Грезилась Азальгеш ее родная сторона — равнины, простор, даль бесконечная... Легче дышалось ей в этих сладостных грезах. В мечтах до нее доносилась порой вдали замиравшая унылая песня; слышалось ей чириканье знакомых птичек и степной ветерок сладким цветочным запахом ей веял в лицо...

И прекрасна была Азальгеш в те минуты! В ее голубых глазах, грустно, задумчиво смотревших в даль, словно отражалось само голубое сияющее небо... Она могла мечтать обо всем, пока взгляд ее тонул в небесной лазури...

При первом же взгляде на землю пропадала ее мечта. Она опять видела себя узницей в каменной башне... Опять перед нею бежит, шумит Юрзуф и скрывается во тьме дикого ущелья. Опять перед нею стеной встают высокие горы, по склонам их леса темнеют, а выше их нагромождены серые, голые массы каменных глыб. На вершинах гор снег белеет и блестит. Иногда облака спускаются низко, заволакивая горы густыми клубами, и в ту пору их снежные вершины как бы висят на воздухе... Горы и горы, одна другой выше; утесы да скалы, одна другой круче, и там и сям между гор — черные, зияющие трещины...словно боги в минуту раздражения и гнева на род людской набросали эти горы одна на другую и, бросая как попало, раскалывали, разбивали их на тысячи кусков и обломками их усеяли все окрестные долины, ложбины, ущелья и русла рек... Азальгеш грустно вздыхала, и слезы туманили ей глаза. Конечно, и здесь природа была прекрасна во всей своей дикости: величавы эти горные громады, живописны их леса, красивы их цветущие долины. Но все эти прелести не могли утешить Азальгеш... Она тосковала. Сердце-вещун шептало ей, что вокруг нее творится что-то недоброе... Порой из селений смутно доносились до нее как будто крики, стоны и плач... «Что происходит там?» — в тягостном раздумье спрашивала она себя. Темные предчувствия томили ее...

Вечером Бурумир, возвращаясь домой, повсюду оставлял за собой скорбь и отчаяние. Перед мостом он расставался со своими воинами и громко, пронзительно свистал. Этим свистом он давал знать жене о своем приближении. Если ночь была темна и месяц не светил, Азальгеш подходила к окну башни и, выставив свою правую светящуюся руку, озаряла ему путь. А путь был опасен: один неверный шаг — и можно было полететь с этого холщового моста в холодные

и быстрые волны бурливого Юрзуфа... Голубоватым, ярким светом сияла рука Азальгеш, и на этот спасительный огонек тихо и осторожно пробирался по висячему мосту князь Бурумир.

Бурумир являлся к жене, приняв свой обычный спокойный, беспечный вид.

— Не скучала ли ты, моя дорогая? — спрашивал он жену, раздвигая свои мрачно-нахмуренные брови.

— Мне было очень, очень скучно, князь! — со вздохом отвечала ему та.

— Ну, вот я опять с тобою! — утешал он ее.

— Мне слышалось, что там, в долине, как будто кто-то стонал! — говорила Азальгеш.

— То, вероятно, ветер в лесу завывал!.. — успокаивал ее Бурумир.

— Мне слышался чей-то плач... — продолжала она.

— Это на могиле матери плакала одна девочка-сирота...

— И ты утешил ее? — спрашивала Азальгеш.

— Утешил! — глухим голосом отвечал ей Бурумир.

— Мне чудилось, как будто там, в селенье, кого-то били...

— Нет! Это за селением сваи вбивали на берегу реки!..

— Князь! Рука твоя — в крови! — в ужасе вскричала Азальгеш, поднимаясь со своего ложа и пристально смотря на мужа.

— Да! Мы сегодня охотились славно! Я двух кабанов убил... — говорил Бурумир, подбочениваясь и крутя свой черный длинный ус.

— Князь! Помни клятву! — сказала ему Азальгеш.

— Помню! — как бы нехотя отозвался он. — А теперь — вина! Эй! — кричал князь и громко хлопал в ладоши.

И слуги с испуганными лицами сбегались на его зов...



Князь ужинал вдвоем с Азальгеш; потом они шли на покой, но покоя не было для Бурумира... Подозрительность и тайные, темные страхи росли в нем не по дням, а по часам. Всю ночь вокруг башни стояла многочисленная стража. Звон вестового колокола, висевшего на башенной платформе, должен был извещать стражу о приближении неприятеля или вообще о какой бы то ни было опасности, угрожающей князю.

После ужина Бурумир приказывал всем служителям удаляться в нижнее жилье и сам, собственноручно, тяжелыми железными запорами замыкал за ними дверь. Потом по лестнице Бурумир пробирался с женой через люк в верхний этаж башни, где были спальни. Подвижную лестницу он поднимал за собою, люк закрывал подъемною дверью, дверь запирали каким-то мудреным замком и ставил на нее свою кровать.

Азальгеш не раз говорила ему:

— Зачем столько предосторожностей и тревог?

— У меня есть сильные враги! Людям нельзя доверять!..— постоянно возражал он.

Вечер с женой, за стаканом вина, он еще коротал кое-как, но когда сгущались сумерки, страх нападал на него. Нечистая совесть мучила Бурумира... Он бродил из угла в угол, ища и не находя себе покоя. С замиранием сердца прислушивался он к каждому малейшему звуку, ко всякому шороху в башне и за стенами ее. Чу!.. Как будто кто-то крадется? Как будто трещат половицы? Уж не идет ли кто-нибудь? Не забрался ли кто-нибудь днем в башню и не притаился ли в укромном уголке?.. Или то, может быть, скребется мышь?..

И Бурумир, бледный и трясущийся, как Каин, с ночником в руке бродил туда и сюда, заглядывая во все углы и шаря по полу...

Ночная тьма для Бурумира была полна ужасов. Особенно ночной ветер, завывавший вокруг башни, нагонял на него страх. Он не мог без дрожи слышать его диких, жалобных воплей. Бог весть что ему чудилось в шуме ночного ветра...

— Что с тобой? — спрашивала его Азальгеш. — Ты сам не свой... Скажи мне, что страшит тебя?

— О! Я ничего не боюсь... только я должен быть осторожен и всегда наготове! Соседние народы грозят мне войной... — с напускным спокойствием отвечал Бурумир, но дрожащий голос и лицо, покрытое бледностью и холодным потом, выдавали его душевные муки.

Несносные ночи, тяжелые ночи...

Тут вокруг него — и цветы, и ковры, и благоухающие курильницы, и разноцветные восковые свечи ярко горят; блеском и роскошью поражает убранство этой башни, снаружи такой суровой и угрюмой... Но ничто его не веселит: он постоянно дрожит за свою безопасность...

Только один раз в жизни светлая радость озарила мрак его души. Это было тогда, как он полюбил Азальгеш и добрые человеческие чувства шевельнулись в нем. Но недолго длилось это просветление. Злые демоны вновь овладели им... И вот теперь в своей башне на скале он изо дня в день трепетал за свою жизнь, бежал от своей собственной тени и не ведал тех тихих радостей, которыми, как цветами, скрашивается порой самая жалкая человеческая жизнь.

В ночной тьме ему постоянно мерещились призраки замученных им жертв. Эти бледные призраки, чудилось ему, длинными вереницами со всех сторон стекались к его башне, кутаясь в могильные саваны, и вместе с ночным мраком неслышимо, незримо наполняли пустые, безмолвные покои...

А поутру опять с вершины башни, как ядовитое пресмыкающееся из своей норы, выползал злой властитель гор и с толпою вооруженных воинов отправлялся на убийство и разбой...

Наскучило Азальгеш сидеть одной, и решила она выйти из башни и узнать, что делает в долине ее муж. Стала она плести тайком шелковую лестницу, плела ее долго-долго, целый год, наконец, сплела...

Однажды, когда мужа не было дома, когда он, по его словам, отправился на охоту, Азальгеш прикрепила один конец лестницы в амбразуре окна, другой сбросила вниз и по этой тонкой, паутинной лестнице смело и быстро спустилась наземь. Потом она перешла Юрзуф вброд в том месте, где река была мелка и каменисто ее дно.

Азальгеш, крадучись, пошла по селеньям и тут-то увидела Бурумира в его настоящем свете. Много ужасных, потрясающих картин прошло перед ее глазами... Азальгеш видела, как Бурумировы воины мучили насмерть какого-то дряхлого, седого старика, допытываясь у него, где спрятаны его сокровища. Она видела, как воины по его повелению гнали целую толпу в подземные темницы. Нескольким человекам отрубили головы, и кровь по земле текла ручьем. Воины неистовствовали, но пуще их неистовствовал Бурумир. Где ни пройдет он со своей разбойничьей шайкой, там цветы не цветут и трава не растет, птички замолкают и лишь слышатся повсюду плач и стоны...

Азальгеш весь день ходила по долине из селения в селение, и сердце ее — доброе, жалостливое ко всем людям — кровью обливалось: нигде не видала она ни одного веселого, оживленного лица, нигде не слыхала ни песен, ни смеха, ни звонких детских голосов...

Бледная, как снег, блестевший на вершинах гор, возвращалась в тот вечер домой Азальгеш.

— Мой муж — разбойник... А я до сих пор не знала... верила ему! — шептали ее побледневшие губы. — Я умру... убью себя...

В ужасе и отчаянии смотрела она вокруг своими широко раскрытыми помутившимися глазами и сжимала судорожно

в руке свой маленький блестящий кинжал... «Твоя смерть никому не поможет! — подсказывала ей совесть.— Никому не станет легче от того, что ты умрешь...»

— О я несчастная! — в порыве жгучего горя вскричала Азальгеш, и ее прелестные золотистые волосы волной рассыпались по белоснежным плечам.— Мое слово бессильно, и бессильна моя рука... Зверь не поймет меня и не смирится... Что ж мне делать?.. Ох, горемычная, горемычная я...

Она закрыла лицо руками и плакала горько... Картины, виденные ею за день, въявь восставали перед ней.

— Что мне делать? — шептала она.

Ни тополь, склонявшийся над нею, ни перелетный ветерок, шелестевший кустами роз, ни волны бурливого Юрзуфа не давали ей ответа...

Азальгеш по шелковой лестнице опять поднялась в свою башню.

## VI

Наступила ночь. Синеватый сумрак окутал долину. Вершины гор еще светились, но вскоре и они стали меркнуть и потускли... Тьма залила мир.

Ночь была мрачная, бурная. Ветер как бешеный проносился по долине, со свистом врывался в ущелья и грохочущим эхом отдавался в каменных недрах гор. Юрзуф бурлил, шумел и белой пеной хлестал в крутые, утесистые берега.

В небесах было так же темно и мрачно, как и на земле: ни месяца, ни звезд не было видно в ту ночь. Грозные тучи надвигались с запада.

Вестовой колокол на башне сам собой раскачивался от ветра и жалобно, уныло перезванивал, словно о покойнике...

Бурумид на тот раз запоздал. Расставшись со своими воинами, он, как всегда, один вступил на висячий мост. Опасно было идти: ветер рвал и раскачивал легкий хол-

щовый мост. Бурумир остановился, свистнул и посмотрел вверх. Тяжелый, мрачный силуэт башни, торчавшей на скале, едва-едва выделялся на темном небе. В окне, как всегда, брезжил свет. Там, как всегда, стояла Азальгеш, положив на подоконник свою правую светящуюся руку. И посреди все более и более сгущавшегося ночного мрака только это одинокое голубоватое сияние озаряло Бурумиру путь.

Он пошел... Внизу, глубоко под его ногами, шумел, бурлил Юрзуф. Ветер с силой потрясал холщовый мост. Вспыхнула молния и фосфорическим сияньем обдала всю окрестность. И при этом брезжащем, дрожащем свете на мгновение, как в громадной панораме, показались селенья в глубине долины, и леса, темневшие по склонам, и высокие вершины гор, пропадавшие во мраке, и черные грозные тучи, тяжелою, безобразною массой низко нависшие над землей. Миг — и все опять погружено в беспросветную тьму...

Гром грянул с страшным треском и далекими раскатами рокотал между гор, и долго еще его отголоски отдавались посреди ущелий и скал, словно там какое-то чудовище глухо, сердито рычало...

Бурумир уже дошел до середины моста и вдруг остановился над kloкочущей бездной как вкопанный...

Правая светящаяся рука Азальгеш в это мгновенье померкла, затмилась... Голубое сиянье пропало в окне. Свет, так долго светивший Бурумиру и уже не раз спасавший его, теперь исчез, оставив его посреди мрака.

— Азальгеш! — хриплым, задыхающимся голосом крикнул Бурумир...

Ему почудилось, что в окне он видел не кроткую, смиренную свою Азальгеш, но грозного божьего ангела, нисшедшего на землю покарать его за великие прегрешения. Дрогнул Бурумир, пошатнулся как пораженный громом... еще один неверный шаг, еще один порывистый налет ветра, и Бурумир повалился с моста... Холодные, бурливые волны Юрзуфа поглотили его в тот же миг, закрутили и повлекли вниз по течению, разбивая его вдребезги об острые камни...

Ветер по-прежнему бушевал, Юрзуф по-прежнему ревел, небо чернело и грозовые тучи ходили над потемневшею землей. Высокая башня по-прежнему мрачно и сурово высилась на скале. Вестовой колокол уныло перезванивал, раскачиваясь от ветра...

У окна стояла Азальгеш в своем белом одеянье, бледная, с распущенными волосами, слегка развевавшимися от ветра. Скрестив руки на груди и прислонившись к амбразуре окна, она задумчиво смотрела на расстилавшийся перед нею мир, все еще погруженный во мрак. Губы ее сжаты, ее страдальческое лицо серьезно и строго, решимость во взоре... А правая рука ее опять начинала светиться слабым голубоватым сияньем...

Азальгеш, измученная пережитыми ужасами, заснула только перед утром, вернее сказать, вздремнула тут же, в амбразуре окна, прижавшись к холодной стене.

Во сне ей являлся какой-то седовласый старец и говорил:

— Азальгеш! Люби народ, будь жалостлива к нему и светом истины просвети его!

И Азальгеш исполнила завет старца.

Она любила народ, всегда была жалостлива к нему и просветила его светом истины.

При ней, говорят, люди были счастливы...

Одно старинное преданье повествует, что Азальгеш приняла христианство и сама ходила из края в край, проповедуя народу учение Христа.

Много чудных песен сложили о ней певцы; иные из этих песен еще и до сего дня живут в народе.



# РАННЕЕ ДЕТСТВО



## Часть первая

Там светлые воды приветно текут,  
Там алые розы, красуясь, цветут...

*«Лалла Рук» Мура*

### I

**О**ТЕЦ мой жил в Никольске Вологодской губернии. По делам службы он приехал с моей матерью в Великий Устюг. Здесь я и родился ночью 1 ноября 1843 года.

Ночь, по рассказам отца, была темная и бурная. В это время отца не было дома: он возвращался из уезда и поздно вечером приехал на берег реки. За несколько дней перед тем стояли сильные морозы, и река Сухона, протекающая под городом, покрылась льдом, но затем случилась оттепель, лед взломало, и переправа прекратилась.

— Если бы ночь была не такая мглистая и дождливая,— говорил отец,— я мог бы видеть освещенные окна нашего дома.

Отец уже знал, что мать моя была больна, и очень беспокоился о ней. Он стал упрашивать лодочников перевезти его в город. Лодочники отказывались. Было совсем темно, и во мраке на всем протяжении реки, сколько мог глаз охватить, видны были льдины, как чудовищные призраки, глу-

---

*Мур Томас (1779—1852) — английский поэт; романтическая «восточная» поэма «Лалла Рук» — одно из наиболее известных его произведений.*

*Здесь я и родился ночью 1 ноября 1843 года.— По другим сведениям, дата рождения писателя не 1, а 4 ноября.*



хим шумом несшиеся по темным волнам и уносившиеся в далекое Белое море. Наконец из среды лодочников нашлись смельчаки и взялись за 25 рублей перевезти отца. Тут началась геройская или, вернее сказать, безумно-дерзкая переправа, где на каждом шагу отцу моему и лодочникам грозила гибель.

Где было можно, плыли на веслах, а где весла оказывались бесполезными, пускали в ход шесты и отпихивались ими от налетающих льдин. Приходилось лавировать между льдинами, то возвращаться назад, убегая от верной смерти, то быстро двигаться вперед, пользуясь открывшимся свободным пространством. Несколько раз студеные волны хлестали через борт утлой лодки; не один раз лодку затирало льдом.

Рассказывая об этой переправе, отец, я помню, со вздохом говорил:

— Жутко мне было... Ох, жутко!.. Я уж не раз каялся, что соблазнил своими деньгами этих бедняков и повел их вместе с собой на смерть!..

Полтора часа они боролись впотьмах с напивавшими льдинами, с волнами и ветром. Ступив на берег, эти люди скинули шапки и перекрестились, смотря на темное небо (и, я думаю, на тот раз они помолились от всего сердца).

Когда отец, иззябший и промокший до нитки, пришел домой около часу ночи, ему объявили, что у него родился сын. Родился я.

Четырех месяцев меня увезли из Великого Устюга в Никольск, где и прошли первые девять лет моей жизни. Никольск в ту пору был маленький, глухой городок, затерявшийся посреди лесов,— одним словом, такой милый городок, до которого, по словам Гоголя, «хоть три года скачи,— не доскачешь». При мне, помню, с улыбкой говаривали:

---

*«Хоть три года скачи,— не доскачешь».*— Измененная цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» («Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь»).

— Дальше нашего Никольска и почта не ходит!

Слыша такие речи, я тогда представлял себе, что там, за Никольском, за этими зелеными дремучими лесами был уже край света. Я в ту пору еще не учился географии и поэтому рассуждал так: «Если дальше и почта не ходит, значит, дальше уж ничего нет,— так себе что-то, пустое место, туман...»

И мне чрезвычайно хотелось заглянуть за эти темные, дремучие леса и посмотреть, каков край света...

Вот что прежде всего я помню: прекрасное, бесконечно доброе лицо моей матери в рамке русских волос и ее кроткие ласковые глаза, темно-голубые, как ясное летнее небо. Это — мое первое и самое лучшее воспоминание.

Рядом с этим милым, светлым образом я помню другое, дорогое для меня добродушное старческое лицо, с морщинами, с серыми глазами, с толстой, немного отвисшей нижней губой и с неизменным темным платком на белокурых седеющих волосах. Это — моя няня, Марья Тарасьевна.

Я помню мою детскую светелку с одним окном и с лестницей вниз. Из окна были видны двор, огород, часть сада, сарай, далее река, а за рекой вечнозеленые еловые и сосновые леса. Смотря из окна, я часто думал: что-то скрывается там, вдали, за этими лесами? И мои детские мечты населяли неведомый для меня мир различными фантастическими образами... И эти хвойные деревья, сосны и лохматые ели, бывшие у меня постоянно перед глазами во дни раннего детства, ярко запечатлелись в моем живом детском воображении и навсегда остались моими любимыми деревьями. Где бы я ни увидел их, я всегда им рад и смотрю на них как на своих старых друзей. Самый красивый ландшафт без сосен или без елей теряет для меня половину своей прелести...

Меня рано укладывали спать, а поэтому я и вставал ранним-рано. Иногда, выспавшись, я поднимался еще ночью. Помню, бывало, зимой, когда было еще совсем темно и в доме все спали, я уже лежал с открытыми глазами и воро-

чался на своей маленькой кровати. Наконец, соскучившись, я будил Тарасьевну и начинал заговаривать с ней. Няне, само собой, очень не нравились эти ночные разговоры.

— И что тебе не спится? Полуночник! — зевая и крестясь, говорила она недовольным тоном. — Спи, батюшка! Спи, господь с тобой!

Но все напрасно... У меня уже ни в одном глазу не было сна, и поэтому я норовил продолжить приятные разговоры.

— Ну спи же, спи, — крихтя и охая, уговаривала меня няня. — Теперь все спят... только волки не спят, бегают по лесу...

И Тарасьевна сама, против своего желания, давала повод к дальнейшему разговору. Волки, бегающие ночью по лесу, представляли тогда для меня такую заманчивую картину, что она уже вполне овладевала моим детским воображением. Лес был за рекой, тут же, у меня перед глазами... Я вскакивал с постели, бежал к окну и, забравшись с ногами на стул, принимался смотреть в окно...

В ночном сумраке передо мной смутно рисовались деревья в инее, крыши сараев, покрытые снегом, снегом занесенные плетни, река, белевшая под снежной пеленой, а за рекою темной полосой мерещились леса. И страшно, и приятно мне было всматриваться в таинственную глубь этих лесов... Подолгу я смотрел на лес — надеялся увидеть там волков, но не видал их. Пока нянька тихо дремала, моя детская легкокрылая фантазия живо работала и уносила меня далеко-далеко...

— Няня! Ведь у волков глаза блестят? — спрашивал я.

— Блестят, батюшка... горят, как свечки! — заплетающимся языком отвечала няня: она уже знала по горькому опыту, что если прикинется спящей и не ответит мне, то я все равно не дам ей покоя и пристану к ней со своими волками «как банный лист», по ее выражению.

— И зубами они щелкают... вот так? — продолжал я, щелкая зубами.

— Да, батюшка... и зубами щелкают!

И волки, шмыгающие по лесу, все живее и живее начинают рисоваться моему воображению. Припоминаются обрывки чего-то слышанного, отрывки сказок или полусказочных бывальщин, виденные картинки... Нянька, наконец, принимает самые решительные меры к прекращению разговоров. Ее, бедную, сон одолевал, и она уже намеревалась напугать меня, полагая, что для достижения цели все средства пригодны...

— А ежели какие дети не спят, так волки подбегают к дому...— мрачным, зловещим тоном начинает няня.

— И уносят детей! — довольно равнодушно заканчиваю я уже знакомый мне рассказ.

— Да! И уносят! — с сердцем подтверждает Тарасьевна.

— Ну, к нам волк не заберется! — со вздохом облегчения говорю я.— Двери у нас заперты, в прихожей Василий спит...

Няня от негодования фыркает себе под нос, отворачивается от меня и, повернувшись на бок, сердито молчит. Ее печальный рассказ о волке, уносящем мальчика, с течением времени перестал производить на меня устрашающее впечатление: я уже не раз слышал его, но волков ни разу и в глаза не видал... Эти ночные сиденья у окна и разговоры о том, что теперь, ночью, происходит в лесу, имели для меня какую-то особенную прелесть и очарование.

Иногда, помню, дело кончалось тем, что я просил у няни поесть. У нее на этот случай всегда был где-то припрятан кусочек пирога. Я забирался на кровать и ел, а потом, юркнув под одеяло, снова мирным сном засыпал до утра...

Река Юг, протекавшая перед окном моей детской светелки, была река не особенно широкая, но глубокая и очень быстрая. Весной река оживлялась... На берегах ее появлялись склады бревен, дров; из бревен составлялись плоты; строились барки, спускались на воду и нагружались хлебом, льном, дровами, бочками дегтя и смолы.

Помню светлый весенний день. Окно в детской открыто. В комнату врывается свежий воздух, пропитанный запахом сырой земли и первовесенней растительности. Солнце заливает комнату. На дворе слышно неумолкаемое чириканье воробьев. В саду, на ветвях берез, едва опущенных зеленью, грачи с шумом суетятся над своими гнездами. С берега до меня доносится какой-то смутный гул — стук топора, плеск воды, говор, песни и крики рабочих: «Ух-ухнем! Вот идет, вот идет, сама пошла-а-а! Да, ух — пошла-а-а!..»

Нагруженные барки одна за другой отваливают от берега и плывут вниз по реке. «Куда-то плывут эти барки? Далеко плывут они...» — задумчиво говорил я себе, смотря на суда, исчезающие за лесистой излучиной реки. С осени берег опять пустел до весны...

## II

Помню праздничное, сияющее утро и веселый звон колоколов. На дворе светло, тепло. Белые легкие облачка плывут по ясной небесной лазури. Цветочные ароматы широкою струей вливаются в комнату через открытое окно... Мать моя в белой утренней кофточке сидит перед своим зеркалом и расчесывает волосы. Я — на скамейке у ее ног.

Я не свожу глаз с ее милого лица и внимательно слежу, как мама расчесывает свои чудесные, шелковистые русые волосы и как ее пальцы начинают проворно заплетать волосы в косу и затем эту длинную, толстую косу укладывает она на голове в виде коронки. Я, бывало, сажу, положив руки к ней на колени, и все смотрю на нее и люблюсь. Краше ее не было для меня человека на свете... Убрав свою голову, она принималась приводить в порядок мои волосы.

— Ах, голубчик! Какой у тебя вихор! Никак его не пригладишь! — говорила она, стараясь причесать мои непокорные кудри. — Ты, видно, будешь у меня упрямый... Упрямый будешь, да?

И, причесав меня, она обеими руками брала меня за голову, несколько мгновений с любовью смотрела мне в глаза и потом так крепко-крепко целовала меня.

Я любил мою мать какою-то особенною, благоговейною любовью, как потом уже никогда никого не любил. Не было у меня в детстве такого горя, которое бы не утишилось и не смирилось, когда она обнимала меня и я припадал своим разгоревшимся, заплаканным лицом к ее маленьким нежным рукам... И мне иногда, в свою очередь, приходилось видать ее плачущею, приходилось видать слезы на ее ресницах — и как мне было тогда больно! Конечно, я был мал и часто даже не знал, не мог понять, о чем она плачет и грустит, но я был бы готов в те минуты всем пожертвовать, был бы готов отдать себя на самые лютые, жесточайшие мучения, лишь бы только осушить слезы с ее добрых, кротких глаз.

Встречал я на своем веку добрых красивых женщин, но мать как была, так и осталась для меня самой лучшей, самой доброй и прекраснейшей из женщин. Мне и прежде казалось, и теперь думается, что чище, прекраснее этого образа никогда не создавала самая пылкая, возвышенная мечта поэта... Я помню, все родные и знакомые считали ее красивой и очень-очень доброй. Для меня же она была и осталась красавицей из красавиц и живым олицетворением доброты.

Моя мать была дочерью вологодского помещика, отставного морского офицера Павла Михайловича Засецкого. Звали ее Екатериной.

В 1824 году император Александр Благословенный посетил Вологду. Вологодские граждане по этому случаю дали бал в зале Дворянского собрания. Моя мать (в то время еще девушка лет 18) и старшая сестра ее были на бале.

---

*Александр Благословенный* — Александр I Павлович, правивший Российской империей с 1801 по 1825 г.

В нашей семейной хронике сохранились сказания об этом событии.

Мать моя и сестра ее были в белых креповых платьях, «выписанных из Петербурга»; у сестры ее платье было с пунцовыми цветами, а у матери (как у блондинки) — с розовыми, и у левого плеча ее была приколата алая роза. Представляю я себе, как дивно хороша она была в тот вечер! Немудрено, если государь обратил на нее внимание, но он танцевал «польский» не с нею, а с сестрой ее, Натальей Павловной Засецкой, с шифром кончившей курс в Смольном монастыре. Тут было едва не произошло недоразумения...

Государь в силу этикета танцевал лишь с женой предводителя дворянства, губернатора и городского головы и, кроме того, с бывшими воспитанницами казенных учебных заведений — смольнянками и другими институтками. Дворянский предводитель подводил к государю дам для танцев. Старик был подслеповат и, вероятно, приняв цветок за шифр, взял мою мать за руку и также хотел представить государю, но она поправила его ошибку, сказав, что она — не институтка. (Мать моя воспитывалась дома.)

Император Александр произвел на нее очень приятное впечатление. Я помню, как она, рассказывая об этом бале, говорила:

— По лицу было видно, что он — человек добрый и великодушный. У него такая мягкая, обворожительная улыбка... И мы на него смотрели не только как на нашего государя, но как на героя, победившего Наполеона...

---

...танцевал «польский» — имеется в виду полонез, бальный танец-шестие.

Шифр — знак отличия, вензель государыни, который получали институтки на выпуске.

...кончившей курс в Смольном монастыре — имеется в виду институт благородных девиц, женское привилегированное учебно-воспитательное заведение для дочерей дворян при Смольном монастыре в Санкт-Петербурге.

В наших семейных воспоминаниях личности Александра I и цесаревича Константина Павловича всегда были окружены каким-то сияющим ореолом.

### III

Помню жаркий летний день. С синего безоблачного неба солнце жжет и палит. Ветерок не поддувает. Птички притихли... Тарасьева с чулком в руках сидит в тени за воротами, на лавочке, и не столько вяжет чулок, сколько дремлет. Рыжий кудластый Милонко лежит у ее ног, высунув язык и изнывая от жары. Я играю на лужайке перед домом.

Вдруг за мостом, на Соборной площади поднимается пыль, слышится звяканье цепей. Арестанты возвращаются с работ в острог. Я бегу к матери.

— Мама, мама! «Несчастненькие» идут...— кричу я и мигом возвращаюсь с деньгами за ворота.

Весь раскрасневшийся, запыхавшись, я выхожу на дорогу. Колодники идут нестройной толпой в сопровождении нескольких вооруженных солдат. Бритые, в серых шапках, в серых халатах, с цепями на ногах, уныло тащатся они под солнечным зноем по опустелой, безмолвной улице, поднимая пыль. И в тихом, дремотном воздухе летнего полудня слышится лишь их тяжелый, мерный шаг и звяканье цепей. Худые, бледные, глаза впалые... Я подаю им деньги. Они протягивают руки, берут медные монетки, мрачно смотрят на меня и молча проходят мимо.

Я уж давно знаком с «несчастненькими». Острог (двухэтажное белое каменное здание) — против нашего дома, через дорогу. Я часто вижу из-за железных оконных решеток их бледные, сумрачные лица. Я слышал об этих людях страшные истории, но эти истории не запугали меня, может быть, потому, что я часто вблизи видал острожников и не

---

*Константин Павлович (1779—1831) — брат императора Александра I, наследник престола (цесаревич).*



находил в них ничего ужасного: люди — как и все люди, только иначе одетые, сидящие взаперти, в цепях, — и именно «несчастные», как зовет их наш народ. Мне было очень жаль их, и по поводу их у меня однажды с няней вышел довольно оживленный разговор.

— Знаешь что, няня? — заговорил я, сидя с ней на лавочке за воротами и смотря на бледные лица, мелькавшие в окнах тюрьмы. — Я, когда вырасту большой, всех их выпущу!

— Это кого же, батюшка? — равнодушно переспросила Тарасьева, углубившись в свое вязанье и не зная, о ком шла речь.

— А вот — «несчастненьких»! — пояснил я, указав рукой на решетчатые окна, темневшие против нас.

— Что ты, что ты, господь с тобой! — заворчала няня. — Да разве можно пущать на волю арестантов! Да кто ж тебе позволит, баловнику?

Последний довод поколебал было мою решимость, на мгновенье я опешил.

— А вот что, няня! — спохватился я. — Я буду сильный-сильный... решетки выломаю и выпущу всех!

— А тебя солдат застрелит! — допекала меня няня.

— А я... я сам его застрелю! — чуть не со слезами говорил я, чувствуя, что дело мое плохо и освобождение узников не выгорает.

— Солдата-то застрелишь? Охо-хо-хо! — насмешливо покачивая головой, сказала няня. — Ну нет, батюшка! Солдат-то всякого застрелит... С ним ничего не поделаешь, с солдатом-то!

Нянька говорила таким внушительным, уверенным тоном, что солдат, расхаживавший у острога с ружьем на плече, в моем детском воображении принимал вид какого-то всемогущего сказочного чудовища. Но тут, как я сам замечал, выходила какая-то путаница. Няня изображала солдата каким-то непреодолимым страшилищем, а я между тем видел, как те же самые солдаты вытягивались в струнку перед моим отцом, а в Новый год являлись к нам на двор с

поздравлением и под окнами залы усердно били в барабан. За это им с Васильем высылали денег. Оказывалось, что Тарасьева как будто бы ошибалась... Солдат, как и черт, оказывался вовсе не так страшен, как его малюют.

Рядом с тюрьмой стояла старая, развесистая черемуха. Однажды летом, в какой-то праздник, когда ягоды уже поспели, это почтенное дерево было отдано уличным мальчишкам на разграбление. В сильное волнение пришло все малолетнее население нашего городка. Толпа мальчишек собралась перед тюрьмой и стала брать приступом черемуху. Крики, шум, гам... настоящий праздник. Мальчишки взбирались на дерево, и, ловко цепляясь руками и ногами за сучья, лазали по ветвям, и, покачиваясь на них, выглядывали из-за листьев, показывая публике, собравшейся перед деревом, свои веселые, смеющиеся лица... Точь-в-точь мартышки! Недоставало им только длинных, цепких хвостов.

Мальчишки обрывали веточки с ягодами и бросали их на землю, и вскоре под деревом оказался громадный ворох ягод. И я ел эти ягоды, и они тогда мне показались очень вкусны... В темневших окнах тюрьмы были видны бледные лица, прилипшие к железным решеткам. Мне думалось, что острожники завидовали мальчишкам и им тоже хотелось отведать ягодок...

Помню, какая-то девочка, вероятно с жалостливой душой, набрав полон подол ягод, взяла горсть веточек и бросила их острожникам в окно. Часовой погрозил ей ружьем...

#### IV

В уездных городах в то время солдаты, состоявшие на службе, назывались инвалидной командой (горожане за просто звали их «инвалидными крысами»), и подчинялась эта команда инвалидному начальнику. В ту пору у нас в Никольске инвалидным начальником был Шипунов, офицер среднего роста, довольно полный, с черными длинными усищами.

Однажды на Святках в доме нашего инвалидного начальника солдаты давали театральное представление. Я с матерью и с отцом был в числе почетных гостей и сидел в первом ряду стульев (и всех-то рядов, кажется, было два или три, и половина публики помещалась стоя). До той поры я понятия не имел о спектаклях, и поэтому теперь, в ожидании начала представления, я не знал покоя, лихорадочная дрожь пробегала по мне, и сердце сильно билось...

Помню, дело началось с того, что по зале передо мной долго расхаживал, размахивая руками, какой-то человек в довольно странной одежде — в плохонькой короне, в какой-то длинной красной хламиде с белой опушкой и в смазных сапогах. Как вскоре оказалось, это был не кто иной, как «нечестивый император Максимилиан». Из дальнейшего хода дел выяснилось, что этот господин был яростный гонитель христиан, и до очевидности было ясно, что он — ужасно злой, потому что, ходя по зале, он поминутно тряс головой и сердито размахивал руками. У этого злого царя был сын Адольф, прекрасный, милый молодой человек, добрый и кроткий, по-видимому страдавший насморком, фыркавший поминутно и украдкой от зрителей проводивший под носом рукой.

И вдруг Адольф, этот милый юноша, несмотря на страшные отцовские угрозы, принял христианство. Отец узнал об его поступке и, понятно, стал зверь зверем. Сидит на троне, кричит благим матом, кричит, ревет,— ну, просто землю дерет,— да вдруг как рывкнет на всю залу:

— Приведите,— говорит,— ко мне моего непокорного сына Адольфа!

---

*Святки* — 12 дней между Рождеством и Крещением (7—19 января по новому стилю), время гаданий, ряженья, песен и плясок.

*Смазные сапоги* — сапоги, смазанные дегтем или ворванью (жиром морских животных).

...«нечестивый император Максимилиан». — Засодимский описывает представление по одной из самых популярных народных драм «Царь Максимилиан».

Я так и обмер... Перед тем я посмеивался над его яростью, а тут, вижу, и не в шутку дела стали принимать весьма неблагоприятный оборот... Какие-то архаровцы с дрекольем и в остроконечных шапках притащили несчастного сына Адольфа. Ах, как я боялся за него в те минуты! А он стоит, бедняга... на руках и на ногах цепи гремят, а архаровцы его тискают и толкают то в ту, то в другую сторону. А он все терпит, болтается между этими архаровцами, но не сдается, не покоряется, голову держит высоко, да только фыркает (должно быть, насморк сильно донимал его). Тут отец напустился на него:

— Как ты,— говорит,— мог против моей воли идти, непокорный сын Адольф?

А Адольф тихонько что-то сказал ему, утер нос, и вдруг все цепи с него спали, а царь: «Ох-ох!» — и мертвый повалился с трона, а его картонная корона, украшенная сусальным золотом и блестками, покатилась к моим ногам. Я от всего сердца порадовался за непокорного, но, тем не менее, добродетельного сына Адольфа...

После того солдаты (зачем-то, не знаю) схватили ружья и начали стрелять в потолок холостыми зарядами и трижды прокричали «ура!» Может быть, и солдаты были рады тому, что Адольф так счастливо отделался от угрожавшей ему серьезной опасности... В комнате, помню, сильно припахивало серою и сапогами, смазанными ворванью. В заключение спектакля солдаты сели на пол среди комнаты, скрестив ноги, и, покачиваясь из стороны в сторону и в такт хлопая в ладони, запели:

Вниз по матушке по Волге,  
По широкому раздолью...

Все это было очень мило и забавно, и публика осталась вполне довольна представлением...

---

Архаровцы — буяны, озорники.

Помню еще один морозный зимний вечер. Днем по обеим сторонам солнца были видны багровые столбы. К вечеру мороз стал крепчать. Стены нашего дома потрескивали. Меня, против обыкновения, не уложили спать в 9 часов.

Около десяти часов (может быть, и позже) мать подвела меня к окну, поставила на стул и, указывая на месяц, высоко стоявший в небе, сказала мне:

— Смотри, голубчик, туда!

И я, закинув голову, внимательно посмотрел вверх... Полная, бледная луна спокойно сияла с темно-голубых небес, усеянных звездами. А на земле, как я заметил, тревога и волнение. На Соборной площади, за мостом, и на улице, перед окнами нашего дома, толпился народ.

Все смотрели на небо, указывали рукой на месяц, о чем-то переговаривались. Тарасьева, стоявшая за моим стулом, вздыхая, проговорила:

— О Господи, спаси и помилуй!

Всеобщее волнение сообщилось и мне.

— Мама! Что же такое будет? — спросил я с тревогой, оборачиваясь к ней.

— Смотри, смотри! Вот сейчас месяц затмится и делается темно на земле! — говорила мне мать. — Смотри! Вот уж начинается...

В это время луна, такая светлая, блестящая, вдруг стала заволакиваться чем-то темным... Моей детской фантазии тогда казалось, что как будто какое-то черное косматое чудовище навалилось на луну и все более и более закрывало ее собой. Наконец, луна совсем скрылась, и только один край ее светился каким-то странным желтоватым блеском. На земле стало заметно темнее. А Тарасьева чаще и громче прежнего начала вздыхать и нашептывать у меня над ухом:

— О Господи! Спаси и помилуй нас, грешных!

Мне стало страшно: страх заразителен, особенно страх перед таким неведомым небесным явлением. Я схватил мать за руку... Хотя мне и было жутко, но я не отходил от окна. Чего ж мне бояться, когда со мной мама!..

Люди, стоявшие перед нашими окнами, испуганно смотрели на потемневшее небо, как будто бы надеялись взглядом проникнуть в глубь небес и узнать о происходящем во мраке этих бесконечных, таинственных пространств.

Прошел час (может быть, и меньше), — луна снова появилась на небе. Народ разошелся... На опустелой площади только высилось белое здание собора, снова залитое серебристым лунным светом...

Няня увела меня спать.

## V

После матери и няньки в моих ранних детских воспоминаниях самым близким лицом является отец. Он был довольно красивый мужчина, высокого роста, с большим открытым лбом, с тщательно всегда приглаженными усами и с волосами, зачесанными на висках по направлению ко лбу — по моде николаевского времени. Он был здоровый, сильный человек, ходил, высоко подняв голову, держался прямо, говорил властно, при случае умел казаться грозным, в дамском обществе был всегда утонченно вежлив и любезен.

Я верю, что он любил мою мать — так же, как и меня, но по-своему, молча, сдержанно: он не умел выражать свою любовь ласками и нежными словами. Он не был ко мне суров, никогда не наказывал меня, но был как-то холоден, часто недоволен, брюзглив, ворчал на меня — и поэтому при нем я всегда чувствовал себя как-то неловко, стеснялся, постоянно ожидая каких-нибудь замечаний или выговора. Мать обыкновенно служила посредницей между мною и отцом: понадобится ли мне бумага, карандаш, какая-нибудь книга, — за всем я обращался к матери.

---

*Николаевское время* — время правления императора Николая I Павловича (1825—1855).

— Отчего же ты сам не попросишь у него? — спросит она, бывало, иной раз.

А я молчу и только с умоляющим видом посматриваю на нее — и кончалось тем, что она доставала у отца все, что мне было нужно... Отцовский кабинет, с его большим письменным столом, уставленным всякими статуэтками и замысловатыми пресс-папье, с громадным книжным шкапом орехового дерева с наполовину стеклянными дверцами, представлялся для меня каким-то заманчивым и в то же время страшным, таинственным святилищем, куда я проникал счетом лишь несколько раз в год, и то почти всегда не иначе как с матерью.

Не только за меня мать служила предстательницей у отца, но и все, кому нужно было попросить о чем-нибудь отца, разжалобить его, заступиться за кого-нибудь перед ним, обращались к моей матери, и она по своей ангельской доброте не умела никому отказывать, хотя бы проситель был самый последний из людей. Своей спокойной, ровной, решительной поступью шла она в кабинет и ни разу, кажется, не возвращалась без успеха.

— Мы должны чувствовать себя счастливыми, когда можем сделать добро другим или простить зло, причиненное нам...

Так говорила она.

Впоследствии, когда я уже кое-чему поучился и познакомился с историей, она напоминала мне верующих первых времен христианства — тех времен, когда последователи распятого Христа принимали за Его учения гонения и муки. Родись моя мать в то время, и она, вероятно, была бы горячей проповедницей братской любви и милосердия и сделалась бы мученицей: бросили бы ее на съедение хищным зверям на арене какого-нибудь цирка или палач докрасна

---

*Пресс-папье* — тяжелый предмет для придавливания бумаг на письменном столе.

*Предстательница* — заступница.

раскаленными клещами истерзал бы ее на потеху издыхавшего языческого мира...

В спорах и столкновениях с матерью (что, впрочем, случалось очень редко) отец обыкновенно стушевывался, смирялся под ее ясным, чистым взглядом и делался кроток как ягненок. Она никогда не возвышала голоса, но говорила тихо, спокойным, решительным тоном. Отец порой волновался, бунтовал, бурлил, слышались отрывочные возгласы:

— Да уж с тобой не сговоришь!.. Где ж сговорить с тобой!

И дело кончалось тем, что отец ворчал что-то себе под нос и, насупившись, удалялся в свое логово — в кабинет. Я удивлялся той власти, тому поистине железному влиянию, какое имела моя мать — это маленькое, нежное, хрупкое создание — над таким сильным, мощным человеком, каким всегда казался мне и каким в действительности был отец. Уже гораздо позже я понял, что в моей матери была большая нравственная сила, и эта сила покоряла в лице моего отца мощь физическую.

Если бы я жил один с отцом, то, может быть, и побаивался бы его беспокойного, ворчливого нрава, но живя с матерью, я чувствовал себя в безопасности; я не только не боялся отца, но даже любил его, хотя не в такой мере и не так, как мать.

Благотворное влияние матери на всем сказывалось у нас в доме. Не было у нас, например, ни шума, ни крика, ни битья, ни колотушек и вообще никаких притеснений прислуги. Атмосфера благостного спокойствия и мира царствовала в нашем доме, и ворчанье отца не могло нарушить ее. Каждый бедняк, нуждавшийся в деньгах или куске хлеба, каждый несчастный, искавший совета или утешения, всякий больной, убогий, странник — находили доступ к нам в дом.

И даже гораздо позже — уже после смерти матери — ее влияние сказывалось в нашем семействе, словно бы она



невидимо была еще с нами. Это потому, что — как сказал один поэт —

Не всякий жив, кто дышит,  
Но и не всякий мертв в гробу.

Влияние доброго, честного человека сказывается и после того, как он сойдет в могилу, и в то время как тело его тлеет в земле, его светлые чувства и мысли продолжают жить в мире, находя себе отклик в каждой доброй душе...

## VI

Из числа странных личностей, посещавших наш дом, я особенно хорошо помню Илюшу.

Это был мужчина средних лет, небольшого роста, худой, костлявый как скелет, с желтым, изможденным лицом, с темными, низко стриженными волосами и с темными, бойкими и пронизательными глазками, сверкавшими, как угольки, из-под черных густых бровей. Лоб у него был узкий, и, вероятно, в голове у него было очень немного мыслей, но этих немногих мыслей он держался горячо и упорно. С виду это было кроткое, незлобивое существо, но он был страшно упрям и настойчив, был жесток к себе, мог быть жестоким и к другим — во имя спасенья людей от греха. Когда я припоминаю его, мне думается, что в Средние века он, пожалуй, стал бы сжигать людей на кострах за то, что они думают не так, как он, и не хотят по его указанию спасать своих душ. А может быть, и то, что его самого сожгли бы на костре как еретика, и он, задыхаясь в пламени, громко славословил бы Бога...

Зиму и лето он ходил в черной кожаной одежде, подпоясанной кожаным ремнем. При его появлении у нас в комнатах всегда пахло кожей.

Илюша, сколько мне помнится, родом был крестьянин Устюжского уезда и в течение многих, многих лет только и

делал, что постоянно ходил из места в место по нашему северному краю, собирая пожертвования на постройку церкви у себя на родине, в каком-то глухом лесном уголке. Более худого, телесно изнуренного человека я никогда не видал. Только в темных глазах его горел огонь. Илюша вовсе не думал о себе и о житейских удобствах... Вся сила души его ушла на то дело, которое он считал праведным и великим делом. Он, как дядюшка Влас в стихотворении Некрасова, ходил и в зимушку студеную, ходил и в летние жары,

Вызывая Русь крещеную  
На посильные дары,—

ходил по городам, по селам, по деревням, по большим дорогам, по проселкам, переходил болота и лесные трущобы — один-одинешенек, опираясь на свой деревянный посох. Этот посох, сухой и легкий, от долгого употребления сделался так гладок и блестящ, как будто был полированный.

Движенья Илюши были порывисты, ему как будто не сиделось на месте, говорил он быстро, и в речи его часто слышалось скороговоркой: «Ну, вот и слава богу, и слава богу!»

Он бывал у нас раз или два в год. Его обыкновенно поили чаем, угощали и покоили как дорогого гостя. Он рассказывал о своих странствованиях, о разных путевых приключениях, о том, много ли насбирал денег и много ли еще не хватает. Даже отец мой, вообще недолголюбивавший странников и странниц, благоволил к Илюше и, бывало, с улыбкой спрашивал его:

— Ну что? Выстроил свою церковь?

А Илюша скороговоркой, тоже с улыбкой, отвечал ему:

— Нет еще, батюшка! Не сподобил Бог. Нет еще... Бегаю, бегаю!

---

...Вызывая Русь крещеную На посильные дары — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас» (1855).

— Ну-ну, бегай! — говорил отец.

Я любил слушать его рассказы о дальних странствованиях и обыкновенно все время не отходил от него. Илюша иногда, разговаривая, клал мне руку на плечо, а иногда как-то нервно-порывисто гладил меня по голове, приговаривая:

— Умница, умница!..

Помню, также изредка являлся к нам в дом один несчастный немой — крестьянин, кажется, нашего Никольского уезда. Он был еще человек не старый, высокого роста, блондин, с белыми, льняными волосами и с крупными чертами лица.

Судьба его была очень печальна. Однажды, уже давно, когда он ехал куда-то с деньгами, братья напали на него в лесу и ограбили, а для того чтобы он не донес на них, отрезали ему язык. Он мог только жалобно мычать и объяснялся знаками. В его широко раскрытых серых глазах застыл испуг, а на лице выражались следы душевных страданий. Когда в первый раз мне рассказывали ужасную историю о том, как родные братья жестоко изувечили его из-за каких-то рублей, я, помню, горько плакал. Этот несчастный немой дня по два и по три жывал у нас...

В большие праздники, а также в дни именин кого-нибудь из моих семей, в зале у нас появлялся некто Васильев, один из ссыльных, проживавших в Никольске. Он сильно попивал, но в тех экстренных случаях, о каких я теперь говорю, он являлся трезвым, одетым в потертое, но старательно вычищенное черное платье и с широким черным шелковым галстуком на шее. Его темные, с проседью, блестящие волосы были гладко причесаны, густые черные усы свешивались книзу. Его желтовато-бледное одутловатое лицо, с сизым кончиком носа и с покрасневшими веками, по своей неподвижности походило на маску.

Обыкновенно, сделав по зале несколько шагов, он важно расшаркивался — как-то по-военному, постукивая каблуком

о каблук, как будто бы сапоги его были со шпорами. Затем он торжественно вынимал из бокового кармана бумагу, медлительно развертывал ее и, откашлявшись, принимался читать стихотворение своего собственного сочинения (чаще всего акrostих). Эти стихи нашего пьяненького, несчастного Васильева, право, были ничуть не хуже тех, какие пишутся нынешними поэтами в трезвом виде и печатаются в наших журналах и газетах. А Васильев, бедняга, конечно, даже и не мечтал видеть в печати свои стихотворения...

Дочитав стихотворение, он с поклоном вручал его, кому следовало по принадлежности. Ему предлагали вина, закуски и, само собой, давали денег. По уходе его мать, с сожалением покачивая головой, говорила:

— Вот и неглупый, способный человек — и добрый... а пропадает!

Матушка моя жалела всех, без изъятия, кто несчастлив... Вот отличительная черта ее характера. И в самом отъявленном злодее и разбойнике, я уверен, она сумела бы найти искру добра...

В числе ссыльных был у нас еще один — Федоровский, человек, как говорили, довольно образованный, из хорошего семейства, сосланный в Никольск за свое безобразное поведение. Во всю мою жизнь я никого так не боялся, как этого Федоровского. Достаточно было сказать «Федоровский идет!» для того, чтобы я моментально убежал со двора домой.

Без шапки, растрепанный, в грязных лохмотьях, вечно пьяный, шатался он по улицам с дикими криками и бранью, наводя ужас на мирных жителей Никольска. Он мне представлялся каким-то хищным зверем: бросится на человека и загрызет. Его дикие крики, рычанье и страшные ругательства порой даже тревожили мой сон по ночам... Вот с тех-то пор я и почувствовал непреодолимое отвращение к пьяному человеку, и когда при мне называли кого-нибудь

---

*Акrostих* — стихотворение, начальные буквы строк которого образуют какое-либо слово или фразу.

пьяницей, то мне этот человек представлялся не иначе, как в образе растрепанного, полуодетого Федоровского, с рычанием и ругательствами шатающегося по улицам — на страх детям и на срам и на потеху взрослым...

## VII

Помню также появление у нас в доме в зимнюю пору коробейников. У нас их звали разносчиками. Разносчик был всегда желанный гость, и приход его был для меня великим праздником — днем сильных душевных волнений и тревог. Короб вносился в залу, и товары раскладывались на большом круглом столе. По комнате распространялся приятный запах курительных бумажек, благовонного мыла, духов.

Мать, няня моя Тарасьева, кое-кто из женской прислуги занимались рассматриваньем материй, кружев, лент, платков, тесемок, пуговиц, наперстков, ножниц и тому подобных предметов. Отец интересовался галантерейными вещами: перстнями, табакерками, серьгами, кольцами... А я, не помня себя от восторга, разглядывал книги и картины. Тут были картины — и черные (гравюры), и раскрашенные, книжки с картинками, в богатых переплетах с рисунками и без переплетов.

Разносчик вынимал из своего короба такую массу всяких занимательных предметов, что его лубяной короб начинал мне казаться каким-то неистощимым сказочным вместилищем. И, смотря на разносчика, осторожно вынимавшего аккуратно уложенные книги и картины, я с тайной завистью думал: «Как должен быть счастлив этот человек, обладающий такими сокровищами! И есть ли на свете, — думал я, — такой богач, который мог бы скупить все эти прелести?» В то время мне казалось: трудно представить, чтобы нашелся в мире такой богач...

---

*Курительная бумажка* — пропитанный ароматическими веществами листок бумаги, предназначенный для окуривания.

Положение мое становилось безвыходным и почти мучительным, когда отец или мать предлагали мне, наконец, выбрать три-четыре книги и несколько картин. Тут глаза мои окончательно разбегались, и на меня нападала какая-то оторопь. «Выбрать!» — легко сказать... А как тут выберешь! И та книга хороша, и другая хороша, а вон те, кажется, еще занимательнее... В той — описание путешествия в дикие страны, в той — рассказы о зверях и раскрашенные картинки, в этой — «Сказки у камина доброй бабушки» и тоже с рисунками... А картины!.. Картины решительно были все хороши. Там по глухой лесной дороге стая волков гонится за проезжающими, там корабль тонет в бурных морских волнах, там посреди Кавказских гор генерал Ермолов разбивает черкесов, тут мчится лихая тройка и за ней летит пыль столбом, тут охотники гонятся за оленем, там арабы охотятся на львов... Ах, боже мой! Как мне трудно было выбирать!

По уходе разносчика, любуясь на свои покупки, я долго еще вспоминал о том, что осталось в коробе, и через несколько дней мне иногда начинало казаться, что я выбрал из книг и из картин далеко не лучшее... Да! Много волнений и тревог было пережито в те дни...

Чтение и рисование очень рано сделались моими любимыми занятиями. Мать научила меня читать и писать, а потом, когда мне было уже 6 лет, переехала к нам на житье тетка, Н. П. Засецкая, та самая, с которою танцевал «польский» император Александр Благословенный. Она поселилась наверху, рядом с моей детской, в двух комнатах, из которых одна служила классной. Тут уж пошло ученье не в шутку. Стены классной увешались ландкартами. Стали меня учить и географии, и математике, и немного

---

*Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — военачальник и государственный деятель; в 1816—1827 гг. командир Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии.*

*Ландкарта — географическая карта.*

естественной истории, и языкам. В 8 лет я уже порядочно знал, кроме родного языка, французский и немецкий.

Для того чтобы приохотить меня к изучению языка, тетка брала какую-то французскую книгу в сером кожаном переплете с очень интересными повестями и начинала мне переводить какой-нибудь занимательный рассказ. Переводила она прекрасно, как будто прямо читала по-русски. Дойдя до половины рассказа и остановившись на самом интересном месте, тетка откладывала книгу в сторону и говорила:

— Ну, дальше я читать не стану. Хочешь, так читай сам! Вот тебе словарь!..

И я поневоле уже сам с помощью словаря дочитывал повесть.

Тетка в то время была женщиной средних лет, довольно высокого роста, худощавая, с желтовато-смуглым лицом, с темными глазками и с черными смоляными волосами. С виду она была строга и сурова, но в душе очень добрая. Она жила у нас года три и после того уехала в Вологду. Она на всю жизнь осталась девицей, а под старость ушла в Горицкий монастырь (Новгородской губернии), постриглась в монахини и умерла там несколько лет тому назад.

И тетка, как и все окружавшие, любила меня. Детство мое было светло и счастливо. Там все — яркий солнечный свет или тихое сияние луны, ясное небо, цветы, улыбки и ласки нежные... И теперь, забегая в прошлое воспоминанием, я спрашиваю себя: «И за что все так любили меня? За что был я так счастлив?..»

Вскоре после отъезда тетки, когда мне минуло 9 лет, в нашей семейной жизни произошли большие перемены. Отец мой оставил службу и с матерью, со всеми чадами и домочадцами, со всем скарбом переселился из Никольска в усадьбу.

---

*Горицкий монастырь* — женский монастырь близ Кирилло-Белозерского монастыря (по административному делению XIX в. относился к Новгородской губернии).

## Часть вторая

Дайте мне оглянуться на прошедшее; оно когда-то струилось рекой, а теперь от этой реки осталось только высохшее русло, да и то заросло травой. Дайте мне посмотреть: не найду ли я в этом русле давнишних следов...

Ч. Диккенс

### I

Помню «Азбуку», тоненькую книгу в голубой обложке. Помню крупные черные буквы и под ними рисунки; под буквой Д, например, был изображен *дровосек*, работающий в лесу; под буквой С — *серп*, под У — *удочка* и так далее. За азбукой шли склады: *бла, бле, бли* и так далее. За складами следовали молитвы: «Отче наш», «Богородице» и другие. Затем шли отрывки из русской истории с портретами государей, далее несколько басен и стихотворений — и книга заканчивалась таблицей умножения. Помню и указку — сама мать смастерила мне ее из лучинки.

Я очень скоро справился с азбукой, может быть потому, что мне самому хотелось поскорее читать. Я любил рассматривать картинки в книгах, но для того, чтобы понимать их смысл, мне нужно было уметь читать. И я быстро научился читать, и чтение сделалось с малых лет моим любимым занятием. Я читал много и без разбора, что попадалось под руку.

Вот первые прочитанные мною книги: «Евангелие и Деяния апостолов», «Жизнеописание великих мужей древности» (очень старое издание на толстой, шершавой бумаге), расска-



зы о животных (с рисунками,— заглавия не помню), сказки («Синяя борода», «Красная шапочка», «Кот в сапогах» и др.), «Рассказы у камина доброй бабушки», «Конек-Горбун» Ершова (знал почти наизусть), сочинения Державина, Пушкина, описание путешествия по диким странам (кажется, по Африке и Австралии), описание странствования по какой-то великой американской реке, «История Наполеона», «Робинзон Крузо».

Затем следовала масса книг самого разнообразного содержания (впрочем, более всего романы и повести), как например: «Тысяча и одна ночь», «Таинственный монах» Зотова, «Падение Новгорода», «Стригольники», «Ведьма за Днепром», «Юрий Милославский» Загоскина, «Рославлев» его же, «Александр Македонский», «История Петра I» (с рисунками), «Мартин Найденыш» Евгения Сю и его же «Вечный Жид», «Тарантас» графа Соллогуба (с рисунками), «Пертская красна девица» В. Скотта, «Опасный замок» его же, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Тарас Бульба» (начал читать «Мертвые души», но бросил, показались скучны), «Библиотека для чтения» Сеньковского. Остальных не помню, но их было еще немало.

Державин, помню, мне показался сух и напыщен, и лишь немногие из его произведений нравились мне своим торжественным, звучным стихом. Зато Пушкин сразу же меня очаровал и сделался моим любимцем. Конечно, я и в Пушкине еще многого не понимал, но все-таки Пушкин был проще, естественнее и ближе ко мне, чем важный певец Фелицы. Я зачитывался «Капитанской дочкой» и «Повестями Белкина», а из стихотворений многие знал наизусть, как например: «Жених», «Утопленник», «Бесы», «Сказка о рыбаке и рыбке», «О царе Салтане» и другие.

Я читал и днем в свободное время, читал и по вечерам (если не занимался рисованием), читал и рано поутру, под-

---

*Певец Фелицы* — Г. Р. Державин, автор нескольких од, прославлявших Екатерину II в сказочном образе царевны Фелицы.

нимаясь с огнем. Скажу без преувеличения, что я до 10 лет прочитал столько книг по истории и изящной словесности, сколько иной юноша не прочтает и до 16-летнего возраста. Я, разумеется, не хочу сказать, что все прочитанные мною книги в равной мере были полезны и способствовали моему умственному и нравственному развитию. Тут были и хорошие и дурные книги, но здоровый детский организм, росший в здоровой атмосфере при благоприятных условиях, на глазах нежно любящей и любимой матери, все перемалывал — хорошее и дурное — и в итоге получалось добро. Даже такие книги, которые теперь считаются плохими с педагогической точки зрения и, может быть, ныне уже вовсе не читаются у нас, как например роман А. Дюма «Граф Монте-Кристо» или «Вечный Жид» Евгения Сю, для меня оказывались полезными. Они заставляли задумываться над людскою несправедливостью, жалеть несчастных, становиться на сторону угнетенных, восхищаться благородными подвигами самоотвержения — одним словом, развивали гуманные чувства.

Я не был хворым, болезненным ребенком, но был очень нежного сложения и с не особенно большим запасом физических сил, и поэтому-то все игры, требующие мускульной силы, проворства и ловкости, нимало не привлекали меня; поэтому-то я и зарывался в книги, создавал свой особенный мир и жил в нем и чувствовал себя отлично.

В отцовском кабинете стоял большой книжный шкаф из орехового дерева и с наполовину стеклянными дверцами. Я смотрел на этот шкаф как на некое святилище.

Еще задолго до того времени, когда я стал читать книги, стоявшие в этом шкапу, я уже близко познакомился с их внешним видом. Я брал стул, взбирался на него и читал заглавия, разглядывал переплеты. По цвету переплета и по формату книги — еще задолго до моего личного знакомства с книгами — я уже знал, где стоит «Граф Монте-Кристо»,

---

*Изящная словесность* — художественная литература.

где притаился несчастный «Мартин Найденыш». Пушкин, помню, был в темно-зеленом переплете, «Вечный Жид» — в черном, «Пикильо Аллиага» — в красноватом, «Тарантас» Соллогуба — в пестром, «Тереза Дюнойе» — в розовом, «Опасный замок» — в синеvато-сером и так далее.

И как я любил эти книги! Это были мои неизменные друзья... Правда, некоторые из этих друзей сильно разжигали мое детское воображение — я мечтал над ними, и бог весть куда уносили меня мечты... В мечтательности, может быть, для меня оказывался вред, но как трудно, оглядываясь на прошлое, провести черту между тем, что было вредно и полезно.

Прямым следствием чтения было то, что мне и самому захотелось сочинять. Девяти лет я написал повесть — заглавие ее не помню. Начиналась же она так: «Была темная ночь. Ветер уныло завывал, и шел дождь...» Далее описывалась печальная судьба одного бесприютного сироты, всеми отверженного. Отец его был казнен за какое-то страшное преступление, мать с горя сошла с ума, сестра — немного постарше его — умерла. Все родные и знакомые отшатывались от него, все гнали его от порогов своих домов. И этот сирота, бродивший в мире без пристанища, пришел, наконец, к какому-то великолепному храму, прилег у входа и там умер с холода и с голода. В повести обличалось людское жестокосердие.

Когда мне было 11 лет, я написал пьесу, полную ужасов, убийств, самоубийств, и со своими сверстниками, деревенскими ребятишками, торжественно разыграл ее в нашей зале. Помню, во время представления произошел казус, весьма огорчивший автора пьесы. Одно из действующих лиц было убито, и мы должны были своевременно унести его труп со сцены, но второпях совершенно позабыли об убитом. Этому несчастному надоело лежать неподвижно, он вдруг вскочил и убежал. Публика расхохоталась. Автору было очень досадно, что зрители развеселились именно в тот момент, когда, по его предположениям, они должны

были плакать при виде бедствий, обрушившихся на героя пьесы.

В гимназии я всегда шел хорошо по русскому языку, а в старших классах, когда нам стали задавать сочинения на известные темы, мои сочинения ставились нашим почтенным учителем словесности, Н. П. Левицким, в пример прочим за ясность изложения и правильность языка. Без сомнения, в этом случае также сказалось влияние моей не по летам громадной начитанности.

## II

У моей матери в 400 верстах от Никольска была усадьба. Эта усадьба находилась при большой так называемой Архангельской дороге и называлась Миролубово (Токаренец тож). Мать на лето уезжала в Миролубово присматривать за полевыми работами и меня обыкновенно брала с собой. Я был любимцем матери и, кстати сказать, походил на нее лицом и складом характера, только она была несравненно красивее и лучше меня. Сестра Лиза, любимица отца, оставалась с ним на лето в Никольске.

Эти весенние поездки в деревню были для меня полны невыразимой прелести и очарования. Я ждал их как праздника. Лишь только в воздухе начинало веять весной и снег таял на солнце, я уже принимался за разговоры о том, как я с милой мамой поеду в деревню. Конечно, для полноты счастья нужно было бы прихватить с собой и мою старую няню Тарасьевну, но горе в том, что в нашем тарантасе было место только для двоих.

Дорогу я помню смутно... По сторонам я видел поля, луга, но чаще дорога шла лесом, и нас обдавало лесными

---

*Тож* — иначе, другими словами.

*Тарантас* — дорожная четырехколесная повозка на длинных продольных брусках.

ароматами — в особенности рано поутру или поздно вечером. Помню, приходилось проезжать одним дремучим лесом. Лес был казенный, «строевой», и лесная стража тщательно берегла его. Мне говорили, что из этого леса деревья идут на мачты для кораблей. Помню, вьется узенькая дорога; по ту и по другую сторону — высокий-высокий лес, по низу густо заросший кустарником. На этой дороге всегда сумрак, даже и в светлый летний полдень — тень и прохлада, и для того, чтобы увидеть небо, надо было загнуть голову — и там, высоко, из-за сходящихся вершин деревьев узкой полосой светлело небо... Этот лес, как я слышал, в последние годы сильно пострадал от пожаров.

Ночью, бывало, проезжаем через деревню. Майские ночи у нас светлы, все видно как днем. Избы тянутся одна за другой и так похожи между собой, что я, бывало, удивлялся, каким образом люди отличают одну избу от другой и как они, вместо своей, не заходят в чужую избу. У окон вырезные, ярко раскрашенные ставеньки, на крышах черные, закоптелые корзиночные трубы. Обдает теплом, запахом жилья... Колокольчик звенит, заливается, и звон его в ночном безмолвии гулко отдается посреди строений. Ни в одной избе не видать огня, нигде ни души живой — все тихо. И мама говорит:

— Нароботались за день, сердечные... устали, спят!

Собаки лают спросонок и скоро отстают... За деревней вдоль дороги видны маленькие строения без окон, с небольшими, наглухо запертыми дверями и с низко нависшими крышами. Это — амбарушки... Далее — поля; но недолго тянутся поля, за ними опять начинается лес...

Ночь. Мать, с побледневшим от усталости лицом, тихо дремлет, закутавшись в свой большой белый платок и прислонившись спиной к подушке. Я долго смотрю на лошадей, на дорогу, на мелькающую лесную глушь; но и меня, наконец, клонит ко сну, я припадаю к плечу матери и начинаю дремать. Я дышу все тяжелее и тяжелее; однообразный звон колокольчика становится как будто все дальше и дальше;

во всем теле чувствуется слабость, голова кружится, земля уходит у меня из-под ног, и я лечу, лечу куда-то, в какие-то бездны... Через полчаса, или через час, а может быть и через 10 или 15 минут, при первом сильном толчке я просыпаюсь, раскрываю глаза...

Голова моя уже скатилась к матери на колени, и мать во сне придерживает меня одной рукой. Я не шевелюсь и лежу с раскрытыми глазами. Я смотрю на мать, на ее милое лицо, чувствую на своем плече ее руку — и мне так хорошо. Ямщик покачивается на облучке; лошади бегут легкой рысью по знакомой им дороге; колокольчик звенит, и его «динь-динь-динь» глухо отдается в чаще леса. Лесная глушь так и напирает, так и надвигается на нас... Вверху из-за деревьев сквозит беззвездное, голубое ночное небо. Меня укачивает, звон колокольчика вместо колыбельной песни убаюкивает меня, и я опять дремлю...

Иногда днем мы останавливались на станции, пили чай, закусывали. Станционный смотритель стоял у притолоки и рапортовал о чем-то маме. Она просила его садиться и поила чаем. В том случае, когда не было готовых лошадей и нам приходилось ждать (что, впрочем, случалось редко), мама отпускала меня с ребятами гулять в поле. И я с удовольствием бегал с мальчишками — приятно было размять ноги после долгого сиденья в экипаже. Мы рвали щавель и ели; я набирал для мамы полевых цветов.

Последнюю часть пути я проезжал уже впросонках — не то спал, не то бодрствовал. Дремота одолевала меня, но заснуть крепким, спокойным сном я не мог. И вижу, бывало, сквозь сон, как мы проезжаем через деревни, потом вижу черные, вспаханные поля, луга, изумрудом отливающие вдаль, а там опять — лесная глушь.

Ночью приезжаем на какую-то станцию. Заспанные ямщики ходят около тарантаса, смазывают колеса; в воздухе припахивает дегтем. Ямщики о чем-то спорят, перебраниваются...

— Ванькина очередь!

— Веди, ве́ди Чалого-то!

— Ушли в поле, ловят...

— Вишь, черти! Распустят коней, не соберешь!..

Наконец приводят лошадей, запрягают; ямщик стягивает хомут, упираясь в него ногой, колокольчик позвякивает... Ямщик взбирается на облучок, подбирает вожжи. Мама дает кому-то на чай.

— С Богом! Трогай! — говорит кто-то.

— Эх вы, соколики! — вскрикивает ямщик, и мы с места пускаемся в карьер.

Вижу сквозь сон — спускаемся под гору. Мама приподнимается в тарантасе и говорит ямщику:

— Тише! Тише!..

Но уж поздно: лошади понесли под гору.

— Тпру, тпру! — голосит ямщик, изо всей мочи натягивая вожжи, и откидывается назад, чуть не опрокидываясь к нам в тарантас. Мать испуганно обнимает меня и прижимает к себе... Мы мчимся все быстрее и быстрее, все ниже, ниже и вдруг с наскоку взлетаем на мост... Колеса гремят по мосту. Тут уж усталые лошади легкой рысцой поднимаются в гору. Ямщик поправляется на облучке и покрикивает на лошадей.

— Ну, слава богу! — шепчет мать и наклоняется ко мне.— Испугался?

— Нет, мама! — бормочу я, чувствуя себя в совершенной безопасности в ее объятиях.

— Спать хочешь, голубчик? Притомился... Вот скоро приедем! Дома отдохнешь...— ласково говорит она, глядя меня по щеке.— Ну, спи пока, подремли... Дорога теперь пойдет ровная, все лесом...

Много ли, мало ли проходит времени — не знаю. Чувствую, что меня обдает свежестью и приятная, легкая дрожь пробегает по телу. Вижу сквозь сон, что мы на берегу какой-то большой реки. На противоположной стороне видно селенье, белая церковь с высокой белой колокольней. Солнце выходит из-за дальних зеленых лесов, и в его ярких

красноватых лучах колокольный шпиль блестит и горит в ясном небе. Птички чирикают в кустах прибрежных ив... Ямщик сводит лошадей на паром: перевозчики тянут канат, переговариваются с ямщиком... Серебристые брызги летят с каната при поднимании его из воды...

И опять мы едем, едем... Лесу по дороге все меньше и меньше; чаще попадаются луга и поля. Проезжаем какой-то маленький пустынный городок и, наконец, к вечеру попадаем в наше Миролюбово.

Сонный брожу я по пустым комнатам. Меня обдаёт сыростью и запахом нежилого здания. Мама растворяет окна и балкон. Прислуживает какая-то деревенская девушка. Отпирают шкапы, комоды, вынимают посуду, белье... Я кое-как допиваю чашку чаю, целую маму и валюсь спать — и сплю как убитый до позднего часа утра.

### III

После зимнего городского сиденья в четырех стенах летняя жизнь в деревне со всей ее свободой, со всем ее притоком и раздольем казалась мне райски блаженной жизнью, длинным рядом светлых и радостных, безоблачных дней. С утра до вечера, если не было дождя, бегал я по полям и лугам и загорал страшно, загорал до того, что на шее у ворота рубашки оставалась лишь белая полоска, а кисти рук, казалось, были обтянуты светло-коричневыми перчатками. Я забегал домой только пообедать и напиться чаю.

Мать, бывало, вечером подходила к моей кровати, чтобы благословить меня на сон грядущий и дать мне прощальный поцелуй, брала меня за голову, отводила со лба мои растрепанные, сбившиеся волосы и, с улыбкой смотря на меня, говорила:

— У-у, какой же ты у меня стал цыганенок!.. Смотри, до чего ты загорел! — И она проводила рукой по моей загорелой шее, гладила и ласкала меня, а я припадал лицом к ласкавшей меня руке и целовал ее.



— Ох, мама, как я устал! — бормотал я.

— И спи, Бог с тобой! Дай я расстегну тебе ворот... Вот, так лучше... Спи, голубчик, спи спокойно! — тихо говорила она, поправляя на мне покрывало.

Глаза мои слипались, но я все-таки видел, что мать еще несколько минут стояла, наклонившись надо мной, что-то тихо шептала, вероятно молилась за меня, и с невыразимой нежностью смотрела она на своего цыганенка...

Мама, мама! Милая моя!.. Как любила она меня!..

Иногда в это время, на сон грядущий, у меня заходили с нею такого рода разговоры:

— Мама, ты любишь меня?

— Люблю, голубчик!

Я полулежал на постели, а мать, стоя на коленях у моей кровати, обнимала меня.

— А я... я вот как тебя люблю! — Я вскакивал на постели и, обхватив ее руками за шею, изо всей мочи обнимал ее, приговаривая: — Вот как! Вот как!..

— Ты у меня будешь добрый? Да? — целуя, спрашивала она меня.

— Да, мама! — В те минуты я был бы не в состоянии сказать ей «нет», и в ту пору мне хотелось всегда быть очень-очень добрым.

И, нежась, я спокойно засыпал на ее руках...

Почти от самого нашего дома поля на полдень шли ска- том. За полями начиналось болото. В этом болоте по канаве рос шиповник, и весной он весь был облит розовым цветом и благоухал нежным, тонким ароматом. Нигде, кажется, я не видал такой сочной, ярко-зеленой травы, как на нашем болоте. И самые разнообразные цветы пестрели в этой высокой ярко-зеленой траве.

Там и сям из-за кустов ив и из-за малорослых берез и ольх видны были тихие, стоячие воды, и на этих водах

посреди блестящих круглых листьев плавали белые цветы кувшинки.

На этом болоте жили дикие утки, бекасы, длинноносые кулики, стаи каких-то маленьких серых птичек с малиновой грудью, и нигде я не видал такой массы зеленых лягушек, как здесь... Лягушки взбирались на кочки или, высунув голову из воды, бессмысленно таращили на меня свои круглые глаза. А как они квакали! Боже ты мой!.. Не квакали, а ревели и ревом своим почти заглушали утинное крикание и щебетанье серых птичек... Разноцветные бабочки — пестрые, красные, голубые, белые, черные — порхали в теплом воздухе. Различные насекомые носились над болотом: зеленые, какие-то коричневые, черные, а иные с розовыми крылышками... И все это трещало, жужжало и носилось над высокой зеленой осокой, блестя и сверкая всеми цветами радуги в ярких лучах летнего полуденного солнца...

Я любил бродить по канаве и всматриваться в эту болотную жизнь.

У овина, с полуденной стороны, вдоль стены рос густой малинник, и когда поспевали ягоды, я часто туда странствовал. Также я любил взбираться на небольшой зеленый холм, поднимавшийся на западной границе наших владений. Лежа на мягкой траве, я раздумывал и мечтал бог весть о чем и подолгу смотрел на расстилавшуюся передо мной равнину с знакомыми полями, деревнями и перелесками.

За садом в пруду я купался в жаркие летние дни. Пруд был не особенно удобный для купанья: мелкий, с вязким илистым дном и местами покрытый зеленью. Но я в ту пору мало обращал внимания на подобные неудобства. В самых глубоких местах вода едва доходила мне по грудь. Барахта-

---

*Бекас* — болотная птица с длинным клювом, белым брюшком и грудью.

*Овин* — сарай для сушки снопов перед молотьюбой.

юсь, бывало, плещусь — и в полном удовольствии! Выхожу на берег. Не знаю, на что я был тогда похож, — на тритона или на какое-нибудь другое сказочное животное... Марина-скотница — женщина ворчливая — проходит мимо и, качая головой, говорит:

— Ай да барин! Вот так-так!.. Славно!

— Марина, уйди! — кричу я и опять отправляюсь в пруд отмывать приставший ко мне ил.

— А вот не уйду! — ворчит скотница. — Прутом бы хорошенько! — говорит она немного погодя, смотря на меня как на какого-нибудь невиданного звереныша.

Я смеюсь над ее угрозой, зная, что она, несмотря на свой сердитый, ворчливый нрав, чувствует ко мне большое расположение. Марина уходит, а я кричу ей вслед:

— Марина! Простокваша есть?

— Нету! — сердито откликается она.

— Ты мне дашь? Да? — пристаю я. — Да чтобы сметаны побольше...

— Ничего у меня нет, и сметаны нет... ничего не дам тебе, баловнику! — брюзжит Марина.

Скотница была очень добрая женщина, жалостливая к людям и к скоту; но в характере ее была страсть противоречить: я ни разу не слышал, чтобы она на словах с кем-нибудь согласилась. Вечно она, бывало, спорит, брюзжит и как будто недовольна и собой, и всем миром. Я уже знал ее повадку и на ее невинное брюзжанье вниманья не обращал.

— И отрежь мне, Маринушка, большой-большой ломоть хлеба! — продолжаю я. — Я к тебе сейчас приду...

— Приди-ка, приди! Я тебе задам! — грозитя Марина, стоя на крыльце своей скотной и смотря из-под руки вдаль.

Выкупавшись, я иду в скотную. Там уж простокваша готова, и на столе лежит большой ломоть черного хлеба. Я хлебаю молоко прямо из кринки и за обе щеки уплетаю вкусный ржаной хлеб. Я набегался за утро, проголодался,

истомился от жары, и холодная простокваша разом утоляет мою жажду и голод. Марина сидит на лавке и, подпершись подбородком на руку, с усмешкой смотрит на меня. Очевидно, ей приятно видеть, с каким удовольствием я ем ее простоквашу.

— Вишь, уморился! — ворчит Марина. — И как только тебя, сердечного, ноги носят! Просто даже удивительно... Ведь ты не посидишь дома... не посидишь! День-деньской по полю рыщешь... С собаками тебя не сыскать... Что маменька-то смотрит! Взяла бы да прутом!..

— За что же? — со смехом спрашиваю я.

— А вот за то самое... — внушительно поясняет Марина. — Балуеть все!..

Я смеюсь, при виде моего смеха морщины на лбу Мариночки разглаживаются, лицо становится веселее и, как луч света, улыбка пробегает по ее губам.

— Спасибо! — говорю я ей, утирая по-мужицки рот рукавом рубахи. — А когда у тебя пенки будут, ты мне дашь?

— Не будет у меня пенок, ничего я тебе не дам... И не жди! — ворчит Марина.

Но я уж знаю, что пенки будут и она мне даст их. Мы с Мариной были большие друзья, и я скоро понял, что слово «прут» на ее языке имело ласкательное значение.

Так проходили май, июнь, июль, — пролетали, как один ясный, безоблачный день. На моих глазах росла, поднималась озимь, начинала колоситься, цвести, из зеленой превращалась в бурую; затем зерна в колосьях наливались, рожь желтела и золотилась на солнце. В конце июля, по окончании сенокоса, начинали жать рожь.

Помню из этого времени один вечер... может быть, то был и не один вечер, но теперь в моих воспоминаниях несколько таких вечеров слились в один.

---

*Пенки* — пенки получают от сметаны, когда ее перетапливают в печи на так называемое русское масло. Эти пенки, вместо масла, употребляются при печенье пирогов (примечание П. В. Засодимского).

Как теперь вижу: солнце заходит за лесистый край земли; ясное небо голубым куполом раскидывается над полями и перелесками. Мама в сером платье и в маленьком белом платке на голове жнет вместе с бабами. Какая-то пожилая женщина, высокая и дородная, стоит, опустив серп, смотрит на маму и говорит:

— Ой, матушка, устанешь! Твоим ли рученькам водиться с серпом?

— Я люблю жать! — говорит мама, выпрямляясь и поправляя выбившиеся из-под платка пряди русых волос. — Ведь ты же жнешь!

— Мы уж привычны к этому делу! — возражает баба. — А тебе, поди, и нагибаться-то тяжело...

И какой хорошенькой казалась мне мама в тот вечер, с блестящим серпом в руке и с белым платочком на полураспустившихся волосах — посреди золотистой, колосистой ржи. Ее темно-голубые прелестные глаза блестели, а на щеках ее, залитых румянцем, казалось, горел огонь заката... Я ходил по полю за жницами и собирал колосья...

Иногда, пользуясь вечерней прохладой и светом летних сумерек, жали до позднего вечера, и мы с мамой оставались в поле. Бледный месяц тихо плыл над полями...

Как я тогда был счастлив!

Давно-давно уже прошли те вечера и более никогда для меня не возвратятся...

#### IV

Большая Архангельская дорога, проходившая мимо нашей усадьбы, служила для меня интересным предметом для наблюдений в летнее время.

Вот идет почта. Тройка мчится, колокольчик звенит, заливается, ямщик покрикивает: «Эх вы, голубчики!» На почтовых тюках, прикрытых кожаным брезентом, перевязанных веревками, сидит почтальон в форменной одежде, весь

запыленный, усталый. Через плечо у него надета кожаная сумочка; сбоку у него торчит пистолет. Проносится почта и скоро скрывается в серых облаках пыли...

Тащатся странники, странницы, богомолки. Загорелые, усталые, тихо тащатся они стороной дороги, тяжело опираясь на свои длинные посохи. Видно, бредут они издалека; одежда на них рваная, босые ноги в грязи и в пыли...

Мелкой рысцой на паре лошадок едет купец. В телеге у него — все узлы и узелочки да какие-то тюки в рогожах; за спиной у него подушки в красной наволоке; его картуз и длиннополый кафтан в пуху и в пыли. Он отправляется куда-нибудь на ярмарку или возвращается домой. Ямщик его сидит сгорбившись, не кричит и не понукает лошадей: доедем, мол, помаленьку...

Вот идет партия арестантов, позвякивая цепями. Арестанты идут в серых халатах и в серых фуражках без козырька; хмуро посматривают они по сторонам. Их сопровождают солдаты с ружьями и с закрученными шинелями за спиной. Куда-то направляются эти серые, хмурые люди? «Не в Сибирь ли? — думается мне. — Ах, далеко эта Сибирь! Там — каторга, рудники под землей; там — вечная зима и вечный мрак...» Так представлялась Сибирь моему детскому воображению, и мне было ужасно жаль этих серых людей, с цепями и с железными оковами на ногах...

Иногда какой-нибудь сановник или богатый, важный барин проезжал в коляске четверней — в ряд или цугом, с форейтором. Этот грузный экипаж с фордеком, с красивыми фонарями по сторонам козел, на рессорах, с большими колесами, не стучал и не гремел, как обыкновенные почтовые тарантасы, но катился благородно, как-то мягко, без шума. Тут уж, конечно, ни колокольца, ни бубенчиков, ни ухар-

---

*Сановник* — лицо, имеющее высокий чин.

*Цугом* — запряжка гуськом, лошадь за лошастью.

*Форейтор* — верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных цугом.

*Фордек* — складной подъемный верх у экипажа.

ских восклицаний вроде «Эх вы, соколики!» не полагалось. Лишь кучер с высоты козел низким басом торжественно вещал: «Пади! Пади!» Он и лошадей-то при случае постегивал как-то особенно, деликатно...

Тащились цыгане со своими повозками, набитыми всяким хламом и смуглыми полунагими ребятишками с черными включенными волосами. За повозками, опустив хвост, шли тощие, поджарые собаки; шли цыганки с пестрой шалью через плечо, с красными рваными платками на голове и громко тараторили между собой...

Проходили семинаристы с сапогами и с узелком за плечами — то они шли на вакации, то возвращались в город. Веселый и бодрый народ! Идут, бывало, босые, в обтрепанных халатиках, переговариваются, хохочут, свищут и стравливают собак...

Поскрипывая, тянулись обозы, и деготьком припахивало в воздухе. Извозчики шли около своих возов и похлопывали по земле кнутами...

Смотря на этих проезжавших и проходивших людей, я иногда думал: «Куда они направляются? Далеко ли? И за чем, по каким делам тянутся они по этой пыльной дороге? Отчего им не сидится дома? Что их манит, зовет в эту синюю даль, туда, за темные леса?» Там, куда проезжали и проходили, за этими темными лесами начинался для меня неведомый мир. И об этом мире я загадывал и мечтал. Мне и самому хотелось порой пойти по большой пыльной дороге и проникнуть в тот таинственный мир, куда мимо меня постоянно, изо дня в день, днем и ночью шло и ехало столько народа... И я в свое время заглянул в этот заманчивый мир, и я направился по той же пыльной столбовой дороге и скрылся в той же синеватой дали, где прежде на

---

*Семинарист* — учащийся духовной или учительской семинарии, среднего учебного заведения.

*Вакации* — каникулы.

*Столбовая дорога* — большая проезжая дорога с верстовыми столбами.

моих глазах потонуло столько проезжавших и проходивших людей...

Иногда по большой дороге проводили ученого медведя, и это большое, сильное животное, такое опасное и страшное в лесу, казалось теперь жалким и таким несчастным, когда ходило на цепи, с железным кольцом, проткнутым в нижнюю губу или в ноздрю. Животное, тяжело переваливаясь, покорно шло за своим мучителем. Проводник его иногда останавливался у постоянного двора, приютившегося по соседству с нашей усадьбой, и давал представление перед толпой зевак.

И медведь показывал, как старые старушки на барщину (то есть на работу) ходят, как с барщины возвращаются, как красные девушки и молодницы в зеркальце смотрятся и так далее. Затем он начинал низко кланяться публике. Иногда какой-нибудь доброхот подавал медведю стакан водки. Медведь с удовольствием выпивал водку и, захмелев, начинал плясать и кувыркаться на потеху публики, а подчас, разбушевавшись, готов был взбунтоваться против своего проводника. Тогда проводник наказывал его железной палкой и изо всей силы дергал за цепь из стороны в сторону. Медведь ревел от боли и, пятась от своего жестокого мучителя, старался уклониться от его побоев... Меня всего более удивляло то, что публика весело смеялась над страданиями этого несчастного животного. В этом смехе сказывалось злорадство трусливых людей при виде того, как такое страшное и могучее животное, посаженное на цепь, было унижаемо, пресмыкалось во прахе, бессильное и немощее, перед таким жалким, лядащим человечком, каким был его проводник...

А однажды по нашей большой дороге проводили животное, невиданное и неслыханное в нашей северной стороне.

---

*Доброхот* — доброжелатель.

*Лядащий* — тщедушный.



Это было в 1853 или 54 году. Появление этого животного вызвало сильное волнение в нашем околотке и долго потом служило предметом весьма оживленных разговоров и толков.

Раз утром, выйдя на крыльцо, я увидел на дороге громадную толпу народа. Впереди толпы бежали мальчишки, а высоко над толпой возвышалась голова какого-то странного животного с очень длинной шеей. Я, разумеется, пустился стремглав на дорогу и скоро протискался через толпу мужиков и баб. Тут оказалось, что я с этим животным уже давно был заочно знаком по рисункам, и теперь, к величайшему моему удивлению, я сразу же признал в нем верблюда.

Верблюд на большой Архангельской дороге — явление небывалое! И народ, понятно, смотрел на этого пришлого иностранца как на диковинку. Все расспрашивали о нем вожатая, и тот, насколько мог, удовлетворял всеобщее любопытство. Что он ест, не кусается ли, ходит ли в упряжи, лежа ли спит, смирен или брыкается, и где же такой зверь живет, и как же он выводится, и отчего у него горб на спине: зашиблен или уж так отроду, и много ли таких зверей на свете, и отчего они не забегают к нам, и так далее.

Бабы ахали и вздыхали, мужики гладили верблюда и одобрительно покачивали головой, слушая рассказы вожатая. Вожатай, впрочем, сколько мне помнится, немало им врал, вероятно для красного словца.

Когда верблюда проводили по деревне, собаки точно с ума сходили: лаяли и выли, голосили на все лады, но близко подбегать к верблюду не решались. Встречавшиеся с ним на дороге лошади шарахались в сторону, фыркали и, прядя ушами, испуганно косились на это невиданное чудовище... Вообще переполох был ужасный,

Я и теперь не могу взять в толк: откуда в Вологодской губернии, на Архангельской дороге взялся верблюд? Но

могу уверить, что я видел его не во сне, а наяву,— видел его большие спокойные глаза, его шершавую, темно-рыжеватую морду, видел так ясно, как теперь вижу мою чернильницу, даже слышал его отрывистый дикий крик, когда проводили его мимо постоянного двора. Откуда его вели, куда и зачем, я и теперь не знаю...

Еще одно воспоминание, одно сказанье из того давнего времени.

Тогда, по случаю войны с турками, собиралось народное ополчение, и мой отец поступил офицером в Кадниковскую дружину. Несмотря на то, что в ту пору отцу моему было уже за 50 лет, он мне казался молодцом, когда я увидел его в ополченской форме — в сером казакине с косым воротом, в серых шароварах, заправленных в длинные походные сапоги, подпоясанного шелковым пунцовым кушаком и с саблей на перевязи. В этом костюме он показался мне человеком гораздо более внушительного вида, чем в то время, когда он надевал свое черное штатское платье, украшенное на груди орденом, увешанное разными крестами и знаками отличия.

Помню, как однажды летом, уже под вечер, приехал ночевать к нам в Миролюбово дружинный начальник М. А. Зубов — высокий старик с гладко выстриженными седоватыми волосами и усами, опущенными книзу. Мы узнали, что дружина по дороге в Вологду расположилась на ночлег в соседних деревнях и сеновалах. Дружинное знамя, новенькое, блестящее золотом, принесли к нам в дом, в залу, и там поставили его, прислонив к стене. У знамени стоял часовой с ружьем, и наша прислуга, помню, с величайшим любопытством и недоумением заглядывала на свернутое знамя, на его черное древко и на часового, неподвижно, как статую, стоявшего перед ним с ружьем...

---

*Ополчение* — войско из гражданских лиц, создаваемое в помощь регулярной армии.

*Казакин* — короткий кафтан на крючках со сборками сзади.

Утром ратники потянулись мимо наших ворот; толпы родных провожали их в город. Зубов и отец мой уехали вслед за дружиной...

Скажу здесь кстати несколько слов о родных моего отца. Предки его были скромные, неизвестные труженики.

Дед мой с отцовской стороны, Михаил Андреевич, был, впрочем, в своем роде человек довольно замечательный. Сын бедного сельского священника, он, по окончании курса в Вологодской семинарии, отправился пешком доучиваться в Москву и здесь поступил в Славяно-греко-латинскую академию, а по окончании академического курса слушал лекции в Московском университете. По выходе из университета он несколько времени давал уроки в домах тогдашней московской знати, а затем был сделан смотрителем, то есть, понынешнему, инспектором вологодской гимназии и учителем греческого и французского языка. Он первый стал преподавать в Вологодской семинарии французский язык: до него кафедры этого языка не существовало.

Очевидно, дед мой был человек энергичный, даровитый, с сильным характером, но, как видно, не честолюбивый. Он много писал и в прозе и в стихах; особенно легко давались ему стихи. Стихами он даже переписывался со своими сановитыми друзьями. Он, между прочим, был в очень дружеских отношениях и состоял в постоянной переписке с Петром Васильевичем Лопухиным, занимавшим в ту пору какой-то важный пост. Вологжане за различные заслуги избрали моего деда в именитые граждане города Вологды, и

---

*Славяно-греко-латинская академия* — старейшее высшее учебное заведение в Москве, готовившее кадры для государственной службы и для церкви.

*Лопухин Петр Васильевич* (1753—1827) — князь, государственный деятель, в 1803—1810 гг. министр юстиции.

*Именитые граждане* — сословная категория городского населения, включавшая ученых, художников, музыкантов, купцов, предпринимателей; имела ряд привилегий.

добрая память о нем долго сохранялась в среде вологодских старожилов начала прошлого столетия...

Если действительно некоторые наши душевные, так же как и физические, качества мы получаем в наследство от предков, то я могу думать, что свою раннюю страсть к книжным занятиям и к писательству я получил в наследство, вместе с настойчивостью и упрямством, именно от моего деда по отцу.



ДЕДУШКА  
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ



**Д**ЕД мой по матери, Павел Михайлович Засецкий, был помещик и потомственный дворянин Вологодской губернии, отставной моряк, «лейтенант флота», барин довольно богатый и важный.

Предок его еще во времена седой старины «выехал» в Московское государство из «немецкия италийския земли».

Не однажды Засецкие бывали в силе, или, как прежде говорилось, «в фаворе».

Один из Засецких, как гласят фамильные хроники, был в хороших отношениях с Василием Васильевичем Голицыным, любимцем правительницы Софьи Алексеевны, и вместе с ним ходил войной на злых ворогов татар, и хотя поход в Крым, как известно, кончился неудачно для царской рати, но, тем не менее, на долю Засецких выпало немало великих и богатых милостей — в виде земель и разных угодий. Другой Засецкий был воеводой в Сибири, и при нем род Засецких, по-видимому, достиг кульминационной точки своего процветания и славы. Этот Засецкий-воевода был в чести, оставил после себя изрядное наследство и похоронен в Прилуцком монастыре близ Вологды.

---

*Предок его еще во времена седой старины «выехал» в Московское государство из «немецкия италийския земли».*— В копии с родословной фамилии Засецких, писанной «на Вологде генваря 17 дня 1730», сказано: «В лето 6897 году, во дни великого князя Василия Димитриевича Московского и всея России, выехал из Италии муж честен Николаи Засецка, а по крещении имя ему дано Димитрий Засецкой» (примечание П. В. Засодимского).

*Голицын Василий Васильевич (1643—1714)* — князь, боярин, дипломат и военачальник, фаворит правительницы Софьи, сводной сестры Петра I.

У деда моего Павла Михайловича были два большие родовые имения под Вологдой — Фоминское и Новое, и третье Чичулино, купленное им у двоюродного брата, Засецкого же. Кроме этих трех больших усадеб, у него было еще несколько деревень, лесных дач, пустошей и разных угодий.

Главной и любимой резиденцией дедушки Павла Михайловича было Фоминское. В Новое он переезжал с семьей лишь на весну — месяца на полтора; там в озерах близ деревни Шиблово во время весеннего разлива вод он ловил рыбу. Впоследствии дедушка отдал Новое сыну своему Константину, а Чичулино — другому сыну, Николаю. Сам же с младшим любимым сыном Александром жил постоянно в Фоминском, и Александр Засецкий еще при его жизни наследовал это прекрасное, благоустроенное имение.

Кроме этих трех сыновей, у дедушки были три дочери: старшая, Наталья, блистательно кончила курс в Смольном монастыре (о ней я уже говорил); Елизавета, любимица дедушки, была очень рано выдана замуж за отставного офицера Данилова; Екатерина (моя мать) также была рано выдана замуж.

Все хозяйство, ведение дома и воспитание детей лежало на бабушке Екатерине Григорьевне.

Бабушка была петербургская уроженка и происходила из бедной дворянской семьи. Дедушка Павел Михайлович встретился и познакомился с нею в Кронштадте, где она, по окончании курса в Смольном монастыре, гостила у своих родных. Она понравилась дедушке, тот женился на ней и, по выходе в отставку, увез ее в свое Фоминское.

Когда я стал помнить бабушку, она была очень благообразной, симпатичной старушкой, высокого роста, худощавой,

---

*...два большие родовые имения под Вологдой — Фоминское и Новое, и третье Чичулино — в настоящее время Новое и Чичулино принадлежат Заоникиевскому монастырю, а Фоминским владеет немец Буман (примечание П. В. Засодимского). Фоминское — ныне поселок Молочное близ Вологды (примечание составителя).*

с овальным бледным лицом и в белом чепчике с лопастями. Помню, она носила обыкновенно светлые платья с довольно короткой талией и с длинной юбкой, волочившейся сзади в виде шлейфа. Под старость ее разбил паралич, и она ходила тихо, опираясь на черный костыль. Несмотря ни на старость, ни на болезнь, она не горбилась, держалась прямо и во время приема гостей своими торжественными, величавыми манерами напоминала маркиз и графинь XVIII века. В обществе дедушка Павел Михайлович был с нею так же утонченно вежлив и любезен, как и с прочими дамами, и так же низко раскланивался с нею. И она, в свою очередь, при гостях была с ним так же почтительно холодна, как и со всеми мужчинами... Такая чудесная метаморфоза в обращении старичков-супругов меня очень забавляла в ту пору.

Бабушка Екатерина Григорьевна была очень добрая старушка и любила детей. Помню, когда я был еще очень мал (вероятно, лет четырех-пяти), она с ласковой улыбкой брала меня за руку и, стуча своим черным костылем, отправлялась со мной в кладовую. Там она наделяла меня всякими лакомствами...

И, боже мой, что это была за кладовая! Чего-чего только в ней не было! Помню большие лукошки, кадки, белые деревянные лари вдоль стен, сундуки, какие-то темные старинные баулы, окованные жестью, с дугообразно выгнутыми крышками; полки, уставленные бутылками, банками, ящиками, ящичками, мешочками, бумажными тюриками; на веревках под потолком висели рядами пучки сухой мяты, полыни, трефоли, зверобоя и других хозяйственных или лекарственных растений. В кладовой всего слышнее пахло какими-то наливками-запеканками, мятой и яблоками.

---

*Метаморфоза* — превращение.

*Баул* — дорожная фанерная коробка продолговатой формы.

*Тюрик* — бумажный кулек.

*Трефоль* — растение трилистник.

*Запеканка* — ягодная настойка или хлебное вино с пряностями, приготовленное на жару.



Из всех лакомств, какими наделяла меня бабушка, я особенно помню превосходное сухое варенье из ягод и фруктов. Оно в виде засахарившейся массы хранилось в больших стеклянных банках. Впоследствии я уже никогда ничего не едал вкуснее этого сухого варенья...

Дед был страстный рыболов и охотник; после него осталась громадная коллекция всевозможных рыболовных и охотничьих снарядов: сетей, мереж различной величины (для рыбы и для зверей), капканов, рогатин для охоты на медведя и на волков, не считая целого арсенала ружей, пистолетов, охотничьих ножей, кинжалов. На облавы под предводительством дедушки собиралось до 300 человек крестьян, дворовых и мелкого помещичьего люда. В один день, бывало, убивали 5—6 волков, несколько лисиц и целую кучу зайцев. Множество волков истребил на своем веку дедушка Павел Михайлович. И соседнее крестьянство осталось ему очень благодарно за избавление их стад от злых хищников.

Жизнь дедушки в деревне проходила в рыбной ловле, в охоте и в пирушках; страсть к последнему препровождению времени он перенес с корабля и в семейную жизнь. Нрав у него смолodu был довольно крутой, горячий, своевольный — и во время его шумного разгула и охотничьих кутежей жизнь Екатерины Григорьевны проходила печально, в постоянном томительном страхе.

Бабушку Екатерину Григорьевну доконал паралич. Она умерла, когда мне минуло шесть лет. Дедушка лет на 10 пережил ее...

В Фоминском у дедушки было много рогатого скота, лошадей, охотничьих собак, и кроме того, у него постоянно жили в доме ручная белка в клетке или горноста́й, ручная

---

*Сухое варенье* — сваренные в сиропе, подсушенные и пересыпанные сахаром фрукты.

*Мережа* — рыболовная снасть конусообразной формы, сетка, натянутая на обручи.

ворона с опущенными крыльями или еж, а в саду — ручной журавль, до того образованный, что даже плясал под хлопанье в ладоши, семья медвежат и волчонок... У дедушки была своя мельница, кузница, угольник (то есть сарай для угольев). Кстати, в этот угольник однажды была посажена семья маленьких лисят. Лисята вырастали, валяясь постоянно в угольной пыли, и до того, наконец, изменили цвет своей шерсти, что дедушка впоследствии, уже будучи стариком, с веселым, детски-лукавым смехом рассказывал о том, как этих самых обыкновенных лисиц, воспитанных в угольнике, будто бы продали за чернобурых...

Его главная резиденция — Фоминское, с громадным двухэтажным домом с гигантскими колоннами, окруженным цветниками, садами, рощами, прудами, теплицами и оранжереями, со множеством различных построек и с белою церковью на горе — считалась в ту пору одним из лучших подгородных барских имений. (Фоминское находится в 15-ти верстах от Вологды.)

Дедушка с семьей жил внизу, а верхний этаж предназначался для парадных приемов.

## II

Я еще ребенком с покойной матушкой довольно часто ездил в Фоминское. Я любил забираться наверх и бродить по пустым комнатам. Тут для меня все было очарование и таинственность. Живое я помню одну за другой все эти комнаты...

Зала была громадная, высокая комната, с большими окнами, выходившими на двор и в сад, и с белыми стенами, окаймленными золотым бордюром. Под потолком среди залы висела почтенных размеров хрустальная люстра с гранеными подвесками, вроде тех люстр, какие и теперь можно видеть в иных церквях. Когда солнечный луч падал на люстру, ее граненые подвески ярко блестели, отливая всеми

цветами радуги. Вдоль одной стены стояли в кадках большие фиговые, лимонные и померанцевые деревья с лоснящимися темно-зелеными листьями, а также так называемое перламутровое дерево с маленькими бледновато-розовыми цветами. В полукруглой печной нише стояла белая гипсовая статуя какой-то богини, а сверху, на приступочках той же печи, раскрашенные гипсовые амурчики сидели, скрестив ноги, и, с лукавой улыбкой поглядывая на залу, все что-то записывали на страницах тетрадей, раскрытых у них на коленях... Ах, если бы в самом деле эти голые амурчики могли писать!.. Много интересного и поучительного занесли бы они на страницы своих тетрадей...

За залой следовала гостиная, тоже белая комната, довольно глубокая и несколько мрачная, уставленная старинною мебелью, обитою красным сафьяном и увешанная в простенках между окнами длинными зеркалами в золоченых рамах. Далее была картинная — довольно узкая, продолговатая комната с гравюрами в золоченых рамах по стенам. Тут были картины из жизни Абеяра и Элоизы из гетевской повести о Вертере, сцены из греческой мифологии. На последнего рода картины мне запрещали смотреть, и, вероятно, именно поэтому-то я всего пристальнее и рассматривал их, но, признаться по совести, сколько я ни всматривался, ровнехонько ничего в них не понимал и не мог взять в толк, почему мне запрещали глядеть на них...

---

*Фиговое дерево* — инжир.

*Померанцевое дерево* — вечнозеленое цитрусовое дерево.

*Сафьян* — тонкая, мягкая кожа, выделанная из шкур коз и овец.

...картины из жизни Абеяра и Элоизы — картины на темы трагической любви французского писателя и философа Пьера Абеяра (1079—1142) и его ученицы Элоизы; эта история была отражена в их переписке, впоследствии приобретшей значение выдающегося литературного произведения.

...из гетевской повести о Вертере — т. е. на сюжет романа немецкого писателя И. В. Гете «Страдания юного Вертера» (1774).

Далее порядка комнат не помню, но только знаю, что их было так много, что я однажды, когда был еще очень мал, заблудился, никак не мог попасть в «люковую», откуда лестница вела вниз, и, заблудившись, страшно перепугался и расплакался...

Помню, в одной комнате на довольно толстой, низкой тумбе стояла раскрашенная, тщательно сделанная модель трехмачтового военного корабля, со всеми мельчайшими подробностями его оснастки и вооружения — с мачтами, парусами, реями, веревочными лестницами, со связками канатов на палубе, с якорем, со сходом в трюм, с каютой, с люками, откуда выглядывали жерла темно-бронзовых игрушечных пушек. Эта модель корабля была чудом терпения и искусства. Ее делал сам дедушка во дни оны.

В картинной, а также и в других комнатах, там и сям висели на стенах портреты моих предков. Портреты большие, все в черных рамках. Днем этих «дедушек» и «бабушек» я не боялся, но вечером ни за что в свете я не пошел бы глядеть на них. С темного холста, как призраки, смотрели на меня их надутые, самодовольные лица с гладко выбритыми подбородками, в громадных напудренных париках; иные из этих людей были в каких-то мантиях, иные в мундирах, то с отложными, то с высокими стоячими воротниками. Холодный, неподвижный взгляд их больших голубых глаз пугал меня в детстве; эти неподвижные, остановившиеся глаза иногда даже грезились мне во сне... Были там портреты и дам конца XVIII и начала прошлого столетия. Помню: губы сердечком, локоны, короткие, широкие рукава, короткие талии, перехваченные то розовой, то голубой лентой; в руке, на груди или на плече — белая или алая роза.

Из старых, почерневших картин особенно сильное впечатление на меня производили апостол Петр с ключом в

---

*Во дни оны — некогда, когда-то давно.*

руках и Юдифь, убивающая Олоферна. Последняя картина положительно приковывала к себе мое детское внимание...

Эта Юдифь с мечом, стоящая над спящим Олоферном, и голова Олоферна со всклооченными волосами и с красным, почти багровым лицом мучили меня: они меня пугали, отталкивали и в то же время привлекали меня к себе. Насколько я теперь понимаю дело, эта картина, должно быть, написана была не заурядным, доморощенным художником. Юдифь, эта полураздетая бледная красавица с черными распущенными волосами, и спящий страшный Олоферн и теперь еще живо рисуются передо мной, выступая из мрака воспоминаний... Я как будто и теперь еще вижу в темных, широко раскрытых глазах Юдифи ужас, а на лице спящего Олоферна — тень от занавеса, как тень надвигающейся смерти...

Была еще одна интересная для меня комната — дедушкина рабочая; здесь стояли два токарных станка и столярный верстак и находились всевозможные принадлежности столярного, токарного и слесарного дела. В углу стояли сухие, гладко выструганные доски. Во время своих странствований я всегда заглядывал в эту комнату.

Занимал меня также звучный резонанс больших пустых комнат. Приду, бывало, в залу и начну выкрикивать: «О-о! А-а!» — и слушаю, как отголосок моих восклицаний отдавался по всей анфиладе комнат. Зимой верхний этаж протапливали изредка; в комнатах пахло сыростью и затхлостью нежилого здания.

Жилые комнаты нижнего этажа были темнее и казались мне мрачными по сравнению с верхними обширными покоем, где было так много воздуха и света. Здесь ком-

---

*Юдифь, убивающая Олоферна* — сюжет библейской легенды о благочестивой вдове Юдифи, которая спасла иудейский город Ветилуй от ассирийских войск, возглавляемых полководцем Олоферном.

*Анфилада* — ряд помещений, расположенных по одной линии и сообщающихся между собой дверями.

наты были ниже, окна меньше и притом в зале заставлены цветами. Расположение передних комнат здесь было почти такое же, как и наверху: зала, гостиная — только тут вместо картинной находилась довольно большая столовая — «наугольная».

В столовой, помню, была изразцовая лежанка с рисунками каких-то фантастических цветов, фруктов, ярко окрашенных бабочек и птиц с хохлами на головах и с очень длинными, вниз опущенными хвостами. На лежанке часто сидел дедушкин черный кот. По зимним вечерам он грелся на лежанке, а летом усаживался на ней уже просто по привычке. Этот черный кот был очень важной особой в доме: гнать, притеснять его и вообще относиться к нему дурно никто не мог, кроме дедушки.

В то время, как я стал помнить дедушку Павла Михайловича, он был уже старик лет 75, среднего роста, коренастый, с редкими, разлетающимися прядями седых волос на висках и на затылке, с густыми, клочковатыми бровями, без бороды и без усов. Толстый кончик его носа был покрыт целою сетью мелких красно-сизых жилок. Постоянно, зимой и летом, он носил широкий черный шелковый галстук, длинный серый нанковый сюртук, застегнутый на все пуговицы, и широкие серые штаны. Он видел еще довольно хорошо, так что читал без очков, но слышал плохо; при разговоре с ним нужно было кричать, и говорить с ним по секрету было неудобно... Голова его сильно тряслась, руки дрожали, и при ходьбе он волочил ноги по полу. Издалека, бывало, узнаешь о приближении дедушки, заслышав шмыганье его сапог.

Дрожание рук всего более мучило его. Он, бывало, до того рассердится на руки за их непослушание, что начнет с яростью бить одной рукой другую и чуть не плача приговаривает:

— Вот тебе! Вот тебе, проклятая! Отрубить тебя надо! Отрубить!..

---

*Нанковый* — из нанки, грубой хлопчатобумажной ткани.

Виноватую чаще оказывалась правая рука, но, само собой, всегда больнее доставалось левой.

Для питья чая на стол перед дедушкой ставилась невысокая скамеечка из красного полированного дерева. Человек, прислуживавший деду, наливал из кружки чай на блюдце и блюдце ставил на скамейку, и затем дедушка управлялся уже сам. Вот тут-то рукам и доставалось от него всего чаще, ибо за питьем чая всего чаще дедушку постигали неприятности: ронянье ложки, разливанье чая по скамейке, битье посуды и так далее.

Дедушка, когда бывал в добром расположении духа, любил подшучивать над гостями: возьмет у кого-нибудь украдкой платок или табакерку, спрячет их, сядет в сторонке и ждет. Ждать ему приходилось недолго, потому что гости уже догадывались, в чем дело, и начинали искать потерянный платок или табакерку, вставали с мест, заглядывали под кресла, под стол, ходили по комнате, пожимали плечами и удивлялись. А дедушка с чисто детским лукавством посматривает на них и посмеивается, а потом возьмет и подбросит к кому-нибудь утаченную вещь. Хозяин найденной вещи в величайшем недоумении, и дедушка остается очень доволен своими маневрами...

Дедушка Павел Михайлович состоял на морской службе в царствование Павла I. Со смертью этого государя кончилась и служебная карьера моего деда. Потому ли, что с этим царствованием были для него связаны воспоминания юности, лучшей поры жизни, по другим ли каким-нибудь причинам — судить не берусь, только верно одно, что дедушка почему-то благоговел перед памятью Павла Петровича. Кажется, что он даже как будто не признавал следовавших за Павлом I государей — Александра и Николая Павловичей.

---

*Павел I Петрович (1754—1801)* — русский император с 1796 г., имел репутацию недалекого самодура; был убит в результате дворцового переворота.

В Фоминском в нескольких комнатах висели портреты императора Павла I. В дедушкином кабинете на столе стояла статуэтка из темной бронзы, изображавшая этого государя во весь рост, опирающегося на обнаженную шпагу и с его знаменитой треуголкой на голове.

Не раз, бывало, сидит дедушка Павел Михайлович в своей комнате за столом, откинувшись на спинку кресла, смотрит на статуэтку обожаемого им монарха и вдруг начнет шамкать своими беззубыми челюстями:

— Да! Это был государь... Вот это государь!.. Царство ему небесное!..

И губы его что-то шептали, брови хмурились, седая голова его тряслась сильнее обыкновенного, и он в забывчивости, унесшись в прошлое воспоминаньем, сжимал свои слабые, дрожащие руки и стучал ими по столу.

Образ этого государя, очевидно, отражался в его воображении сквозь какую-то светлую, радужную призму и вовсе не в том виде, в каком император Павел I запечатлелся в памяти большинства его современников и явился впоследствии на страницах истории. Павел I, по-видимому, был его кумиром, представлялся ему идеалом человека и государя, рыцарски великодушного, справедливого и просвещенного, мечтавшего и бывшего в состоянии обновить весь мир, если бы только его предначертаниям не помешала преждевременная его кончина.

### III

Дедушка Павел Михайлович вставал рано и рано ложился спать; после обеда отдыхал; в осеннее ненастье и зимой, когда его, бывало, «развалит к погоде», любил сумерничать долее обыкновенного. Летом ходил в рощу за грибами, гулял по саду, бросал в пруд карасям хлебные крошки, а дома вязал мережу и неистово бил мух. Хлопушки для мух лежали у него на столе, на подоконнике, всюду, и посети-



тель каждый раз доставлял ему большое удовольствие, если, вооружившись хлопушкой, начинал вместе с ним умерщвлять мух; если же посетитель промахивался, то доставлял тем дедушке еще высшее наслаждение.

Однажды при мне посетитель завел с дедушкой разговор по поводу мух.

— Ведь и мухи для чего же нибудь созданы! — заметил он.— Может быть, они воздух очищают...

— Воздух очищают! — с негодованием вскричал дедушка, трясая головой.— Мухи-то воздух очищают!.. Да они, проклятые, только пакостят...

И он с яростью треснул хлопушкой по столу.

В летнюю пору мухи так сильно досаждали ему, падая ему в чай, в кушанье и жала его лысину и затылок, что он без злобы не мог смотреть на них.

Зимой дедушка иногда, изредка читал, преимущественно книги исторического содержания, а также календари за старые годы, чаще же всего занимался своею мережкой. Немалое развлечение также доставляли дедушке его прирученные четвероногие и пернатые друзья. Возьмет он, бывало, несколько кусочков сырой говядины и пойдет искать свою любимицу — ручную ворону, выйдет в сени и старческим, надтреснутым голосом кричит: «Каргуша! Каргуша!» И ворона с радостным карканьем спешит на его зов, бочком прыгая к нему по ступеням крыльца, и дедушка берет ее, садит ее к себе на руку и начинает угощать ее. Ворона вертит головой и, поглядывая на него искоса, с воровскими ужимками выхватывает у него кусочек мяса. Дедушка улыбается.

— Каргуша! Ты ведь воровка? — спрашивает он ворону, трясая ее за клюв.

Ворона, освободив клюв, тащит другой кусочек и с жадностью проглатывает его.

— Воровка! — утвердительно говорит дед и, скормив весь запас мяса, отпускает свою «Каргушу».

Но она еще несколько минут прыгает около него, клюет подошвы его сапог и с самым вызывающим видом налетает на него.

Или возьмет дедушка своего ежа, поставит его перед собой на столе, сядет в кресло и начинает с ним разговаривать.

— Еж! Еженька! — говорит он, проводя своею дрожащей рукой по колючим иглам.— И погладить-то тебя нельзя, Еж Ежович! На что ж мордочку-то спрятал... ну, покажи-ка! Посмотри на меня!

Еж на мгновенье высовывал мордочку, своими темными глазками взглядывал на дедушку и опять свертывался в комок.

— Уж и струсил! Ну, чего ж испугался? — с усмешкой говорил дедушка.

Кормление кота также занимало немало времени, а иногда даже принимало трагический оттенок и составляло событие дня.

Его старый черный кот, разумеется, всегда был сытехонек, накормлен до отвала. Но дедушке, бывало, покажется, что кот голоден, что его надо непременно покормить. В чашку наливались сливки, разбавленные теплой кипяченой водой, и крошились кусочки белого хлеба... Дедушка брал кота и подносил к чашке. Сытый кот, понятно, воротил морду в сторону. Дедушка сначала ласково упрашивал его, уговаривал и урезонивал всячески.

— Ну, поешь, Коша! Поешь! — шамкал он, поворачивая кота к чашке.

Кот упорствовал и продолжал пятиться от чашки... Разыгрывалась в лицах басня о Демьяновой ухе. Дед начинал сердиться.

---

*...басня о Демьяновой ухе* — имеется в виду басня И. А. Крылова «Демьянова уха» (1813) о хозяине, угощавшем соседа с чрезмерным усердием.

— Отчего не ешь? Ну! Что ж тебе еще надо? А? Тебе сливки — не сливки... Морду воротишь! — ворчал дедушка, тыча кота носом в чашку.— Ешь, ешь, тебе говорят...

Кот фыркал, отбивался и начинал жалобно мяукать. Тут уж дело его становилось совсем плохо... Дедушка ввиду такого явного закоснелого упорства окончательно приходил в бешенство.

— У-у-у, упрямая скотина! — шипел дед и, схватив дрожащими руками кота за шиворот, торжественно нес его из комнаты.

Кот, зажмурив глаза, оставался неподвижен, как бы уже подготовившись к восприятию самых жестоких мук. Дело кончалось тем, что дедушка с видом непреклонной решимости сбрасывал его с крыльца, как с Тарпейской скалы, и гневно кричал вслед удиравшему коту:

— Пошел, негодяй! И не смей мне на глаза показываться!..

И дедушка, глубоко расстроенный и рассерженный, возвращался в комнату со слезами на глазах: то были слезы жалости и досады на «неблагодарную, упрямую скотину».

Впрочем, *contra* между дедушкой Павлом Михайловичем и его черным котом были непродолжительны. Через час дедушка уже забывал прегрешения своего любимца и, выйдя на крыльцо, мягким, нежным голоском зазывал его к себе:

— Коша, Коша! Где ты, Коша!

И если кот, задрав хвост, со всех ног бежал на его зов, дедушка умилялся и радостно принимал его, как раскаявшееся блудное детище, брал на руки и, глядя и целуя его в голову, нес к себе в комнату.

Дедушка был вообще ласков к детям, по крайней мере под старость. Он благоволил ко мне и часто уводил меня в

---

*Тарпейская скала* — отвесный утес в Древнем Риме, с которого сбрасывали осужденных на смерть преступников.

*Contra* — здесь: конфликт.

свою комнату. Мне нравились эти посещения, потому что в дедушкином шкапу находился, по-видимому, неистощимый запас винных ягод, фиников, чернослива, синего изюму и проч. и проч. И он каждый раз щедро наделял меня этими сладостями.

В дедушкиной комнате, кроме шкапа с его провизией, стоял еще книжный шкап. В этом шкапу в нарядных переплетах красовались за стеклом: История Петра I, Суворова, Наполеона, Фридриха Великого, История войны 1812 года, Картины вселенной, Путешествия Дюмон-Дюрвиля, Тайны инквизиции, Труды Вольно-экономического общества, *Les fables de'Esopé phrygien* (копенгагенское издание конца прошлого столетия) и другие. На стенах в красных рамках висели старинные гравюры с изображением каких-то морских сражений, битвы под Полтавой и при деревне Лесной, а также портрет Куракина и какого-то, не помню, важного духовного сановника.

На стене около двери висели большие стенные часы; на циферблате их вверху выглядывал из-за скалы тигр, каждую секунду страшно вращавший глазами...

В последние годы жизни дедушка Павел Михайлович большую часть своего времени, особенно зимой, проводил в этой комнате со своим старым неразлучным служителем Васильем Ши́ло и со своим черным котом.

---

*Винные ягоды* — инжир.

*Les fables de'Esopé phrygien* — Басни Эзопа фригийского (франц.).

*Битвы под Полтавой и при деревне Лесной* — победоносные сражения русских войск со шведскими, соответственно 8 июля 1709 и 9 октября 1708 г. (по новому стилю).

*...портрет Куракина* — здесь, по-видимому, имеется в виду князь Борис Иванович Куракин (1677—1727), сподвижник Петра I, дипломат и военачальник.

А как был хорош Фоминский сад!

Перед домом с полуденной стороны расстился роскошный цветник; тут росли великолепные георгины, всевозможных сортов розы — алые, белые, желтые, нарциссы, масса мелких пахучих цветов — душистый горошек, левкой, мальвы, «уголек в огне», царские кудри, анютины глазки, жонкилы, — и я уж не помню, что еще там росло и цвело.

Далее расходился старинный, почтенный сад. Аллеи липовые, березовые, аллеи елей, сосен, пихт перерезывали сад во всех направлениях: то аллеи шли параллельно, то пересекались, то обходили вокруг прудов и приводили в глубину сада, к разным укромным, уютным уголкам — то к беседке из акаций, то к дерновому полукруглому дивану, то к кокетливому хорошенькому домику легкой, воздушной постройки, служившему для обливания в жаркие летние дни (от Фоминского до реки Вологды — около версты). В саду был вишневый сарай и росло много прекрасных яблонь. Под сенью лип приютилась баня. В прудах водились караси...

Помню я, как, бывало, в бурю или ночью, в сильный ветер сад глухо шумел и гудел. А летом, в тихий и ясный полуденный час, сад стоял во всей своей прелести, блистая зеленою листвою в волшебной игре света и тени и благоухая цветочными ароматами...

Через дорогу находилась роща, темная, тенистая, и в ней также большой пруд с карасями.

В этой роще жили кролики. Бывало, рано утром, когда роса еще не обсохла на траве, я забирался сюда и подсматривал за кроликами. Они были такие чистенькие, гладкие,

---

*«Уголек в огне»* — адонис, садовый цветок.

*Царские кудри* — лилия кудреватая, мартагон, многолетнее луковичное растение.

*Жонкиль* — разновидность нарцисса.

*Вишневый сарай* — оранжерея для вишневых деревьев.

с лоснящеюся шерсткой, так мило садились они на задние лапы и так зорко оглядывались по сторонам, насторожив свои длинные уши! Мне ужасно хотелось поймать кролика и поласкать его... И сколько раз я бегал за ними по роще до усталости, но ни разу, конечно, не мог поймать ни одного кролика. То они прятались под бревна, лежавшие на опушке рощи, то заскакивали в непролазную чащу кустов орешника, а иной раз пропадали прямо из-под рук, словно сквозь землю проваливались. Принимался я сторожить кроликов и поздно вечером, когда под деревьями сгущались тени и месяц светил с неба, но ловил их с таким же успехом, как и днем.

За рощей стоял большой, длинный амбар с крытой галереей. За амбаром рос густой малинник, и я часто, забравшись в него, лакомился вкусными ягодами...

Помню, особенно торжественно справлялись дедушкины именины 29 июня, в день первоверховных апостолов Петра и Павла.

Все родные и знакомые съезжались по этому случаю в Фоминское; приезжали из усадеб, из города; ближние являлись в день праздника, дальние забирались накануне. Четыре поколения рода Засецких бывали налицо в тот день в Фоминском: дедушка Павел Михайлович, его дочери и сыновья, внуки и внучки, правнуки и правнучки... И для всех многочисленных гостей, съезжавшихся на Петров день в Фоминское, доставало места, хватало постелей, подушек, прислуги. Фоминский дом в ту пору был полная чаша... Весь двор перед каретником заставлялся экипажами. Нарядные кучера, в поддевках и в красных рубахах, шатались по двору или сидели у людских изб. В конюшнях слышались топот и лошадиное ржание. Разряженные гор-

---

*Поддевка* — верхняя одежда в талию, с мелкими оборками.

*Людская изба* — помещение для дворни, слуг в помещицкой усадьбе.

ничные девушки, лакеи и казачки поминутно перебегали между домом и кухней.

Утром гости отправлялись в церковь (в полуверсте, на горе); кто шел пешком, кто катил в пролетке, в коляске. После завтрака гости шли на балкон, расходились по саду группами, парами, поодиночке... В зеленой дали тенистых аллей мелькали светлые женские платья, слышался говор, смех... С пеньем птиц сливались веселые детские голоса, звеневшие в воздухе.

На тот день отпирался для гостей верхний этаж дома и большой обеденный стол накрывался в зале. Для детей ставились маленькие столы. Запах трав и цветов вливался из сада через балкон и в большие раскрытые окна. Дедушка Павел Михайлович в тот день одевался в черный парадный сюртук старого покроя.

В конце обеда, помню, гости с бокалами в руках поднимались со своих мест, шумно отодвигая стулья, и поздравляли именинника. Дедушка Павел Михайлович стоял перед своим прибором на переднем конце стола и с серьезным, невозмутимым лицом раскланивался с гостями, усиленнее обыкновенного покачивая своею трясущеюся головой и расплескивая шампанское из бокала. В это время с садового вала, где была устроена батарея, раздавались вскоре один за другим три пушечные залпа. Стекла в окнах дрожали, хрустальные подвески люстры бренчали; дамы и барышни вскрикивали от неожиданности, слышался звон разбитого бокала... гости оглушительно кричали «ура»!.. Я смотрел в окно и наблюдал, как в саду между деревьями синеватыми полосами расстилался пороховой дым.

Вечером опять поднималась пушечная пальба, опять пушечный грохот раздавался над Фоминским, и клубы порохового дыма заволакивали опушку сада. На этот раз уже ничто не могло удержать меня в комнатах, и я бежал на садовый вал, где с давних пор была устроена батарея по всем

---

*Пролетка* — легкий двухместный четырехколесный экипаж.

правилам военного искусства — и успела уже густо зарости травой. Пушки были небольшого калибра, длинноствольные, на зеленых лафетах, и обыкновенно хранились в сарае, рядом с каретником, где стоял также громадный каток с наваленными на нем большими серыми булыжниками...

Помню, с каким волнением и с замираньем сердца смотрел я, как дяди мои, артиллеристы, Александр и Константин, заряжали пушки и накатывали их на край батареи. И красиво было видеть, как в синем полусвете сгущавшихся летних сумерек из пушечных жерл с грохотом и треском вылетал огонь и густые клубы дыма на несколько мгновений застилали спящую окрестность...

Где те дамы и кавалеры, которые, бывало, так весело гуляли в Фоминском, в тени аллей его садов и рощ! Они прошли, они исчезли, и исчез их след...

Однажды в серый, ненастный октябрьский день дедушка Павел Михайлович по своему обыкновению лег посумерничать, заснул и уже более не просыпался. Кончина его была безболезненная и мирная. Он умер 90 лет в то памятное, многознаменательное время, когда рушился наш старый крепостной строй и навсегда сдавался в исторический архив... Я был в ту пору в V классе гимназии и присутствовал на похоронах дедушки Павла Михайловича; на похороны его собрались почти все его дети, внуки и правнуки.

В своем черном парадном сюртуке лежал он гробу. Бледное лицо его было спокойно, губы плотно сжаты... Он показался мне в гробу очень маленьким... Серый, сумеречный свет октябрьского дня скупно проникал в залу, и в этом сумеречном свете мерцали тускло восковые свечи в больших подсвечниках, стоявших по углам гроба. Темная зелень померанцевых и лимонных деревьев бросала тень на изголовье гроба...

---

*Лафет* — станок, на котором устанавливается ствол орудия.

*Каток* — тяжелый округлый кряж дерева для разбивки комьев или укатывания дорог.



Через много лет после смерти дедушки Павла Михайловича был я в Фоминском...

Старый дом, старый друг, посетил я  
Наконец в запустенье тебя,  
И минувшее вновь оживил я,  
И печально глядел на тебя...

Роща вырублена, кролики мои исчезли, ни вишневого сарая, ни теплицы, ни оранжереи... В доме не слышно шмыганья дедушкиных сапог. Не стало ни дяди Александра, ни приветливой его жены, ни *той*, которой образ живет в моих воспоминаниях как мечта, как светлый призрак юношеских лет... Все они — там, на горе, у церкви, лежат в сырых могилах...

С Фоминским, кроме воспоминаний о дедушке Павле Михайловиче, для меня связывается немало и других воспоминаний — светлых и печальных...



В РОДНОМ УГОЛКЕ



Там чудеса, там леший бродит,  
Русалка на ветвях сидит;  
Там на неведомых дорожках  
Следы невиданных зверей;  
Избушка там на курьих ножках  
Стоит без окон, без дверей;  
Там лес и дол видений полны...

*А. Пушкин*

## О С Е Н Ь

### I

**К**ОГДА мне было девять лет, мой отец с матерью и со всеми домочадцами переселился из города в деревню.

До тех пор я жила в нашем Миролубове только летом; обыкновенно в половине августа я с мамой переезжал в город. Теперь мне пришлось в первый раз провести в деревне всю осень, встретить зиму — прожить в деревне круглый год, да и не один год. Эта первая осень и первая зима, проведенные мною в деревне, живо запомнились мне, как вообще все ярко запоминалось в то далекое время...

С половины сентября, помню, стали перепадать дожди, сделалось холодно, солнце редко проглядывало, и его бледный луч, прорывавшийся из-за серых, густых облаков, мало напоминал собою те веселые золотистые лучи, от каких я, бывало, так загорал в летнюю пору, что, по мнению мамы, становился похож на цыганенка. В конце сентября опав-

---

*Там чудеса, там леший бродит... Там лес и дол видений полны...*— Цитата из вступления к поэме «Руслан и Людмила» (1828).

шим желтым листом уже покрылась земля в нашем саду, деревья стояли почти совсем обнаженные; блеклая, мокрая трава печально стлалась по земле, и шуршал под ногами желтый лист. Гниющими листьями пахло в сыром воздухе. Хлеб был уже давно свезен с полей, поля опустели. Стога на лугах, еще недавно такие зеленые, теперь потемнели. Безлиственный лес издали казался каким-то серовато-бурым, мрачным; зелень в нем виднелась лишь там, где тесными группами посреди чернолесья стояли сосны и ели, но и эти вечнозеленые деревья не могли развеселить, скрасить унылую осеннюю картину леса.

Осеннее ненастье, конечно, было не в состоянии удержать меня дома. Лишь только дождь переставал, а иногда даже и в то время, как дождь еще продолжал моросить, я бежал в поле по знакомым тропинкам и межникам, заходил и в лес, где иногда встречал приютившихся в чаще рябчиков и тетеревей, заглядывал на гумно, где молотили и веяли хлеб.

В странствования по полям и лугам я иногда пускался не один, брал с собой Сашку. (Сашка был сын нашего кучера, Всеволода Родионова, мой сверстник и товарищ моих детских игр.)

Я был большой мечтатель. В моей голове каким-то странным образом уживались и научные знания, уже приобретенные мною, и мечты. Правда, мои знания были еще очень маленькие, а для мечтаний давал много пищи окружавший меня мир, еще полный для меня загадок и таинственности. Детская душа жаждет поэзии, «красных вымыслов», как бы предчувствуя, что в жизни-то будет мало поэзии, что «красные вымыслы» скоро рассеются под суровым дуновением действительности... И в те давние дни я, как многие дети, жил в мире, созданном мною самим,— в мире грез и мечтаний.

---

*Чернолесье* — лиственный лес.

*Межник* — широкая непаханая полоса земли между распахан-ными полями.

За деревьями, цветами и вообще за растениями я, например, признавал способность испытывать те же чувства и ощущения, какие волновали меня. Мне порой было холодно, я зябнул и с грустью вспоминал о теплых летних днях, о летнем раздолье и приволье, и теперь, глядя на голые, мокрые ветви берез, шумевших уныло и гнувшихся под налетами ветра, я жалел деревья и думал: «Им теперь холодно. Они, бедные, озябли... Вон как они жалобно шумят и вздрагивают от ветра! Они, может быть, также скучают, грустят по красным летним денечкам...»

Однажды я поведал свои невеселые думы по поводу берез Сашке, и тот, как бы желая утешить и успокоить меня, сказал:

— Ну, что им дается!.. Вот ужо придет весна, опять лист пойдет, тепло станет...

Оглядываясь на то прошлое, я, кажется, мог бы отчасти сравнить тогда себя с маленьким Дон-Кихотом, а Сашка, пожалуй, мог бы сойти за Санчо-Пансо. На тот раз утешения моего верного Санчо-Пансо оказывались напрасны.

До весны тогда было еще далеко...

## II

В северной полосе России, где посреди лесов приютилось наше Мирюлюбово, сыромолот не в обычае: перед молочением хлеб в снопах сушат в овине — для того, чтобы при молотье зерна легче выбивались из сухого колоса и меньше пропадало их в соломе.

В подовине, в яме, раскладывают «теплину» — зажигают толстые поленья, целые чурбаны или выкорчеванные корни дерев, разрубленные на части. Рожь, овес или ячмень,

---

*Сыромолот* — сыромолотом называется молотьеба хлеба прямо с поля или вообще без предварительной сушки (примечание П. В. Засодимского).

«насаженные» на овин, подогреваются снизу и просыхают. Затапливают овин в сумерки и топят до полуночи и долее. В подовине в это время всегда бывает кто-нибудь из рабочих: надо следить за тем, чтобы огонь не потух или чтоб от искр, летящих вверх, не загорелся пол овина. Храни бог, долго ли до беды!.. Если бревна местами начинают тлеть, если показывается где-нибудь дымок, рабочий проворно черпает ковшиком воду из бочки, всегда стоящей тут же в углу, и плещет водою на слишком нагревшиеся бревна.

Рига с ворохами соломы не представляла для меня днем ничего особенно заманчивого, но в сумерки, ночью, гумно и овин были для меня полны таинственности и своею таинственностью сильно привлекали меня к себе... Хотя гумно стояло недалеко от усадьбы, но, конечно, никто не пустил бы меня туда ночью. В сумерки же мне нередко удавалось пробраться в подовин.

Топкой овина у нас заведовал старик Андрей.

Как теперь вижу его перед собой... Загорелое морщинистое лицо, серые слезящиеся глаза, добродушная улыбка, темные волосы с проседью, большая борода, совсем седая, посконная рубаха, на плечах — серый армяк с коричневыми заплатами, в руке — тоненький батожок.

Мы с Андреем были большие приятели. Хотя по летам я не мог быть Андрею товарищем, но, тем не менее, он, по видимому, всегда был очень рад, когда я заходил к нему в подовин. Вероятно, ему было скучно подолгу сидеть одному, а со мной он мог поговорить и всегда находил во мне внимательного слушателя. Старик расстилал свой армяк на земляном полу, и мы располагались перед теплотой.

Долги осенние сумерки,— и я любил в ту пору лежать

---

*Рига* — постройка для сушки снопов с площадкой для обмолота.

*Гумно* — крытая площадка для молотбы.

*Посконная рубаха* — рубаха, сшитая из поскони, домотканого холста из волокон конопли.

*Батожок* — палочка.

перед огнем и смотреть, как с легким треском горели громадные поленья, как красноватые языки пламени вспыхивали посреди синеватого дыма и золотистые искры порой летели вверх и гасли... Кажется, и теперь, через много-много лет, я мог бы красками нарисовать ту картину, какую мы тогда представляли с Андреем...

В яме горит огонь, и багровый дрожащий свет блестящими бликами играет там и сям на толстых, почернелых бревнах подовина. Перед огнем, полусидя, помещается старик с батожком в руке; загорелое морщинистое лицо его при вспышках пламени кажется совсем красным. Рядом с ним, облокотившись и склонив голову на руку, лежит мальчуган в коротком пальто, в круглой шапочке и задумчиво смотрит на огонь из-под густых прядей вьющихся светло-русых волос... Эти непокорные пряди выбиваются из-под шапки, падают на лоб и бросают тень на лицо... В углу — бочка с водой, и тут же валяется несколько сосновых обрубков и куча валежника. В низенькую полуотворенную дверь в недалеком расстоянии видна изгородь, а за нею опустошенные поля с желтой торчащей жнивой тонут, пропадают в синеватой мгле осенних сумерек...

Иногда у меня с Андреем заходили довольно интересные разговоры. Я рассказывал иногда старику всякие истории, были и небылицы, вычитанные мною из книг; иногда Андрей совершенно неожиданно поражал меня открытиями и рассказами из области таинственного.

### III

Однажды, помню, сидя перед теплиной, я спросил Андрея:

— Ведь теперь на гумне пусто? Никого там нет?

— Кому же там быть! — ответил старик. — Разве что гумённый шатается...

---

*Жнива* — неспаханное поле с остатками соломы на корню.

Я тотчас же насторожил уши: для моего любопытства открывались новые горизонты. С гумённым я до тех не был еще знаком.

— Гумённый! Кто же это такой? — переспросил я.

— Да кто ж его знает...— вполголоса промолвил Андрей.— Мало ли на свете всякой нечисти, прости господи... Банный, домовый, кикимора...

— Какой же из себя гумённый? — приступал я.

— А такой высокий-высокий, волосья желтые, длинные, и балахон на нем тоже желтый, длиннеющий...— пояснял Андрей.

— Кто ж его видел?

— Люди, рассказывают, видали!

— А ты не видал? — допытывался я.

— Нет, не хочу врать, сам не видал, не доводилось...— признался старик.

— А что он делает на гумне?

— Да так... болтается по ночам около овина... иной раз соломой зашуршит, пугает, значит...— ответил Андрей.

Я оглянулся назад, на притворенную дверь. Сумрак уже сгущался над полями.

— Ну, Андрей, вот что я тебе скажу...— рассудительным тоном начал я немного погодя.— Все это пустое... Ни домовых, ни банных, ни гумённых — ничего этого нет.

— Ты, пожалуй, скажешь, что и кикиморы нет? — с лукавой, многозначительной улыбкой спросил меня старик.

— Конечно, нет! — ответил я.

— Ну, уж нет, батюшка! — шепотом, но с жаром заговорил Андрей и даже приподнялся на локте.— Кикимора-то, почитай, в каждом доме есть... А только она ведь не злая, вреда, то есть, человеку не приносит, а побаловать — ее дело. Вот ежели, примером сказать, оставить что-нибудь на столе на ночь либо поставец не притворить плотно, она уж

---

*Поставец* — шкаф для посуды и для всякой домашней мелочи (примечание П. В. Засодимского).



все перешарит, перетрогает, а иной раз и стукнет и брякнет чем-нибудь... Ежели какой парень гармонию на ночь не уберет, так уж она, братец ты мой, непременно поиграет на ней — тихонько-тихонько поиграет...

— Ты говоришь, она в каждом доме бывает?.. Так где же она живет? — спросил я.

— А прах ее знает... кое-где... Может, под печкой али в подполье... Ведь у нее сто ухоронок в дому... — пояснил Андрей.

— Все это вранье! Никаких кикимор на свете нет! Папа и мама мне говорили, что старинные люди верили в них, но что все это выдумки! — заговорил я довольно решительным тоном, хотя, признаться, здесь, в подовине, в полутьме сумерек являлись у меня какие-то смутные сомнения по поводу кикимор: внушительный шепот старика порой оказывался убедительнее доводов рассудка. — Ведь никто не видал кикимор! — заметил я.

— Как никто не видал? Нет, батюшка, это уж ты оставь! — с азартом зашептал старик, оглядываясь по сторонам. — Мой дедушка-покойник — царство ему небесное! — сам своими глазами видел ее...

— Где ж он ее видел? — спросил я, подвигаясь поближе к своему собеседнику.

— А на реке... Один раз пришел он на реку верши ставить, — уж этак поздно было, вечером... Смотрит, а под самым берегом, под кручей, она и сидит на камне... Сидит, знаешь, в одной рубахе, на колени облокотилась, пальцы в волосы запустила. А волосья-то длинные-длинные, нечесанные... Как дедка-то увидал ее, испужался до смерти, верши бросил да давай бог ноги, бегом домой... Бежал, говорит, так, что просто дух захватило... Насилу отдышался...

— А дедушка рассказывал, какова она с виду? — перебил я рассказчика.

— Да так, как бы тебе сказать,— вроде старушонки, этакая махонькая-махонькая, как будто маленько горбатенька, ноги кривые, а рыла-то ейного дедка не видал...

— Может быть, какая-нибудь женщина приходила купаться...— заметил я.

— Эвона! — с усмешкой отозвался старик, качнув головой и, очевидно, признавая мое возражение крайне легкомысленным.— Гм! Что ведь сказал!.. Пойдет баба за три версты от деревни купаться, да и то поздно вечером... Да и дед-то, слава богу, не пьян был и речей пустых не любил... Неужто бы он бабу от кикиморы не отличил?.. Хотя, это точно, есть у нас бабы очень на кикимору похожи...— немного погодя, в задумчивости почесывая затылок, промолвил старик про себя.

Несмотря на занимательные рассказы Андрея, дававшие богатую пищу моей детской фантазии, я все-таки говорил себе, что нельзя, не должно верить ни в гумённых, ни в кикимор. У нас в доме нередко подтрунивали над этими созданиями народной фантазии, и мне было бы очень совестно, если бы я хотя на минуту сознался в том, что я верю в лучшего или в домового и боюсь их. Их нет, конечно, нет!..

Но в тот вечер, возвращаясь домой потемневшим полем, я почему-то все озирался по сторонам, как будто ожидая увидеть что-нибудь особенное, необыкновенное; назад я не оглядывался, и чем ближе подходил к усадьбе, тем более ускорял шаг. Когда я подходил уже к околице, в густых лопухах, росших вперемежку с крапивой, у самой изгороди вдруг зашевелилось что-то черное, и два зеленоватых огонька ярко блеснули в вечернем сумраке. Сердце мое тревожно забилося, и неприятные мурашки пробежали по спине. В то же мгновение наш черный кухонный кот как сумасшедший выскочил из лопухов, вероятно испугавшись меня, перемахнул через изгородь и скрылся где-то за птичьим двором.

— Фу, дурак какой! — сердито прошептал я по адресу удравшего кота.

Очутившись в своей комнате, я миготом успокоился, и сердце мое билось уже ровно, как всегда.

На большом столе в переднем углу по обыкновению горела сальная свеча, а у стола, как всегда, сидела и вязала свой вечный чулок моя няня, милая моя старушка, Марья Тарасьевна. На голове ее повязан темный платочек с цветочками по кайме; из-под платочка видны гладко причесанные седые, желтоватые волосы. При моем входе Тарасьевна подняла голову, сняла нагар со свечи и, прищурившись, посмотрела на меня. Я же себя чувствовал так, как будто бы я избежал какой-то опасности, хотя в действительности никакая опасность мне ниоткуда не угрожала. Мне стало очень весело и хотелось пошалить.

— Няня, где у нас живет кикимора?

Старушка совсем была огорошена.

— Что-о такое? — забормотала она, по-видимому, несколько смутившись. — Что ты, Христос с тобой! Какая кикимора? И с чего тебе вздумалось?

Я подбежал к ней, схватил ее сзади за плечи и со смехом припал своею холодной щекой к ее сухому, морщинистому лицу.

— Отстань, отвяжись, баловник! — с притворным негодованием ворчала няня. — Вишь какого холода нанес в комнату, да холодным-то носом еще в щеку мне торкается...

А я смеюсь, мне так весело, так хорошо!

— Где же ты, батюшка, пропадал о сю пору? — немного погодя спросила меня няня.

— Я был в подовине с Андреем.

— Это ты из овина-то один впотьмах? — с удивленным видом воскликнула Тарасьевна, нахмутив брови и строго посмотрев на баловника.

— А что ж такое? Маленький я, что ли? — возразил я, выпрямляясь во весь свой десятилетний рост. — Да теперь еще и не ночь.

— Один в подовин шастает... Гм! Какую, подумаешь, волю забрал! — брюзжала Тарасьевна. — Вот уж за это надо бы розгочкой... надо!

— После дождичка в четверг! — иронически отозвался я.

Я взялся за книгу и присел к столу. Через несколько минут няня уже любовно, ласково смотрела на меня своими подслеповатыми глазами.

— И-их, баловник, баловник! — говорила она, покачивая головой и перебирая спицами. — Где только день-то деньской ножки тебя не выносят... Устал, поди, притомился, сердечный? Ведь не посидишь ты на месте... шмыг да шмыг...

— Ведь я же, няня, теперь сижу. Видишь! — говорю я с самым смиренным видом, болтая ногами под столом.

— Сидишь! — передразнивающим тоном бормочет няня. — Еще бы ты ночью-то козлом запрыгал...

Я смеюсь. Няня делает вид, что она ужасно обижена и несчастна.

— Няня, ты не сердись! — говорю я сквозь смех.

— Как на тебя, на баловника, не сердиться! — не унижается моя Тарасьевна. — Этакую волюшку, в самом деле, забрал... Я ли — не я ли! И розги уже не боится... Господи помилуй! Да что ж это такое!..

Я очень хорошо знаю, я уверен, что няня на меня не сердится, не может она на меня сердиться; я уж верно-верно знаю, что она меня крепко любит, что «розга» на ее языке — просто такое же никогда не существовавшее для меня пугало, каким ранее был «бука», странное и страшное существо без образа, без лика...

Я читаю. Няня вяжет, позевывает, спускает петли, вздыхает, охает и через каждые десять минут снимает щипцами нагар со свечи. В комнате тихо. Я низко склоняюсь над столом — я уж далеко от своей детской, от старой няни, от нашего тихого Миролюбова; я переношусь совсем в другой мир, открывающийся мне со страниц книги.

Наконец глаза мои начинают слипаться, я устаю читать;

взглядываю на Тарасьевну. Старушка мирно подремывает. Я опять принимаюсь за свое.

— Няня! А, няня! Ты не спишь? — обращаюсь я к ней.

— Нет, батюшка! Я только так, задумалась... А тебе что? — совершенно спокойно отзывается няня, не предчувствуя, что с моей стороны опять готовится подвох.

— Где же у нас кикимора-то живет? — спрашиваю я с самым невинным видом.

Лицо няни моментально преображается: губы надуты, брови нахмурены.

— Сказано тебе, отвяжись! — ворчит она, полуотвернувшись от меня и сердито перебирая спицами своего вязанья.— Вот пристал со своей кикиморой!.. А я почему знаю! Хожу я за ней, что ли!.. Да скажи ты мне на милость, с чего она тебе в голову-то втемяшилась?

И няня, опустив свое вязанье на колени, выжидательно, пристально смотрит на меня.

— Дядюшка Андрей говорит, что кикимора в каждом доме водится,— с невозмутимой серьезностью отвечаю я няне.

— Так вот вы с дядюшкой-то Андреем и ищите ее на здоровье! — огрызнулась Тарасьевна, очевидно выведенная из терпения моею неуместною настойчивостью и неприятным (особенно к ночи) предметом разговора.— А ты оставь меня в покое! Пристал, точно банный лист, чего терпеть не могу!.. Да и тот-то, старый дурак... Делать ему нечего! О всяких пакостях ребенку рассказывает...— уже про себя, вполголоса закончила няня.

Я вполне доволен произведенной вылазкой и опять ласкаюсь к няне. Через минуту все неприятное забыто и прощено... Не знаю, чего бы только не простила мне моя милая старушка!..

Каретник и конюшни, довольно старые строения, стояли поодаль от дома. Фасадом они выходили во двор, а задней стеной в поле. Они стояли рядом; их тесовые крыши почти сходились вверху, но между их стенами оставалось небольшое расстояние, которое я называл «ущельем». Через это «ущелье», стоя на дворе, можно было видеть поле... Стены этих строений, чем далее выдвигались в поле, тем все более и более сближались, так что конец «ущелья», выходящий в поле, совсем уже превращался в щель. Никому из ребят и в голову не приходило забиваться в это тесное, полутемное пространство между строениями, но через него могли проходить в поле куры и утки; чтобы преградить им путь, к отверстию была привалена стоймя старая, изломанная борона.

В своих странствованиях я, конечно, знал уже в усадьбе каждый уголок, давно заметил я и темное ущелье между сараями, и оно уже давно привлекало к себе мое внимание. Я не раз подходил к «ущелью» и все заглядывал в это мрачное, узкое пространство, заваленное щепками, щебнем и всяким мусором. «Нельзя ли,— думал я,— через эту щель пролезть в поле? Правда, узко, тесно, но если пожаться, съежиться, то можно как-нибудь проползти...»

Неотступно манило меня это «ущелье». Каждый раз, когда я проходил мимо сараев, оно словно поддразнивало меня.

Пройти со двора в поле можно было через ворота и в калитку. Но это слишком легко и просто... Вот другое дело — пролезть через щель; это заманчиво потому, что трудно, даже опасно, рискованно.

Пролезть через щель в поле представлялось мне каким-то геройским подвигом. Я искал сильных ощущений, искал их бессознательно, не отдавая себе в том отчета. Мне страстно хотелось пробраться через эту щель, но каждый раз, бывало, как только об этом подумаю, мне становилось жутко.

Но в этой самой жуткости, в чувстве страха и тревоги было для меня что-то привлекательное, было какое-то дикое наслаждение...

Если бы о своем желании и о своих странных ощущениях я рассказал дядюшке Андрею, то он решил бы, что меня смущает и заманивает «нечистый». Если бы я открыл свои мысли и намерения няне, она ни на одну минуту не усомнилась бы в том, что меня «сглазили» недобрые люди, что со мной что-нибудь «попритчилось», и стала бы усердно крестить меня на сон грядущий.

И я ни старику Андрею, ни няне не открыл смутного состояния моей души. Я был уверен, что если бы няня узнала о замышляемом мною предприятии, то непременно пригрозила бы мне: «Мамаше скажу!» — и угрозу немедленно привела бы в исполнение. А уж если бы мама запретила мне делать опыты пролезания через «ущелье», то и конечно: послушаться ее запрета я не решился бы ни за что в мире. Мама была для меня высшею властью на земле, слово ее было для меня законом — серьезно пререкаться с нею мне никогда не пришло бы и в голову. Мама — эта маленькая, худенькая, хрупкая женщина — не грубой силой, но силой нравственной, силой любви обуздывала и покоряла меня.

Наконец я не выдержал и в один мрачный, холодный осенний день, набравшись смелости, отвалил борону и полез в узкое отверстие между сараями. Я велел следовать за мной и моему верному Санчо-Пансе. Тот было сначала испугался, начал возражать: «как» да «к чему», да «для чего я полезу в щель, таракан я, что ли» и так далее, но, поохав и почесав загривок, все-таки полез за мной.

— И чего только не выдумаешь! — роптал он, протикиваясь между стен. — Ну на кой прах мы забиваемся сюда? Экая забава, подумаешь... Пылища, мусор да сор... А паутина-то! Так в нос и лезет...

— Молчи, Сашка! Ты ничего не понимаешь! — перебил я его.

— Еще бы! Где тебя поймешь?.. — насмешливо возразил мой Санчо-Пансо.

До половины «ущелья» мы пробирались еще довольно сносно, но далее стены сараев сближались, пробираться вперед становилось все труднее. Мой Санчо-Пансо ворчал, кряхтел и все более отставал от меня.

— Как хошь, дальше не полезу, — чуть не плача, дрогнувшим голосом промолвил наконец Сашка и стал пятиться назад.

— Эх ты, трус! Трусишка! — с презрением крикнул я ему вслед.

— Ладно! Полезай, коли охота! — отозвался Сашка, выбираясь на вольный свет.

Я протискивался с большим трудом. До поля уже оставалось, как говорится, рукой подать, шагов пять-шесть, но тут я почувствовал, что «ущелье» становится слишком узко, слишком тесно даже и для такого маленького человека, как десятилетний мальчуган. Изо всей мочи рванулся я вперед и застрял... Этого именно и надо было ожидать.

Я продирался боком, левым плечом вперед, и теперь бревенчатые стены сдавили мне грудь и спину. Мне показалось, что я даже слышал, как у меня в груди что-то хрустнуло, как будто треснула кость... Я стал отчаянно рваться туда-сюда, но не мог продвинуться ни вперед, ни назад. Посмотрел я вверх — там крыша, темно; оглянулся на поле — там пусто; взглянул в противоположную сторону, к выходу во двор, — и там ни живой души, даже Сашка исчез. А между тем грудь сильно, жестоко ломило и дыхание спиралось...

И вдруг страшная мысль поразила меня — так, что даже холодный пот крупными каплями проступил у меня на лбу, и я весь вздрогнул, словно под дуновением чьего-то ледяного дыхания. «Что я наделал! — мысленно говорил я себе. — Что будет, если я не смогу вырваться отсюда? Я пропал...» Мысли, или, вернее сказать, обрывки мыслей беспорядочно теснились в моей голове. Страх одолевал меня; воображе-



ние разыгрывалось и рисовало мне картины одну ужаснее другой. Но, несмотря на смятение, охватившее меня, я совершенно отчетливо представлял себе мое положение. Никто не может прийти мне на помощь, никто не успеет спасти меня, если я сам не вырвусь отсюда...

«Взрослому человеку,— думалось мне,— не пролезть за мной...» Чтобы освободить меня, надо было сбросить часть двух крыш и почти совсем разобрать две большие стены, и надо было разметать их сейчас же, сию минуту, а не то я могу каждую минуту задохнуться в этих ужасных тисках...

А когда станут разворачивать эти толстые стены, сжимающие меня и угрожавшие раздавить меня, не может ли на меня скатиться какое-нибудь бревно и убить меня? Да и где же скоро раскатить две такие большие стены?.. Да и *когда* еще узнают, что я здесь, в нескольких шагах от родного дома, задыхаюсь, стиснутый, сдавленный этими почернелыми бревенчатыми стенами, и с минуты на минуту могу погибнуть ужасною, мучительною смертью. Эта мысль, как молния, полыхнула в моем уме и злобещим светом озарила передо мной весь ужас моего безвыходного положения...

Мне становилось трудно дышать, груди было очень больно, и я не мог пошевелиться. Я хотел крикнуть: «Прощай, мама, милая моя!.. Прощайте все!» — но голоса не хватало; мне делалось дурно; мне уже казалось, что я задыхаюсь...

Все обрывки мыслей и чувств, волновавших меня тогда и походивших иногда на бред, пронеслись во мне в несколько мгновений, хотя теперь краткое и неполное описание их заняло много времени и места.

Без борьбы мне все-таки не хотелось сдаваться. Я решил попытаться спастись... Пробиваться в поле нечего было и думать. Единственный путь к спасению — постараться двинуться назад, туда, где расстояние между стенами становилось шире. И я изо всех последних сил, с энергией отчаяния рвался и продирался в этом направлении. Наконец-то, сжимаясь сколько было возможно, работая плечами, я не-

много, чуточку протискался назад, потом еще немного, еще вершок, еще...

И вот, полузадохнувшись, потеряв фуражку, со всклооченными и мокрыми от пота волосами, выбрался я из проклятого «ущелья» на Божий свет.

Рубашка моя была изорвана, руки расцарапаны в кровь, а плечи, спина и бока все были в синяках...

Выйдя из «ущелья», я тотчас же наткнулся на Сашку, возвращавшегося из людской с куском хлеба и луковицами.

— Ой, Сашка!.. Я ведь чуть не задохся...— прерывающимся голосом сказал я ему, прислоняясь к углу стены и с наслаждением чувствуя, что я могу дышать свободно, что я буду жить.

А Сашка, как настоящий философ, хладнокровно посмотрел на меня, утер нос рукавом и нравоучительно проговорил:

— Уж больно храбер! Подумаешь, какой Наполион!..

Он, по-видимому, сердился на меня.

Здесь, кстати, я должен пояснить, что Сашка через меня имел удовольствие познакомиться не только с Наполеоном и его маршалами и генералами, но даже и с Александром Македонским.

Я поприветствовал волосы, надел фуражку, добытую Сашкой из «ущелья» палкой, накинул на плечи пальто и направился домой. Запыхавшийся и в довольно жалком виде предстал я перед няней.

Старушка так и ахнула... А когда я снял с себя разорванную рубашку и няня увидала синяки на моих плечах, так я думал, что ее аханью, оханью и упоминаниям о розге и конца не будет.

Я убедительно просил ее ничего не говорить маме. Впрочем, кажется, ей и самой не хотелось причинять моей матери напрасную тревогу. Но когда я пораздумал о своем намерении утаить от мамы о своем приключении, мне стало очень совестно. Я всегда был откровенен с мамой и

признавался ей во всех своих проказах. Я знал, что она доверяет мне, и теперь совесть меня мучила за то, что я не оправдываю ее доверия, обманываю ее. Я думал, что скрывать, утаивать от мамы свой дурной поступок — значило все равно что обманывать ее, то есть казаться ей лучше, чем я был в действительности.

Вскоре же, как-то вечером, сидя на скамейке у ног матери, я прислонился к ней и, протянув руки к ней на колени, признался в совершенной мною опасной экспедиции. Мама ласково пожурила меня, погладила меня по волосам, поцеловала и беспокоилась лишь о том, чтобы эта шалость не отразилась дурно на моем здоровье.

После того, проходя по двору, я никогда не мог смотреть на «ущелье» без какого-то неприятного, тяжелого чувства, похожего на тайный ужас. Я смотрел на него так же, как человек посмотрел бы на могилу, в которой он был заживо погребен и лишь случайно не остался в ней навсегда...

Грудь у меня долго болела.

## VI

В полуверсте от нашей усадьбы на полдень залегало большое болото. В сильные жары болото местами высыхало, но кое-где и в самое горячее, сухое лето в нем стояла вода. Место было низкое, топкое, но летом оно представляло собой живописную и яркую картину.

По болоту там и сям росли березки, мелкий олешняк, ельник, кусты шиповника и можжевела. Трава здесь была густая, высокая, сочная и пестрела цветами. Особенно были крупны и ярки незабудки. Над водой белели крупные цветы кувшинки, и на поверхности стоячих вод плавали ее круглые блестящие листья. По канаве почти сплошь росли кусты шиповника, и с половины июня канава казалась обсаженною кустами алых роз.

Над болотом в жаркие летние дни носились с неумолкаемым жужжаньем красивые стрекозы и несметные рои всевозможных насекомых. Иногда большая зеленая лягушка взбиралась на кочку погреться на солнце. Порой змея скользила в траве.

Теперь, осенью, наше болото представляло грустное зрелище...

Блеклая трава, серый, безлиственный кустарник, серое плачущее небо, темные стоячие воды, вздохи ветра в безмолвии этой безотрадной северной пустыни — все наводило грусть, погружало в уныние. Зеленые ели да красные крупные ягоды, уцелевшие кое-где на ветвях шиповника, несколько разнообразили общий серый тон; но и они не могли придать веселого вида печальной картине.

В эту осень несколько человек крестьян расчищали болото — ту его часть, что примыкала к полю: отец мой задумал отвоевать у болота две-три десятины земли, очистить ее, осушить и превратить в луга. Крестьяне рубили кусты и мелколесье, росшее по болоту, выкорчевывали пни, а ненужный валежник, тонкие, узловатые корни деревьев складывали тут же в кучи и сжигали.

Едкий запах гари целые дни стоял над болотом, но в сыром, холодном воздухе этот запах мне казался даже приятным. Я часто бегал на болото к рабочим, разжигал костры, собирал валежник, подбрасывал его в огонь — словом, старался до пота лица. И вид этих огней, разложенных на болоте под серым, тусклым небом и мерцавших сквозь туман, синеватый дым, стлавшийся по-над землею, и запах гари в сыром осеннем воздухе очень живо запомнились мне.

С этим болотом связывается для меня еще одно воспоминание...

Как-то осенью, в августе, мне удалось убить в болоте большую серую змею. Идя по густой высокой траве, я почти наткнулся на нее. Змея спала, свернувшись кольцом и блестя на солнце своею темно-серой, стальной чешуей; за-

слышав в траве шорох моих шагов, она проснулась, поползла в сторону и забралась в куст. Я вооружился палкой и стал выгонять ее из куста. Змея долго и злобно шипела, не показываясь из куста, но, наконец, выползла, и я убил ее.

Я знал, что, по народному поверью, за каждую убитую змею человеку прощается сорок грехов. Хотя я и считал себя за большого грешника (шалости я почитал за грех) и мне, конечно, было бы приятно и выгодно уменьшить на сорок грехов массу моих преступлений, но змею-то я убил вовсе не из эгоистичных побуждений. Мне казалось очень странным, почему за убийство змеи, за такое легкое дело, прощалось так много грехов и почему именно сорок грехов, а не сорок один или не тридцать девять.

Вообще я не верил этому. Дело было проще... В то лето на моих глазах змея ужалила крестьянина, косившего на окраине болота, затем ужалила одну девочку из соседней деревни, и девочка едва не умерла. Я слышал, что змеи жалят и собак, и зайцев, и птичек, и вообще всякую живую тварь. Поэтому я считал змею вредной и опасной; прямо сказать, убить змею для меня представлялось несомненно добрым делом. Одной гадюкой меньше на свете — значит, меньше опасности для людей и животных.

Убивать «гадину» научил меня Андрей.

— Возьми палку,— говорил он,— сделай на конце ее расщеп, прихвати еще другую палку, потолще да покрепче. Как ты гадину-то увидишь, так, значит, и защеми ее в расщеп-то, поближе к голове, да к земле и прижми, чтобы не могла она уползти. Тут уж не зевай, смотри в оба!.. Ведь она проворная... Ну, как к земле-то прижмешь ее хорошенько, тут и дуй ее палкой по голове... Не скоро, братец, ее убьешь! Иной раз притворится мертвой и, того гляди, махнет на тебя. Тут уж она со злости-то до смерти зажалит...

Ужей, с виду похожих на змей, но безвредных и кротких, я умел отличать и никогда их не бил.

Когда я смотрел на мертвую змею, лежавшую у моих ног, мне пришло в голову напугать няню, взять змею и

унести ее домой. Моя Тарасьевна чрезвычайно боялась змей и вообще всех тех животных, каких зовут «гадами». Она считала их «погаными», даже не любила упоминать о них и говорила о них с отвращением.

Мне было известно народное поверье, что будто змею сколько ни бей, она ни за что не умрет до заката солнца, весь день будет лежать как мертвая, не пошевелится и *совсем* умрет лишь после того, как зайдет солнце. Но я не побоялся свернуть змею, как веревку, положил ее в карман и отправился домой.

Няню я застал, как водится, за вязаньем у стола... Я подошел к ней, вытащил потихоньку из кармана змею и брякнул ее на стол прямо перед Тарасьевной. Труп змеи, сжатый мною в кармане, очутившись на столе, мигом выпрямился во всю длину, и оттого могло показаться, что змея еще жива и шевелится. Няня просто ополоумела, вязанье ее полетело на пол, и, бледная, перепуганная, она закричала не своим голосом:

— Разбойник! Что ты делаешь!..

Я ожидал и желал именно чего-нибудь вроде того, что произошло, но при виде испуганной, растерявшейся старушки мне стало досадно на себя, жаль няню... Я немедленно же выбросил змею за окно и принялся успокаивать Тарасьевну. Я ластился к ней, целовал ее и чуть не со слезами просил у нее прощения. Нелегко мне было на этот раз успокоить старушку и помириться с ней.

— Вот опоганился теперь, совсем опоганился! — шептала няня и с сокрушением покачивала головой.

Няня тщательно вымыла стол, окропила его святой водой, а вечером дольше обыкновенного молилась перед образом Николая чудотворца — молилась, вероятно, за меня, опоганившего себя прикосновением к отвратительной, нечистой гадине...

Сашка был не только товарищем игр и шалостей, но и поверенным моих фантастических планов на будущее, моих дум и мечтаний. Он с невозмутимым спокойствием выслушивал все, но рассказами моими не увлекался и относился к ним недоверчиво, как относился Санчо-Пансо к мечтаньям Дон-Кихота... Я также делился с ним теми крупницами знаний о Божьем мире, какими обладал я сам.

Почти каждый день я пересказывал Сашке содержание моих уроков, за исключением математики, которую терпеть не мог, за что мне впоследствии и доставалось в гимназии. Уроки мне давала мама. Мы занимались с нею по утрам, на свежую голову, часа полтора-два.

В сумерки иногда мы с Сашкой брали по куску черного хлеба с солью и усаживались на крыльце или на низкой скамье, под старыми развесистыми березами, осенявшими наш старый деревенский дом.

Пересказ моих утренних уроков Сашка выслушивал без особенного интереса, усердно уплетая хлеб. Он больше любил «военные» рассказы и рассказы «страшные» — о покойниках, о привидениях, сказки о колдунах, о людоедах, о Бабе-яге...

Тогда я увлекался Наполеоном и довольно подробно рассказывал Сашке историю этого полководца, и Сашка с моих слов заучил имена многих наполеоновских маршалов и генералов, а также и названия знаменитых битв. Когда Сашке надоедало кровопролитие, он приступал ко мне:

— Расскажи лучше что-нибудь страшное...

Я припоминал кое-что из сочинений Жуковского и, переиначив какую-нибудь балладу, принимался рассказывать всякие ужасы. И Сашка оставался вполне доволен.

Сашка был белокурый мальчуган с милым, приятным лицом, и веснушки, появлявшиеся летом, нисколько не портили его лица. Сашка был неразговорчив, замкнут, грубоват, порой остроумен и насмешлив, был неглуп и гораздо

рассудительнее меня. Он по-своему любил меня, был ко мне привязан, и я платил ему тем же. Он уж давно умер. Но я не позабыл его и как живого вижу перед собой...

Бывало, подолгу сидели мы с Сашкой на скамейке, под березами, и тихо переговаривались. Последний брежжущий свет осенних сумерек уже замирал, вечерняя мгла окутывала дали, в доме и в людской избе зажигались огни; Сашка наконец уходил домой, а я еще долго сидел под безлиственными ветвями деревьев и предавался своим детским мечтам. Задумчиво смотрел я в темневшую даль и бог весть куда уносился мыслью...

Иногда я вспоминал о минувшем лете, и мне становилось жаль исчезнувшего голубого неба, яркого, теплого солнца, зеленой густой листвы и отцветших цветов.

В одной из моих книг было стихотворение, которое мне пришлось очень по душе, и я заучил его наизусть. И не раз в сумерки, в минуты грустного раздумья и воспоминаний о лете, я повторял его про себя:

И не слышно птичек больше,  
Не видать в саду цветов,  
Мрак ночей гораздо дольше  
Простирает свой покров.

К югу тянутся станицы  
Перелетных журавлей,  
И огнистые зарницы  
Озаряют мрак ночей.

Филин в роще завывает,  
Ветер яростно шумит,  
Будто песню напевает,  
Будто сказку говорит...



Однажды в начале ноября, около Михайлова дня, проснувшись утром, я с изумлением заметил, что в моей комнате какое-то странное освещение. Солнечный луч не играл на стене, как бывало в ясные дни; но вместо серого, сумеречного освещения, к какому я привык в течение последних недель, в комнате разливался какой-то белесоватый свет. Я вскочил с кровати, подбежал к окну и был приятно поражен.

За окном все было бело, кроме заоблачившего неба и далее, синевших на горизонте и резко отделявшихся от белой пелены, покрывшей землю. Двор, деревья в саду, изгороди, крыши сараев и изб, поля и луга — все было покрыто, увешано, запорошено пушистым снегом. Впервые видел я зимний сельский пейзаж.

— Няня, снег! — с восторгом вскрикнул я.

— Да, батюшка, и зимушка настала... — отозвалась няня. — Будем теперь печки топить, станем на лежанке греться...

Но мне в то утро было не до печки и ни до чего... За уроками я был рассеян и поминутно взглядывал в окно на березы, увешанные снежными хлопьями, и на нахохлившихся ворон.

По окончании уроков я мигом сбежал в свою комнату, натянул валенки, полушубок, подпоясался красным кушаком, нахлобучил шапку и, на ходу напяливая на руки теплые рукавички, побежал в людскую избу; там на чердаке в ожидании зимы хранились мои маленькие лыжи. Осенняя непогода, дожди и грязь надоели мне, и я был рад-

---

*Михайлов день* — день Михаила архангела (по новому стилю — 21 ноября).

радешенек зиме. Еще бы!.. Столько удовольствий являлось мне впереди! Беганье на лыжах, катанье с «горы», катанье в саночках со Всеволодом Родионовым на Карьке... О, да мало ли еще какие наслаждения принесет мне красавица-зима!..

Снегу оказывалось еще мало на полях, снег был рыхлый, и бегать на лыжах было еще тяжело. Но все-таки я обежал одно поле, край болота и проскользнул по ручью, скованному льдом. Знакомые места под снежной пеленой являлись мне теперь совсем в другом виде; иные знакомые уголки я почти не узнавал... Когда я возвращался к обеду домой, пошел снег, и я с живейшим удовольствием смотрел, как снежные хлопья, крутятся и мелькая, летели в воздухе.

От усиленной ходьбы на лыжах я согрелся, щеки мои пылали, чувствовалась какая-то приятная усталость, но дышалось легко, и на душе было так хорошо, светло и ясно. Весь запорошенный снегом, явился я к няне и, не дав ей вымолвить слова, остановился среди комнаты и, с величественным видом подняв руку, глухим гробовым голосом продекламировал:

С белыми Борей власами  
И с седою бородой,  
Потрясая небесами,  
Облака сжимал рукой.  
Сыпал инеи пушисты  
И метели воздымал...

— Раздевайся, раздевайся, батюшка, скорее! Полушубок-то надо стряхнуть... Эх снегу-то наташил!..— говорила няня.

Так торжественно-радостно отпраздновал я встречу первой зимы в деревне, посреди побелевших полей и лесов.

---

*С белыми Борей власами... И метели воздымал...*— начало стихотворения Г. Р. Державина «На рождение в Севере порфиородного отрока» (1779), посвященного будущему императору Александру I.

Гор в нашей стороне не было и в помине. Искусственной горы для катанья мне не делали; вместо горы мы с Сашкой пользовались взездом.

Взездом в нашей стороне называется довольно широкий, высокий и крутой помост из тонких бревен, приделываемый к стене скотного двора для того, чтобы по нем лошадь могла поднимать воз с сеном в верхнее помещение двора. Зимой после первой же оттепели взезд у нашего скотного двора слегка обледенел, запорошился снегом и представил довольно гладкую поверхность.

Я поднимался на верх взезда, таща за собой саночки; Сашка следовал за мной. Добравшись до площадки, мы усаживались каждый в свои саночки и стремглав летели вниз. Саночки подпрыгивали на бревнах взезда, раскатывались, поворачивались боком, и при этом часто катальщик перекувыркивался и попадал носом прямо в снег. Но подобные злоключения, как известно, в счет не идут...

Раскат вниз взезда был довольно большой, по направлению к пруду.

Летишь, бывало, зажмуришься, просто дух захватывает, сердце так и замирает. А иногда вдруг со всего размаху — бух в снег... Уж чего веселее! Смеешься, бывало, вскочишь, отряхаешься...

Иногда Всеволод катал меня с Сашкой на моем любимом Карьке, давал и поправить... Но все-таки я всего более любил бегать на лыжах. Когда снегу намело везде сугробы и он слежался, осел, тогда образовался наст, тонкая ледяная кора на снегу. Тогда даже следов от лыж не оставалось, лыжи скользили, как по паркету, и бегать было легко и весело. Мчишься, бывало, на лыжах, и нет тебе удержу и никаких препятствий... Снег сровнял все неровности почвы, и я мчался по полям, по болоту, по оврагам, по льду речки.

В лес я не забегал: мама запретила, боясь волков. Но вдоль опушки леса я часто бегал и из-за кустов, занесенных снегом, заглядывал в лес. По снегу во всех направлениях

шли, путались следы зайцев, волков и собак, забежавших сюда с охотниками. Видал я не раз и зайцев, шмыгавших за кустами. В лесу, на полянке, стоял сеновал, и при виде его в моем воображении мелькал разбойничий лесной приют или вспоминалась избушка, где жила сказочная Баба-яга...

Зимой, в ясный солнечный день, лес в снеговом убранстве казался мне великолепным. Впрочем, лес, как и вообще сельский пейзаж, мне всегда был по душе — во всякое время года, во всякую погоду. В летние дни, когда солнце с безоблачного, лазурного неба лило потоки яркого света и тепла на землю, утопавшую в зелени и в цветах, тогда эти знакомые мне места казались жизнерадостными и внушали мне тоже светлое, жизнерадостное чувство. Теперь в этих белоснежных равнинах, в этих лесах, запущенных снегом и дремлющих под серым, холодным небом в ожидании весны, была грустная, задумчивая прелесть, и я своей детской душой чувствовал эту прелесть нашей зимней северной природы, хотя словами я и не мог бы выразить своих ощущений.

Вечером, возвращаясь домой, я останавливался у околицы и оглядывался на соседний лес, уже подернутый синеватой тенью зимних сумерек, на снежные равнины... Все было пустынно, безмолвно, безжизненно, но и в этом мертвенно-бледном зимнем виде было что-то привлекательное...

Зимние дни с белесоватым освещением, синие сумерки ясного морозного дня, лунные звездные сверкающие ночи и полумрак пасмурных зимних ночей — все было полно для меня таинственности и очарования... Нет в природе такого времени и такого уголка, где бы не было своей поэзии — светлой, торжествующей или грустной, или мрачной и величественной. Поэзия в природе всюду, надо только уметь найти ее, почувствовать, а найти и почувствовать ее может тот, кто просто, как ребенок, всматривается в ее таинственный лик...

Я и не заметил, как подошло Рождество, и рождественская звезда ярко загорелась в ясном вечернем небе над нашим садом. За обедом, поданным в тот день позже обыкновенного, при свечах, появилась у нас на столе вареная пшеница и медовая сыта, как всегда бывало в нашем доме в сочельник.

В тогдашней моей хрестоматии было одно святочное стихотворение. Я помню, что вечером в сочельник, глядя из окна в сад на деревья и куртины, озаренные луной, я шептал:

По небу бледный месяц плыл,  
Голодный зверь в ущелье выл.  
Морозит. Завтра Рождество!..

Утром в первый день праздника к нам пришли со звездой деревенские ребяташки «славить» и принесли с собой запах овчинных полушубков и струю свежего, морозного воздуха. После «славленья» я с живейшим интересом принялся рассматривать их «звезду».

Ободок решета был оклеен глянцевитой цветной бумагой, и по всей окружности ободка были наклеены красные бумажные зубчики. Дно решета снаружи было также оклеено цветной бумагой, а посередине красовалась лубочная картина, изображавшая Еруслана Лазаревич в борьбе с каким-то трехглавым змеем. Все это было сделано неумело, грубо, аляповато и мало напоминало звезду, но ребяташки, по видимому, чрезвычайно были довольны своим изделием.

*Медовая сыта* — сладкое сусло, отвар на муке и солоде.

*Сочельник* — канун Рождества.

*Куртина* — клумба.

«Славить» — ходить по домам с пением церковных песен во время праздника Рождества.

*Еруслан Лазаревич* — сказочный герой древнерусской литературы и фольклора.

Вечером была у нас елка, зеленая, стройная, горевшая огнями, увешанная гостинцами и всякой всячиной.

Сашка и его маленький братишка Витя вместе со мной радовались, глядя на елку, и получили с нее свою долю подарков и гостинцев. Мне с елки достались три особенно ценные подарка: «Сказки Перро» с рисунками, какое-то путешествие по Африке и картина с изображением арабов, охотящихся на львов.

Восковые свечи ярко горели, в комнате припахивало воском и свежей еловой хвоей, а я, сидя у елки на полу, с восторгом заглядывал в книжки и любовался на великолепную картину.

Живы воспоминания детства!.. Проживи я хоть еще сто лет, они останутся в моей душе так же ярки и свежи...

Все разошлись, я один остался в потемневшей зале. Свечи на елке догорали и гасли одна за другой, и лишь дымок, синеватой струйкой поднимавшийся там и сям среди зеленой хвои, указывал на то место, где догорела свеча. С каждой потухавшей свечкой в комнате становилось темнее, и ель погружалась в тень...

Я, как сказано, был склонен к мечтательности. Даже и теперь, в праздничные, веселые минуты, зеленая разукрашенная елка навеяла на меня грусть... Я представлял себе елку живым, чувствующим существом и, глядя на нее, думал: «Может быть, ей было больно и страшно, когда острие топора вонзилось в ее крепкий, стройный ствол»... Срубили елочку, лишили ее жизни. А как хорошо ей жилось в родном лесу! Спокойно, привольно, в тиши стояла она там, прикрытая сыпучим снегом, в ожидании светлых дней весны... Заяц, может быть, иногда под нею лежал, белка, распушив хвост, прыгала по ее ветвям, может быть, серый волк пробежал мимо нее. Летом порхали по ней птички и пели свои песенки...

Теперь с отрубленными корнями стоит она в комнате, и не радует ее ни ее блестящий наряд, ни блеск свечей. Высохнет ее хвоя и начнет осыпаться; снимут с нее все

украшения, и очутится бедная елочка за кухней; изрубят ее, и кухарка, старуха Матрена, вместе с дровами сожжет ее в печке.

### III

Зимой я ложился спать рано, тотчас же после ужина, в десятом часу, и, понятно, к пяти-шести часам утра я уже высыпался. Проснешься, бывало, полураскроешь глаза и видишь: на столе горит свеча, на окнах, разрисованных морозом, выступают белые узоры — какие-то фантастические листья, цветы, а за окном еще темно-темно... Няня с черным платочком на голове и в серой телогрейке ставит у печки самовар, старательно раздувая уголья; лицо ее то озаряется красноватым светом разгорающихся угольев, то пропадает в тени.

В доме тихо, все еще спят. Только мы с няней встаем с петухами, ни свет ни заря.

Несколько минут я лежу в полудремоте, потягиваюсь под теплым одеялом, то сомкну глаза, то открою, не то сплю, не то бодрствую, и какое-то отрадное чувство довольства и уюта охватывает меня, как будто в ту пору я чувствовал себя под чьим-то крылом, защищавшим меня от всех житейских бед и напастей. Давно уже я не испытываю этого отрадного, сладостного чувства, порывов наивной детской веры в то, что меня берегут, хранят и люди, и ангелы Божии, что никто меня не обидит под таким надежным покровом...

Когда же, бывало, я услышу, что самовар уже шумит и начинает закипать, я окончательно пробуждаюсь и бормочу:

— Здравствуй, няня!

— Здравствуй, батюшка! Вставай-ка, поднимайся! Станем чай пить,— ласково говорит няня, приготавливая на стол чай.

Я сбрасываю с себя одеяло, соскакиваю с постели и начинаю умываться. Я мигом одет, наскоро причесан и сижу за столом с няней перед весело шипящим самоваром. Няня

наливает мне чашку чая, я беру ломоть ржаного хлеба, щедро посыпанный солью, и с аппетитом ем его, прихлебывая ароматный чай.

В это время няня иногда рассказывала мне свои сны. Иногда же я вытаскивал из-под подушки книгу и, попивая чай, принимался за чтение. Как были хороши эти тихие ранние часы, когда за окном в саду еще лежала ночная тень, а деревья и кусты, запорошенные снегом, мерещились, как привидения, в белесоватом сумраке!..

Давно уже кончились наши ранние зимние вставанья при огне, питье чая и чтение в ночной тишине... Давно уж нет на свете моей милой няни, нет мамы, папы и Всеволода Родионова, и Сашки, и старухи Матрены, и дядюшки Андрея; но теперь, когда я пишу эти воспоминания, *они оживают* передо мной. И страстно хотелось бы мне снова пожить с ними той далекой, прежней жизнью, побеседовать по душе, но они безмолвны, они молча проходят передо мной...

В девять часов я шел наверх, в столовую, пить чай, уже «настоящий», с мамой и папой. Тут уж были сливки, булки, еще теплые, только что вынутые из печки. Но чай с няней ранним утром был для меня милее и живее сохранился в памяти... Вскоре после чая я забирал книги, тетради и шел заниматься с мамой, а затем до обеда бегал на лыжах, гулял с Сашкой по усадьбе, устраивал из снега батареи... В сумерки я усаживался иногда на полу перед топившейся печкой и смотрел на груды горячих угольев, где рисовались передо мной всякие фантастические картины — горы, прорезанные темными ущельями, огненные пропасти, башни на скалах, замки, тут же на моих глазах превращавшиеся в развалины...

Вечером, когда зажигали огонь, я принимался за арифметические задачи, заучивал французские и немецкие стихотворения, читал хрестоматию, чертил географические карты на память; помню, что мне хорошо удавались Апеннинский и Пиренейский полуостровы, Дания, Швеция, Норвегия и Балканский полуостров с Мореей. Франция, а уж в

---

*Морея* — название греческого полуострова Пелопоннес.



особенности Австрия, Пруссия и Германия выходили плохо. Я никак не мог освоиться с королевствами, герцогствами и княжествами, составлявшими в ту пору Германский союз. Ведь в среде владетельных особ в Германии бывали тогда, например, и такие микроскопические правители, как граф фон Лимбург-Штирум, армия которого состояла из одного полковника, шести офицеров и двух солдат...

После вечернего чая я шел наверх, и мама читала мне вслух, или же я оставался в своей комнате, рисовал карандашом или тушью (я очень любил рисовать), то брался за книгу и читал или про себя, или няне вслух. Няня любила слушать сказки Пушкина, но баллад Жуковского терпеть не могла и вообще недолго любила рассказов о привидениях и мертвецах. По поводу «страшных» рассказов няня, бывало, с укором говорила:

— Умные люди... а нагородят такой чепухи, что ночи три не уснешь...

Иногда няня рассказывала мне сказки об Иване-царевиче, о Жар-птице и золотых яблоках, о Волке и Лисице, о Ветре Ветровиче... Этот Ветер Ветрович, по словам няни, жил со своими тремя дочерьми в большом доме, стоявшем в саду, а вокруг сада шла высокая стена... И мне почему-то всегда казалось, что дом Ветра Ветровича должен был походить на наш миролюбовский дом, также стоявший почти весь в саду; только наш сад был окружен не высокой стеной, а обыкновенным забором.

Только одну нянькину сказку я не любил — сказку про белого бычка. Иногда, когда я приступал к Тарасьевне за сказкой, старушка подсмеивалась надо мною:

— А не сказать ли тебе, батюшка, сказочку про белого бычка?

— Ну, няня! — с досадой отзывался я, надув губы.

— Ты говоришь: «Ну, няня!», да я говорю: «Ну, няня!..» А не сказать ли тебе сказочку про «пестрого бычка»? — с невозмутимым видом продолжала Тарасьева.

Поневоле приходилось молчать, а иначе пришлось бы еще долго слушать эту однообразную, скучную до одури сказочку.

В девять часов подавали ужин, и тем наш деревенский день кончался. Тотчас же после ужина я прощался — целовал у отца руку, усаживался к маме на колени, обнимал ее за шею и целовал ее несчетное число раз. Она ласково приглаживала мои вихрастые волосы и говорила:

— Ну-ну, будет! Иди же... Пора спать!

И я по полуосвещенной широкой лестнице спускался вниз, для краткости иногда скатываясь по перилам. Ложась спать, закутываясь в одеяло, я обыкновенно говорил:

— Спокойной ночи, няня!

— Спи, голубчик, с Богом! — неизменно отзывалась няня.

И я спокойно скоро засыпал...

Так шла и проходила зима...

Когда отец был в ополчении, на нашем семейном совете порешили, что меня пора отдать в гимназию (мне тогда было уже 12 лет), и мама отправилась со мною в Вологду.

В гимназии при расставанье я горько-горько плакал, повиснув на шее матери. Плакала и мама. Это была наша первая разлука и мои первые горькие слезы, горячие слезы, от которых надрывалась моя детская грудь...

Началась казарменная гимназическая жизнь, с ее горем и радостью, с ее тревогами и заботами, с темными опасеньями и мечтами...

На этом обрываются светлые, солнечные воспоминания из моего раннего детства.

---

*Началась казарменная гимназическая жизнь... с темными опасеньями и мечтами...*— Мой рассказ «Памятный день», вошедший в сборник под заглавием «Бывальщины и сказки», имеет отчасти автобиографическое значение: в нем с некоторыми незначительными отступлениями от действительности описано мое поступление в гимназию и первый день, проведенный мною в гимназическом пансионе (примечание П. В. Засодимского).



В ГИМНАЗИИ



**В** ФЕВРАЛЕ 1856 года я поступил своекоштным воспитанником в так называемый дворянский пансион, находившийся при Вологодской гимназии, и оставил его в июне 1863 года, по окончании гимназического курса. Таким образом, мое пребывание в этом пансионе охватывает период времени немного более семи лет. Я поступил в гимназию в ту темную, глухую пору, когда наш пансион представлял собой тесный, замкнутый мирок...

Строители гимназии, говорят, хотели первоначально придать зданию вид буквы П, но, по недостатку денежных средств или по чему-нибудь иному, не достроили третьей стороны здания, и поэтому вместо П получилась несколько неправильная буква Г. Одной стороной гимназия наша выходила на улицу, а фасадом — на площадь, так называемый «плац-парад», или «парадное место», где происходили солдатские ученья и куда заходили иногда соблазненные зеленой муравой лошади и коровы. На противоположной стороне площади, *vis-à-vis* с гимназией, стоял (да стоит и поныне) губернаторский дом и рядом с ним духовная семинария. С третьей стороны площади некогда находилась гауптвахта, но в 60-х годах она за ненадобностью была уничтожена и на ее месте воздвигнут деревянный сарай для городского театра.

Высота здания, большие окна и фасад с колоннами придавали нашей гимназии весьма внушительный вид.

При гимназии находился довольно большой, густой сад, бывший во владении директора, который, впрочем, им поч-

---

*Своекоштный* — находящийся на собственном содержании.

*Пансион* — платное общежитие при гимназии.

*Vis-à-vis* — друг против друга (франц.).

*Гауптвахта* — караульное помещение.

ти не пользовался. В пользовании же пансионеров находил-ся двор, усыпанный песком и окаймленный с трех сторон аллеями тощих березок, не дававших ни малейшей тени. В аллеях стояло несколько скамеек. На этом дворе в лет-нюю пору пансионеры играли в мяч, в лапту, в городки, свайку и тому подобное.

Спальни состояли из трех комнат — для младшего, среднего и старшего возраста — и содержались в безукориз-ненной опрятности и чистоте. На каждую койку полагались: матрац, простыня, байковое одеяло и подушка; у каждой койки стоял табурет. Гувернер спал в средней комнате. По ночам в спальне горели свечи. Дежурный сторож в ва-ленках, как призрак, неслышно бродил по спальне, снимал со свечей, прикрывал спящих, если те во сне сбрасыва-ли с себя одеяло, а остальное время дремал на табурете у стены.

В 6 часов утра, по приказанию гувернера, сторож обхо-дил спальни, громко звоня в большой колокольчик. Этот звон колокольчика был чрезвычайно неприятен, особенно в темную зимнюю пору, когда в спальне бывало довольно свежо и хотелось еще спать. Если после звонка кто-нибудь продолжал нежиться, сладко потягиваться или же снова за-сыпал, с того гувернер без церемонии сдергивал одеяло, и тогда уж поневоле приходилось вскакивать и одеваться.

Здесь кстати заметить, что пансионеры дома носили куртки с красными воротниками, а при выходе из гимназии надевали однобортный мундир с красным стоячим ворот-ником, с золотым позументом и с красными же обшлагами рукавов. Фуражка с красным околышем и синевато-серого цвета шинель, «подбитая ветром», довершали наш костюм. Ни калош, ни более теплого одеянья зимой не полагалось. Нас во многих отношениях вели по-спартански. Отмечаю

---

*Свайка* — игра, состоящая в метании большого железного гвоздя в кольцо, лежащее на земле.

*Гувернер* — воспитатель.

эту черту старых школьных порядков как заслуживающую одобрения, по моему мнению.

За красный воротник и за красные обшлага рукавов уличные мальчишки звали нас в насмешку «красноперыми окунями». Этот эпитет, конечно, не представлял собой ничего предосудительного, но помню, что в то время почему-то он казался нам крайне обидным.

У пансионеров первых четырех классов волосы стриглись низко, под гребенку; воспитанники же старших классов могли оставлять спереди и сбоку волосы подлиннее. Начальство не разрешало подобные вольности, но лишь терпело их, смотря на них сквозь пальцы... В известное время, по приказанию гувернера, к нам в гардеробную являлся унтер-офицер, старичок с разноцветными нашивками на рукаве, и исправлял должность цирюльника. Желавший сохранить спереди для красоты два-три вихра обязательно был должен незаметным образом сунуть унтер-офицеру гривенник или пятак. Впрочем, в течение первых трех-четырех лет моего пребывания в пансионе ученики только VII класса носили сравнительно длинные волосы.

Залой для занятий служила большая продолговатая высокая комната; стены ее были голые, снизу до половины окрашенные в темно-зеленую краску, а выше — серовато-желтые. Только на одной стене висело расписание уроков да в передней части залы, в нише, помещался в широкой золоченой раме художественно написанный большой образ Спасителя, благословляющего хлеб и вино. Неподалеку от образа стояла гувернерская конторка и возле нее кресло для гувернера.

В этих стенах прошли семь лет моей жизни — семь лет из того возраста, когда все впечатления бывают так живы и

---

*Под гребенку* — коротко, сколько можно захватить.

*Унтер-офицер* — лицо младшего командного состава из солдат.

*Цирюльник* — парикмахер.

*Гривенник* — десятикопеечная монета.

ярки, и понятно, что незатейливая полуказарменная обстановка пансионской залы, как топором зарубленная, глубоко врезалась в моей памяти. Много было пережито в этих стенах... Здесь я узнал и горе новичка, тоску по родном доме, по деревенской свободе, и блаженные минуты горячих признаний в дружбе и в братской любви, и радость по случаю удачно сданных экзаменов и близких каникул, и темные страхи перед единицами и двойками, и дух захватывающие опасения угрожающих наказаний...

Утром, около семи часов, по приходе из спальни в залу, один из воспитанников по очереди читал молитву, после чего мы садились за занятия — зимою при свечах. В половине восьмого сторожа начинали накрывать на стол; в зале распространялся вкусный запах ржаного хлеба. В это время гувернер заканчивал рапорт за день своего дежурства; те, кто были вписаны в рапорт за шалости или вообще за дурное поведение, ожидали для себя обыкновенно более или менее значительных неприятностей... В восемь часов по звонку гувернера садились завтракать. На завтрак нам давались тарелка молока и ломоть хлеба; в пост (то есть на первой, четвертой и седьмой неделе Великого поста) — ломоть хлеба и стакан сбитня, а впоследствии чая. После завтрака перед уроками давался отдых (на пансионском языке — «гулянье»). За несколько минут до девяти часов — опять звонок, опять «Rangez vous», опять становились в пары: маленькие — впереди, большие — в арьергарде, и расходились по классам. К этому времени уже обыкновенно являлись инспектор и классный надзиратель, а приходящие ученики были уже почти все в сборе.

---

«Rangez vous» — команда «строиться» (франц.).

Арьергард — задние ряды.

Инспектор — помощник директора по воспитательной и учебной работе.

Классный надзиратель — помощник классного наставника (воспитателя).

От девяти до половины двенадцатого были два урока, разделенные пятиминутной передышкой, так называемой «малой переменной», а с половины двенадцатого до 12-ти была «большая перемена», во время которой пансионеры уходили в залу завтракать. На этот второй завтрак давалась тарелка бульону с ломтем хлеба.

В 12 часов мы опять шли в классы и оставались там до половины третьего; за это время опять проходили два урока, разделенные «малой переменной». Возвратившись из классов, мы садились обедать, причем гувернеры помещались на противоположных концах стола. Инспектор во время обеда обыкновенно расхаживал по зале то молча, то заговаривая с гувернерами или с воспитанниками, то отведывая кушанье. Для него на маленьком столе ставился обед, и пансионеры были глубоко убеждены в том, что инспекторский обед гораздо вкуснее и больше наших порций. Те, кому удавалось отведывать кушанья с инспекторского столика, уверяли, что бульон на том столике оказывался наварнее и каша гораздо жирнее...

От трех и до пяти давался отдых. В это время желающие — весной и осенью — могли идти на двор, а зимой иногда ходили гулять по улицам в сопровождении гувернера. Последнего рода прогулок воспитанники недолго любили, и поэтому эти хождения попарно по городу устраивались редко. Во время «гулянья» одни играли, другие занимались чтением, иные мастерили что-нибудь...

В пять часов по звонку мы садились за приготовление уроков к следующему дню и корпели над учебниками до восьми часов. Это время на нашем пансионском жаргоне называлось «занятиями». Во время «занятий» нельзя было ни разговаривать громко, ни увлекаться посторонним делом, ни расхаживать по зале. Для того чтобы выйти из залы, воспитанник должен был каждый раз просить позволения у гувернера, то есть, подойдя к гувернеру, молча прикладывая правую руку — ладонью наружу — к правому виску, на что гувернер обыкновенно, также молча, в знак согла-



сия кивал головой. В восемь часов мы садились за чай; на каждого полагались стакан чая и булка — печенья нашего гимназического повара. С восьми до девяти часов следовал отдых. В девять становились на молитву «по ранжиру» и затем шли в спальни. День кончался...

Наша затворническая трудовая жизнь разнообразилась лишь редкими приездами особ из Петербурга, посещениями родных да отпусками на праздники. Вскоре по поступлении моем в пансион нашу гимназию посетил И. Д. Делянов (впоследствии министр народного просвещения), бывший в ту пору, сколько мне помнится, попечителем Петербургского учебного округа. Отцы почти никогда не приходили к нам. Посещения же матерей, сестер, теток были, конечно, приятны, но в то же время немало стесняли нас, маленьких спартанцев. Нам словно было стыдно ходить на свиданья с матерью или сестрой... Когда пансионер возвращался с подобного свиданья в залу, товарищи обыкновенно смеялись, подтрунивали над ним:

— Ну что, маменькин сынок! Пирожков принесли? Или пряничков, конфеток?..

Прозвище «маменькин сынок» было в числе самых обидных, унижительных эпитетов, так как оно считалось синонимом неженки, баловня, плаксы...

На праздники отпускали к родным и знакомым не иначе, как с билетом, на котором родные или знакомые должны были отмечать, в котором часу воспитанник отправился от них в гимназию. Возвращались в пансион в воскресенье вечером или в понедельник утром — не позже девяти часов. Если пансионер опаздывал, то на билете следовало указать причину его неявки в срок. При отпуске на Святки, на Пасху и каникулы воспитаннику выдавались платье и книги, которые впоследствии и получались от него по записке.

---

*«По ранжиру» — по росту.*

*Попечитель Петербургского учебного округа — руководитель сети учебных заведений данного округа.*

В первые годы моего пребывания в гимназии устраивался перед Святками торжественный акт, на котором публично под звуки музыки директором и попечителем гимназии раздавались награды. На этот же случай выставлялись в зале лучшие работы учеников по рисованию. Я никогда никаких наград не получал, на Святки в гимназии не оставался, а всегда уезжал к родным в деревню, где бегал на лыжах сломя голову по полям и лесам, занесенным сугробами снега, а долгие святочные вечера проводил над книгами из отцовской библиотеки. Об актовом священнодействии я знаю лишь по слухам и поэтому не распространяюсь о нем...

В церкви за всенощной и обедней пел — довольно недурно — наш гимназический хор под управлением наемного регента. Каждую неделю, сколько помнится, два раза после классов бывали спевки, причем дискантам и альтам иногда доставалось от регента камертоном по голове.

Раз в неделю являлся также какой-то военный человек учить нас гимнастике и маршировке — зимой в зале, а весной и осенью на дворе. Маршировку мы недолго любили, а гимнастикой занимались довольно охотно, так как она при существовавших в ту пору условиях у нас близко граничила с шалостями...

## II

При поступлении моем в гимназию директором был Аникита Семенович Власов (впоследствии директор одной из петербургских гимназий), человек довольно снисходительный к нам, к детям, и художник в душе. Он, говорят, написал прелестный образ Богоматери, который, впрочем, почему-то

---

*Регент* — дирижер.

*Дискант* — высокий детский голос.

*Альт* — низкий детский голос.

*Камертон* — инструмент, дающий основной тон в хоровом пении.

не мог быть помещен в нашей гимназической церкви, но стоял будто бы в алтаре.

Инспектором при Власове был Дмитрий Алексеевич Зяблов. Пансионеры вообще недолюбливали его как человека сухого, жесткого, мелочно взыскательного. Зяблов любил сечь. Меня он никогда не наказывал, и я лично не видал от него ничего особенно дурного, но, тем не менее, сильно побаивался его. Ведь он мог миловать и карать всевозможными карами...

В те времена пансионские нравы были грубы и жестоки, и по поводу их по справедливости можно было сказать: «Железный век! Железные сердца!..» Тогда в среде пансионеров еще живо сохранялись воспоминания о том, как зимой на льду реки Вологды, близ Красного моста, устраивались кровавые побоища между семинаристами и гимназистами. Боролись, ходили стеной на стену, дрались на кулачках, поленьями, чем попало, и дело иногда доходило чуть не до смертоубийства. Также была еще свежа память о двух братьях-силачах Н-ных, убежавших из гимназии для поступления в военную службу. Братья были пойманы по дороге к Ярославлю, возвращены в гимназию и жестоко наказаны. Остались ли они в гимназии после экзекуции или были исключены — не помню.

Как сказание о недавнем прошлом ходил еще рассказ об одном воспитаннике, который после наказания розгами бросился на инспектора с перочинным ножиком, но был удержан сторожами и затем вторично наказан сильнее прежнего... Один пансионер, желая испытать силу воли, положил на камень большой палец левой руки и сам тяжелой

---

«Железный век! Железные сердца!..» — Измененная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» («Ужасный век, ужасные сердца!»).

*Красный мост* — мост через реку Вологду (в настоящее время на его месте выстроен мост, который соединяет улицы Зосимовскую и Добролюбова).

железной свайкой разбил его. Это происшествие случилось уже при мне.

В ту пору кулачное право — право сильного — в пансионе было еще в полном ходу. Гувернеры, как говорится, походя расточали направо и налево увесистые подзатыльники и драли за уши. Немец-гувернер однажды в пылу раздражения увлекся до того, что даже надорвал ухо воспитаннику. Инспектор наказывал розгами, невзирая на возраст. Старшие ученики колотили младших, и все вообще пансионеры жестоко дрались между собой. Новичку обыкновенно шибко доставалось ото всех. Помню, какие нравственные и физические терзания пришлось мне вынести в первые дни моего пребывания в пансионе. Даже гуверне, наконец, был вынужден вступить за ошеломленного новичка, хотя гувернеры относились к таким вещам вообще довольно индифферентно... Старшие воспитанники иногда под угрозой колотушек принуждали младших отдавать им свой чай или булку, а иногда и то и другое...

Не проходило недели, чтобы несколько человек не осталось без обеда, без завтрака или без чая; не проходило дня без того, чтобы несколько человек не постояло у стены или на коленях; не бывало такой субботы в течение учебного времени, чтобы не высекли человек 10—15. Одним словом, не бывало такого дня, чтобы кто-нибудь из «маленьких» горько не плакал от истязаний начальства или от побоев своих же товарищей. Из существовавших в пансионе наказаний самыми употребительными были: стояние у стены или на коленях, оставление без отпуска и розги. (В карцер садили очень редко, и то лишь воспитанников старших классов.) За шалости учеников записывали в журнал: в классе — учителя, в пансионе — гувернеры.

В субботу, в начале последнего, четвертого, урока, инспектор обходил первые три класса и всех записанных за

---

*Индифферентно* — равнодушно.

*Карцер* — помещение для временного одиночного заключения.

особенно выдающиеся шалости и тех, у кого в течение недели было более трех единиц, приглашал в гардеробную, где в его присутствии и происходила известная экзекуция. При исполнении этой отвратительной экзекуции главную роль играли два сторожа: Степан и старик Сергей. У Сергея, исполнявшего должность палача, были, разумеется, свои любимцы, которым доставалось от него гораздо легче, нежели тем, которые не заслужили его благоволения. Я слышал, что Сергей исполнял свое дело с особенным старанием. Этот невзрачный старикашка, малорослый, с длинными руками, с хриплым голосом, внушал к себе пансионерам глубокую ненависть... Я не испытал этого рода наказания, но, судя по отчаянным крикам, доносившимся из гардеробной, могу думать, что секли иногда очень больно.

Розги, бесспорно, одна из самых темных сторон старой школы. Розги растлевали мальчуганов. Помню, с каким ужасом и стыдом иной шел в первый раз за инспектором в гардеробную и каким жалким, униженным возвращался он после наказания в среду товарищей. После нескольких порок он уже привыкал к позору телесного наказания и из скромного мальчика мало-помалу превращался в отчаянно-го, бесшабашного нахала...

В памяти моей сохранились две экзекуции.

Один из проходящих учеников V класса, юноша лет 16, был оставлен инспектором без обеда, но ослушался и хотел уйти домой. Инспектор удержал его, а тот ударил инспектора по руке. На крик инспектора сбежались сторожа, и преступника увели в карцер. Дня через два после того гимназический совет приговорил наказать его розгами в классе в присутствии товарищей. И его товарищи-пансионеры вечером были позваны в класс, и виновный при них был жестоко наказан. После того, как бы для исправления, он был помещен в пансион и жил у нас недели две. Он держался от всех в стороне, ни с кем не разговаривал, хмурился и молчал. По-видимому, он сильно страдал в душе. От него также все сторонились, как будто вынесенный им

позор публичного посрамления отталкивал от него окружающих. Он смотрел исподлобья, как загнанный зверь; его лицо, смугловато-бледное, с резко очерченными чертами и с короткими прядями светло-русых волос, нависших надо лбом, было неподвижно и бесстрастно. Он, в свою очередь, казалось, платил презрением ко всему окружающему. Пансионеры — да, кажется, и гувернеры — побаивались его, как бешеной собаки... Затем этот несчастный исчез из пансиона и, сколько помнится, вскоре вышел из гимназии.

Другой случай... Несколько приходящих учеников составили заговор, накупили игрушечных ружей, барабанов, наделали каких-то воинских значков и знамен и задумали в одно прекрасное утро взять приступом гимназию. И действительно, в субботу на шестой неделе Великого поста заговорщики в начале девятого часа утра собрались у парадного подъезда и с шумом и гиканьем ворвались в гимназию, оттеснили сторожей, старавшихся унять их, и с торжествующими, победными криками пронеслись по широкой парадной лестнице, проникли в коридор и, стреляя из ружей, с барабанным боем прошли по коридору взад и вперед, стуча в двери классов древками значков и знамен. Несколько стекол, помнится, было разбито, вешалки для платья свалены, сторожа жаловались на ушибы. Скандал вышел громадный, еще неслыханный в стенах нашей гимназии.

Некоторые из пансионеров, узнав об открытии «военных действий», пришли в волнение и страстно желали присоединиться к нападающим, но гувернеры воспрепятствовали такому соединению армий. Между пансионерами были отчаянные сорвиголовы, и если бы они примкнули к нападающим, то погром принял бы более серьезные размеры. Дело кончилось тем, что главных «военачальников» в тот же день высекли, несмотря на то, что в их числе попались двое юношей из аристократической семьи. Я был в то время в I классе. У нас шел урок Закона Божия, когда инспектор вел в гардеробную пленных неприятелей. Наш почтенный законоучитель, отец Иоанн Прокошев, вступился

за осужденных и по обыкновению, приложив руку к груди, попросил инспектора простить виновных ради такого дня (Лазарева воскрешения). Но инспектор не снизошел на его просьбу.

Даже самые игры носили в то время какой-то грубый, жестокий характер. Так, например, одна из любимых игр состояла в том, что кто-нибудь, по жребию, становился в наклонной позе, а окружающие хлопали его. И тот должен был угадать, кто ударил его. Угаданный становился на его место; если же он не угадал, то игра, то есть битье, продолжалась. Иной злой шутник со всего размаху наносил такой чувствительный удар, что несчастный, не выдержав пытки, со слезами на глазах и весь красный от перенесенной боли, невольно вскрикивал и выпрямлялся. Отказаться же от игры значило заслужить всеобщее презрение и прозвища «неженки», «труса», «маменькина сынка» и тому подобные.

Иногда во время вечернего «гулянья», то есть между восемью и девятью часами, два крайние обеденные стола отодвигались в сторону, и таким манером образовывалось значительное свободное пространство. Сюда, как на арену, выходили желавшие померяться ловкостью и силою своих мускулов. За охотниками дело никогда не стояло. Пансионеры — от мала до велика — окружали эту импровизированную арену, стоя и сидя на скамьях и столах, составлявших как бы амфитеатр. Борцы для удобства иногда снимали куртки и засучивали рукава рубахи. Борьба иной раз переходила в довольно ожесточенную драку — к вящему удовольствию зрителей. Дерущиеся иногда сменялись одни другими, и это даровое представление длилось долго — до вечерней молитвы. Зрители аплодировали, любуясь на противников, возившихся на полу, в пыли. Гувернеры охотно

---

*День Лазарева воскрешения* — суббота перед Вербным воскресеньем (последним воскресеньем перед Пасхой).

*Вящее* — наибольшее.

допускали подобные побоища, а один из гувернеров, немец, даже очень любил их. Заложив руки за фалды вицмундира, он с интересом смотрел на дерущихся и принимал живейшее участие во всех перипетиях борьбы. Он увлекался до того, что начинал иногда подзадоривать противников, науськивая их друг на друга, как собачонок:

— Хорошенько, хорошенько его! Вот так, так... Ай да молодец! А ну-ка еще, еще подбавь! Вот так, так...

И какая-то плотоядная, чувственная улыбка расплзлась по его желтому, сухому лицу, когда который-нибудь из противников наносил особенно меткий, чувствительный удар. В результате этих «гладиаторских игр» оказывались в кровь разбитые носы, подбитые скулы, синяки, оборванные пуговицы и разорванные рубахи и штаны. Разбитые носы и фонари под глазами не принимались в расчет, а за испорченное платье строго взыскивалось...

Широкое поприще для таких грубых, циничных игр представляла также баня, куда нас, пансионеров, водили два раза в месяц по средам. Гувернер, сопровождавший нас, обыкновенно оставался в предбаннике или уходил на двор, и в бане тогда происходило своего рода столпотворение вавилонское. Тут уж, по поговорке, кто кого смог, тот того и с ног... Любимым делом было подкрасться к товарищу сзади, когда тот набирал воду в таз, и, пользуясь его незащищенным положением, хватить его хорошенько по голому телу так, чтобы искры из глаз посыпались, или обдать холодной водой, или с разбегу ударить его в «поджилки» так, чтобы тот моментально растянулся на мокром, скользком полу. Кто был посильнее, тот и озорничал...

Самыми невинными играми были гусек и игра в тарелочные осколки. Добывалась откуда-нибудь разбитая тарелка,

---

*Вицмундир* — форменный фрак.

*Гусек* — игра, состоящая в передвижении фигур по разграфленному на клетки картону в зависимости от количества очков на выброшенных костях.



расколачивалась на мелкие неправильные кусочки, и затем игравшие брали в горсть по несколько таких кусочков и по очереди бросали вверх таким образом, чтобы их можно было подхватить на наружную сторону кисти руки.

Старшие воспитанники играли в шахматы и в шашки.

### III

По сравнению с нами, пансионерами, приходящие гимназисты были совсем людьми вольными. Мы, бывало, с завистью и грустью смотрели на них из окон, как они после классов с сумочками и портфелями весело шли по улицам, в одиночку и группами, направляясь к своим домам, где их ждали отец и мать, братья, сестры... После обеда, приготовив уроки, они могли пойти гулять, отправиться в театр, на вечер к знакомым, могли танцевать, могли кататься, даже поехать за город, а мы, заключенные, должны были и после классных занятий оставаться в тех же четырех стенах. Мы были оторваны от семьи, от общества, от всего мира, жившего и волновавшегося за стенами нашего пансиона. В будни мы могли выходить лишь в экстренных случаях, по уважительным просьбам родных или знакомых.

В нашем замкнутом пансионском мире, натурально, слагались свои взгляды, свои верования и легенды. Так, например, первый класс, довольно большая комната, из которой шла лестница в церковь, пользовался у нас весьма плохой репутацией. В нем, по сказаниям гимназистов-старичков, по ночам слышалась ходьба, раздавался какой-то шорох, и ни один из младших воспитанников не решался в позднюю пору войти в эту комнату. В нашей рекреационной зале, как говорили, также «чудилось» по ночам. Только влиянием подобных суеверий можно объяснить тот испуг, какой однажды я пережил...

Когда я был в VI классе, умер мой любимый товарищ, мой друг Николай Попов (из Великого Устюга, из того же

города, откуда родом и я). Покойника, как водится, обмыли в свое время, положили в гроб и отнесли в карцер (служивший также и мертвецкой). Псалтирь над покойником читал наш гимназический дьякон, но когда ему понадобилось вечером сходить домой поужинать, я охотно взялся заменить его на время. Было часов восемь, когда я пришел к нему в карцер на смену. Темный мартовский вечер стоял на дворе.

— Вот вам свечка! — сказал дьякон, собираясь уходить и подавая мне огарок довольно толстой восковой свечи.— Немного... Ну, да хватит пока! Я ведь скоро вернусь... До свиданья! Благодарствуйте...

Дьякон нахлобучил на лоб свою широкополую шляпу и ушел. Я остался один с мертвецом...

Покойницкая была небольшая мрачная комната с двумя окнами, защищенными решеткой, и с русской закоптелой печью в углу. Гроб стоял на лавке, изголовьем к окнам. Я вполголоса читал Псалтирь и от поры до времени как-то машинально, невольно посматривал на гроб, на покойника, на черты знакомого, дорогого лица, уже готового навсегда исчезнуть в могильной тьме. Свечка моя догорала, воск горячими каплями уже падал мне на руку. Дьякон что-то замешкался...

В комнате было тихо; тихо было и в коридоре, ибо по той части его, которая прилегала к карцеру, сторожа редко проходили, особенно же вечером. Я все чаще посматривал на отопившийся, оплывший огарок и с неприятным чувством подумывал о том, что огарок может погаснуть прежде, чем придет дьякон, и я останусь впотьмах...

Вдруг посреди мертвой тишины явственно раздался какой-то странный свистящий звук, шорох и затем что-то стукнуло... Ни разу в жизни я так сильно не вздрагивал от испуга, как в эту минуту. Точно какая-нибудь невидимая

---

*Псалтирь* — одна из книг Ветхого Завета, используемая в богослужении.

сила потрясла меня, и словно кипятком обдало меня всего с головы до пят. Все суеверия, все темные страхи, с детства всосанные, так сказать, всеми порами моего духовного организма, тут разом нахлынули на меня. До той минуты я не понимал еще вполне, что значит ужас... Сердце усиленно колотилось, колени дрожали.

Если бы я был одним из тех нервных, слабых волею мальчиков, каких много явилось в позднейшее время, то я упал бы без чувств или пустился бы бежать со страху куда глаза глядят. Но я пересилил свой страх, близко граничивший с паникой, и решительным шагом подошел к гробу. Я высоко поднял свой оплывший восковой огарок и заставил себя взглянуть покойнику в лицо. Это лицо было по-прежнему неподвижно и дышало тем завидным, бесконечным спокойствием, какое бывает лишь на лице человека, пришедшего к небытию. Губы полусжаты, глаза закрыты, и ресницы их не дрогнут и не дрогнет тень, лежащая под ними... Я посмотрел на покров, думая, не он ли соскользнул с покойника. Но нет! Покров лежал на своем месте... Я обошел вокруг гроба, подошел к печи. Тут я увидел, что крышка гроба, прислоненная к печке, слегка покачивалась. Очевидно, стукнула крышка, которая, вероятно, была неплотно приставлена к стене. Таким образом, я убедился, что ничего сверхъестественного не произошло, но мое душевное равновесие было уже нарушено: я не мог продолжать чтение Псалтири. К тому же, как на грех, свеча моя окончательно догорела, и я был вынужден погасить ее. Оставшись впотьмах, я отыскал графин с водой, налил стакан, выпил и сел на подоконник. Очень долгими показались мне те десять-пятнадцать минут, которые я просидел впотьмах в ожидании дьякона. Глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, и я стал различать окружающее.

При сумеречном ночном освещении, проникавшем в окна, смутно, призрачно выступали передо мной белые све-

чи в высоких церковных подсвечниках, гроб, в гробу профиль мертвеца и его желтые костлявые руки, сложенные на груди. Опустив руки на колени и прижавшись спиной к холодному оконному косяку, я продолжал смотреть на гроб и не мог смотреть в те минуты ни на что другое. Этот предмет, казалось, неотступно привлекал меня к себе... В комнате было душно, пахло деревом гроба, тлением. Наконец у меня закружилась голова и горловые спазмы начали меня душить... В ту минуту в коридоре слышались шаги. Я приподнял отяжелевшую голову и, прислушиваясь, пристально посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и на пороге показался отец дьякон с фонарем и с целой горстью восковых свечей в руке.

— Жаждались! — густым басом лаконично проговорил дьякон.

Никогда никакая музыка, кажется, не была так приятна для моего слуха, как был приятен в ту минуту густой дьяконский бас.

Было уже десять часов. Я прямо прошел в спальню. Напрасно я закутывался в одеяло — меня била лихорадка... Напрасно я закрывал глаза, ложился на правый бок, подкладывая по своему обыкновению руку под щеку, — я долго не мог заснуть и лишь далеко за полночь забылся тяжелым, тревожным сном...

Если бы я с детства не был заражен суевериями и верой во всякую чертовщину, если бы школьная среда не поддерживала темных страхов, то, конечно, мне не пришлось бы в ту ночь переживать описанных мною тяжелых, томительных ощущений...

Пансион, как уже сказано, как всякий замкнутый, обособленный мир, выработал свой кодекс общественной нравственности.

Взгляды на товарищество, на дружбу по этому неписаному кодексу были самые определенные, самые прямолинейные. Выдать товарища считалось делом гнусным и по-

зорным. Дружба налагала свои обязанности: другу нельзя было отказать ни в какой услуге, ни в какой помощи... Обиженный должен был сам расправляться с обидчиком, но жаловаться на товарища учителю или гувернеру считалось весьма непохвальным. Плакать или молить о пощаде, хотя бы под розгами, считалось унижительным, даже унижительнее перенесенного наказания. Подсказывание во время урока с педагогической точки зрения, конечно, нежелательно и непохвально, но у нас в пансионе по отношению к другу подсказывание считалось священным долгом. За подсказывание в классе я однажды в течение четырех часов простоял у стены, несколько раз оставался без обеда, а один раз — во втором классе, перед экзаменами — за подсказывание я едва не подвергся более чувствительному наказанию...

Рассказывать дома или в обществе о пансионских секретах считалось неприличным, и воспитанника, уличенного в пересказывании тех или иных фактов из пансионской жизни, называли «сплетником», «переносчиком», «кумушкой». Подсмеиваться над товарищем, подвергнувшимся наказанию, или при случае напоминать ему об этом наказании — считалось делом низким.

Ничто не вечно в мире, не вечна была и пансионская дружба. Приятели иногда расходились... Бывшие в ссоре, по кодексу пансионских приличий, ни под каким видом не могли заговаривать друг с другом; они решительно не обращали внимания один на другого. Когда же они начинали тосковать в таком отчуждении друг от друга, тогда являлись миротворцы и служили посредниками между поссорившимися друзьями. Иногда — впрочем, очень редко — весь класс отворачивался от какого-нибудь субъекта; в таком случае этот несчастный как бы предавался проклятию, и никто не имел права вступать с ним в сношения до тех пор, пока не снимался с него интердикт. Если весь класс сговаривался не отвечать урок, то не сдержавший уговора

назывался «пролазой», «высочкой» и становился на худом счету у товарищей. Если кто-нибудь делал дерзость любимому учителю, тогда ему тоже доставалось от товарищей на орехи... Пансионская замкнутость и обособленность со всеми ее хорошими и дурными сторонами давали себя чувствовать на каждом шагу.

Иногда очень странные, своеобразные типы вырабатывались нашим пансионским мирком. Приведу здесь несколько примеров...

Мой товарищ П. отлично знал обрядовую сторону религии и до тонкости заучил все церковные службы. Хотя в пансионе молитвы читались по очереди, но П. как-то устроил так, что ему всех чаще приходилось читать, а впоследствии чтение молитв уже стало как бы его прерогативой. Во время всенощной и обедни он читал на клиросе, выходил с «Апостолом», любил ставить свечи, подавал кадило и вообще прислуживал в алтаре. Мы звали его «дьячком». В столе его помещалось несколько маленьких образков, и стол его уподоблялся молебне. Он любил приводить цитаты из Псалтири и других церковно-служебных книг. Говоря о Божественном, он закатывал глаза вверх, как истый святоша. Но жестоко ошибся бы тот, кто, судя по всему вышесказанному, принял бы П. за человека религиозного.

Чувства религиозности в П. было меньше, чем в любом из его товарищей. О лицах духовного звания он рассказывал такие пошлые, циничные истории, так непочтительно выражался он обо всем, касавшемся церковнослужителей, что его можно было принять за отъявленного атеиста. Каким образом уживались в нем одновременно такие очевидные противоречия, объяснить не берусь. Ему, по-видимому, нра-

---

*Прерогатива* — исключительное право.

*Клирос* — возвышение перед иконостасом, на котором во время богослужения находятся певчие, чтецы и причётники.

*«Апостол»* — богослужебная книга, часть Нового Завета.

вилась лишь одна обрядовая сторона, церковные эффекты и церемонии; ему нравилось играть роль при богослужении, рисоваться перед публикой, хотя бы в роли «дьячка»... И с каким удовольствием, бывало, он выходил читать Послание, откашливался, кланялся священнику, с каким озабоченным видом раздувал кадило и, подавая его, ловко чмокал руку священнику... П. был недурен собой: с темно-русыми волосами, с карими блестящими и бойкими глазами и с прекрасным цветом лица. Он был мальчик способный, учился довольно порядочно и был на хорошем счету у начальства. Через несколько лет по выходе из пансиона я слышал, что кто-то видал его где-то в монастыре в одежде послушника.

Другой товарищ мой по пансиону, Ч., завел у себя в столе нечто вроде энциклопедической мелочной лавки и мастерской. Он постоянно что-нибудь мастерил: делал из картона всевозможные ящички и оклеивал их разноцветной бумагой, превращал сигарные ящики в шкатулки, плел корзинки из бумаги, клеивал тетради в переплеты старых альбомов, рисовал шашечные доски, и все эти произведения рук своих пускал в продажу, разумеется, по умеренным ценам. Ч. делал также панорамы. По вечерам, показывая панораму, он, как настоящий раешник, давал приличные случаю объяснения...

— А вот, господа, город Париж! Как въедешь в него, так и угоришь! — выкрикивал он своим резким металлическим голосом. — А вот — швейцарская хижина, стоит никем не движима!

Или — если рисунок панорамы изображал сражение — Ч. обязательно пояснял:

---

*Послание* — имеется в виду одно из Посланий, входящих в состав Нового Завета.

*Панорама* — устройство для рассматривания вращающихся картин через увеличительное стекло.

*Раешник* — человек, демонстрирующий раек (панораму).

— Турки валяются, как чурки, а русские стоят и без голов!..

И все это (и многое другое) он выкрикивал не переводя духу, и так серьезно, что ни один мускул, бывало, не дрогнет у него в лице. В его лавочке можно было купить всякой всячины: бумаги писчей и почтовой, сургуча, карандашей, перьев, пеналов, картин... В числе запрещенных предметов у Ч. также можно было купить и нюхательного табаку. В ту пору нюханье табаку у нас в пансионе было в большой моде. Я тоже было пытался следовать этой моде, но безуспешно: после двух-трех попыток я нашел, что решительно нет никакого удовольствия в том, чтобы набивать нос табаком, чихать и усиленно сморкаться... У Ч. можно было приобретать и табакерки. Он также был нашим менялой и ростовщиком. Так как Ч. немало потешал публику, в том числе и гувернеров, то гувернеры вообще относились к нему милостиво. Товарищи звали его «фигляром».

Ч. был высокого роста, худощав, с темными глазами на желтоватом лице и с волосами льняного цвета. Он учился плохо, и — сколько помнится — за леность его не раз наказывали. Иногда также инспектор, знавший об его промышленной и коммерческой деятельности, делал внезапные обыски в его столе, причем все запрещенные предметы отбирались, а Ч. доставалось от инспектора более или менее чувствительно... Но Ч. был энергичен, настойчив и трудолюбив, как муравей. После погрома он скоро оправлялся и через неделю или через две снова открывал свою лавочку. Старшие воспитанники всегда протезировали ему. Для «маленьких» стол Ч. всегда представлялся в высшей степени заманчивым предметом, и счастливым считал себя тот, кому позволялось заглянуть в это святилище... Замков у нас не полагалось, но некоторые воспитанники все-таки ухитрялись заводить их. Начальство на эти проделки смотрело сквозь пальцы, так как всегда могло сделать обыск

---

*Протезировать* — покровительствовать.



и велеть уничтожить у стола замок. Ч., конечно, запирает свое святилище.

По выходе из гимназии Ч. служил учителем в одном уездном городке Вологодской губернии и даже, как я слышал, получил благодарность свыше за отличное исполнение своих обязанностей.

Воспитанник В. для новичков, для «маленьких» и для товарищей, уступавших ему в физическом отношении, был настоящим злым демоном. Он был невысокого роста, широкоплеч, коренаст, с круглой головой, крепко сидевшей на короткой шее, и с темными торчащими волосами. Его злые глазки под темными густыми бровями наводили страх на пансионскую мелкоту. Он, казалось, постоянно придумывал, какую бы каверзу позабористее ему выкинуть. Для В. было особенным удовольствием мучить новичков. И он пугал и запугивал их всевозможными манерами. То он говорил новичку, что если тот не допьет квасу за обедом, то гувернер весь остаток квасу из стакана выльет ему на голову; то он уверял, что каждого новичка в первую же субботу по поступлении в гимназию обязательно подвергают наказанию розгами в присутствии товарищей. В. всячески приставал к новичкам, дергал их за уши, за волосы, давал им подзатыльники. То он с самым любезным видом заговаривал с ними, расспрашивал их о доме, о семье, а затем первый же насмеялся и глумился над ними. В. самым нахальным образом подбирался к гостинцам, которые приносили родные новичкам, а потом сам же и ругал обобранных им «маменькиными сынками», «дураками», «простофилями»...

— Учить тебя надо, болвана! — говорил он откровенно новичку, когда тот плакал от его нападков.

Подтолкнуть за столом своего соседа, когда тот подносил ложку ко рту, устроить какую-нибудь скверную каверзу, сконфузить, подвести товарища, сыграть над ним злую шутку — все это было для В. сущим наслаждением. Даже во время занятий, даже в классе он не мог удержаться, чтобы не отпустить какую-нибудь циничную шуточку над наха-

занным товарищем, что уже совсем противоречило общепринятым пансионским приличиям.

— Ну что! Каково влетело? — шепотом спрашивал он, с злорадством заглядывая в лицо потерпевшему.— Будешь помнить?..

Что случилось с В. по выходе из пансиона, мне неизвестно.

К. тоже представлял собой довольно интересный пансионский тип. Он был блондин высокого роста, с серыми глазами и с необыкновенно тупым выражением в лице. Он считал себя очень красивым юношей и был сильно занят своей особой. Он всегда подкупал цирюльника при стрижке и поэтому имел возможность носить сравнительно длинные волосы и пробирать пробор. Он всегда выпускал сверх галстука края сорочки, что считалось у нас большим шиком и за что доставалось иногда от инспектора. Сапоги его были всегда вычищены самым тщательным, блестящим образом и горели как жар. На куртке — ни пылинки. Он по нескольку раз в день примачивал и приглаживал свои волосы. В кармане у него всегда находилась круглая щеточка с зеркальцем и гребенкой, и он поминутно смотрелся в свое зеркальце. К. был неразговорчив и как-то задумчиво сосредоточен; ни в каких боях и драках не участвовал, хотя отличался большой физической силой; учился плохо, читал мало и любил переписывать в тетрадь стихотворения из хрестоматии. Он переписывал очень тщательно, каллиграфически, и брал, по-видимому, стихотворения без всякого разбора, что попадет под руку: оду Державина или Шевырева, стихотворение Хомякова, Жуковского, Лермонтова, Пушкина, Кольцова. Кажется, главным образом его занимал самый процесс переписывания. Поведения он был примерно-го, во время занятий не шалил, а в «гулянья» обыкновенно

---

*Шевырев Степан Петрович* (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы.

*Хомяков Алексей Степанович* (1804—1860) — поэт, философ, публицист.

расхаживал по зале, заложив руки за спину или чаще в карманы штанов и стараясь ступать врознь носками.

Мы иногда спрашивали себя: о чем думал К., расхаживая по зале? И некоторые из нас приходили к тому заключению, что он, вероятно, в то время ровнехонько ни о чем не думал, а просто любовался на кончики своих блестяще вычищенных сапогов...

Когда я поступил в гимназию, К. был во втором классе. Он в каждом классе сидел по два, по три года, и во втором классе он был уже юношей лет 15—16. За хорошее поведение и вследствие его великовозрастности инспектор щадил его и, кажется, ни разу не водил его по субботам в гардеробную... Только какая-нибудь обида или насмешки товарищей выводили К. из его обычной апатии. В таких случаях он выказывал очевидные признаки глубокого душевного расстройства, а именно: он поминутно как-то нервно обдергивал куртку, был мрачен и печален, реже обыкновенного смотрелся в зеркальце, не интересовался своими воротничками, даже не переписывал стихотворений и при ходьбе сосредоточеннее обыкновенного смотрел на носки своих сапогов.

По выходе из пансиона я также потерял его из виду.

Н., пансионер уже одного из старших классов, отличался большими странностями и чудачествами. Надо думать, что он был человек больной, психически расстроенный. Так, например, Н., человек тихого, смиренного нрава, положительно приходил в ярость, если ему при ходьбе наступали на ногу или вообще дотрагивались до него. Выучив урок, он быстро-быстро крестился и целовал книгу в корешок и в каждый уголок переплета, открывал стол и бросал в него книгу таким образом, чтобы не дотронуться ею до края или до крышки стола. На ходу он всегда что-то шептал про себя, очищался, отплевывался и зорко следил за тем, чтобы кто-нибудь не дотронулся до него. Ложась спать, он также отплевывался, обдувался, шептал что-то про себя, и из его шепота можно было только расслышать иногда какие-то странные непонятные слова, вроде, например, *«хар-цы-тфу»*.

И беда бы была тому смельчаку, кто вздумал бы в ту минуту дотронуться до его койки... Н. мог бы убить его.

Этот несчастный, по-видимому, постоянно опасался подпасть под влияние каких-то темных злых сил; он боялся, что его «сглазят», напустят на него порчу, какую-нибудь болезнь, лишат его памяти, сна и так далее. Он, видимо, страдал, когда замечал, что кто-нибудь с умыслом шел позади него и старался ступить на его «след».

Н., как мне помнится, умер через несколько лет по выходе из гимназии.

Мой товарищ И. представлял собой грустный образчик того, до какого жалкого, нравственного растреления могли доводить розги. И. был мальчуган среднего роста, блондин, с лицом молочного цвета, с румянцем на щеках; у него были большие мясистые уши, толстые губы и большие серые глаза с редкими ресницами и с глупым, телячьим выражением. За эти глаза товарищи звали его «коровой». Он был ленив, малоспособен и любил пошалить, его наказывали почти каждый месяц, иногда несколько недель подряд, а иногда даже не один раз в неделю. Никакого страха для него уже не существовало: к нравственной и физической боли он терпелся. Бывало, скажут ему:

— Тебя уже накажут!

— Наплевать! — преспокойно ответит он.

— Тебя исключат из гимназии!

— А наплевать!..

Одним словом, «наплевать» стало его девизом. И. мало-помалу сделался грубым циником, и ничто, казалось, не могло заставить его покраснеть. Я слышал, что он, наконец, дошел до того, что публично показывал товарищам рубцы, оставшиеся на его теле от наказаний. Впоследствии он вышел из гимназии и поступил в какое-то военно-учебное заведение, но и там, кажется, не кончил...

Вообще ни одного путного человека не вышло из числа тех воспитанников, которых драли как сидоровых коз: из

них вышли пьяницы, развратники, забулдыги, и все они бесследно потонули в житейском омуте...

Розги навсегда останутся одною из самых темных страниц истории нашей школы.

#### IV

У меня был товарищ Т., писавший стихи и даже строчивший целые поэмы. Своего, самостоятельного, конечно, в этих поэмах было мало. Поэту в ту пору было лишь 13 лет. Помню, что сюжетом для его поэм всего чаще служили сцены из морской жизни и подвиги героев из времен восстания греков за независимость. Т. называл себя Пушкиным, а меня любезно произвел в Дельвиги (хотя я стихов и не писал). В качестве Дельвига, само собой разумеется, я должен был сделаться поверенным его тайн: он под секретом читал мне свои произведения, рассказывал планы будущих поэм, поведывал мне о приступах вдохновения, о том, как легко льются в те минуты стихи из-под его пера. Т. настаивал, чтобы я, как Дельвиг, непременно писал что-нибудь. И однажды под влиянием его уговоров я начал писать повесть из испанской жизни, которая мне тогда была известна лишь из романов, вроде «Аллиага, или Мавры при Филиппе III».

Действие повести происходило в Гренаде... Два таинственные незнакомца, сойдясь ночью под портиком какого-то храма, поклялись составить заговор для ниспровержения инквизиции. Заговор не удался; таинственные незнакомцы — ужасно мрачные и свирепые — погибли на костре, а их возлюбленные ушли в монастырь... Когда я прочел начало повести Т. и передал ему продолжение ее, Т. сказал:

---

*...времен восстания греков за независимость* — имеется в виду Греческая революция 1821—1829 гг. против турецкого владычества.

*Гренада* — Гранада, город на юге Испании.

— Изрядно, брат! Ты будешь хорошо писать драмы и трагедии...

Эта печальная повесть, имевшая блестящее начало, никогда не была кончена. Кстати сказать, много пророчеств наслушался я на своем веку. Пророчество Т. не сбылось: я не сделался драматургом... Учитель арифметики И., стуча кулаком по кафедре, говаривал мне:

— Не перейти тебе из первого класса во второй, сиди хоть десять лет!

Но я перешел — и во втором классе на первом же уроке напомнил И. об его несбывшемся предсказании. Из математики я, действительно, учился плохо, и учитель опять стал предвещать мне, что я не перейду в третий класс, что мне не кончить гимназического курса. Но я опять-таки перешел и гимназический курс кончил, не просидев ни в одном классе двух лет. Впрочем, не все пророчества по моему адресу были так неудачны...

Однажды, когда мне было лет восемь, по соседству с нашей усадьбой расположился небольшой цыганский табор. Мне очень хотелось посмотреть вблизи на цыган и цыганят. Украдкой, так как я знал наверное, что мама не отпустит меня к цыганам, отправился я в табор со своим другом-приятелем Сашкой. Лишь только я подошел к табору, как вдруг передо мной очутилась, словно из земли выросла, цыганка с красным платком на черных взъерошенных волосах и в пестрой рваной шали, перекинутой через плечо и завязанной узлом на груди... Вечер был жаркий, и я на бегу отирал пот платком — и платок остался у меня в руке. Цыганка моментально подхватила его у меня и обещалась за то погадать. Сначала я струхнул и оглянулся, чтобы в случае чего позвать на помощь Сашку, но мой верный паж на этот раз выказал большое малодушие и удирал во все лопатки по направлению к дому... Цыганка была довольно

---

*...по соседству с нашей усадьбой — Чичулино, в 10 верстах от г. Вологды (примечание П. В. Засодимского).*

молода, красива и вовсе не походила на тех молодых женщин, каких я встречал до тех пор в деревнях и в соседних барских усадьбах. Цыганка заинтересовала меня, как вообще интересовал меня цыганский табор; но в то же время меня пугали ее смуглое лицо и ее темные глаза, горевшие как угольки, и ее торопливое бормотанье, и наглый взгляд. Цыганка взяла меня за руку своею темно-бронзовой рукой и посмотрела мне на ладонь. Она низко наклонилась ко мне и, заглядывая мне в лицо, обдавала меня своим горячим дыханием. Она, кажется, потешалась над моим испугом.

— У-у, барин... ты — упрямый! — вдруг затараторила цыганка, засматривая мне в глаза. — Ты не пойдешь, куда тебя посылать станут, — туда пойдешь, куда сам захочешь... Упрямый! Да!..

Живо запомнилось мне это предсказание цыганки, хотя после того вечера прошло уже более 50 лет. Последнее обстоятельство я объясняю тем, что вся обстановка, окружавшая меня в те минуты, произвела очень сильное впечатление на мое восприимчивое детское воображение.

Солнце, низко стоявшее над лесистым горизонтом и красным шаром просвечивавшее из-за зелени деревьев... Телеги оглоблями вверх и около них — подобие белых палаток... Дотлевавший костер и тени, сгущавшиеся над кустами, росшими по опушке леса... Стреноженные лошади, щипавшие траву, и серая, кудластая, похожая на волка собака, лежавшая под телегой... Всю эту картину — под ясными летними небесами — я и теперь как будто вижу перед собой и ощущаю запах донника, запах лесной глуши и дичи, явственно разносившийся в вечернем воздухе...

Полуодетые цыганята обступили меня и, вытаращив глаза, смотрели на пришельца. Цыганка продолжала зорко оглядывать меня всего, как бы приискивая, что бы еще

---

*...после того вечера прошло уже более 50 лет. — Воспоминания П. В. Засодимского публикуются по изданию, вышедшему в 1908 г. Донник — травянистое медоносное растение.*

стянуть с меня. Она даже снаружи ощупала мой карман: карман был пуст. Цыганята, бормоча и толкаясь, принялись тормозить меня. Они, по-видимому, столько же интересовались мною, сколько и я ими. Один из них даже засучил мне шаровары и дотронулся до моего колена. Наконец маленькие дикари стали так бесцеремонны, что я был вынужден ретироваться и бегом пустился восвояси.

Предсказание цыганки исполнилось: я пошел своей дорогой, а не той, на которую, по-видимому, настойчиво толкали меня люди и обстоятельства...

И еще одно удачное предсказание... В VI классе гимназии я очень долго и с любовью работал над сочинением о преобладающем характере русских народных песен и прочел его своей тетке, Серафиме Николаевне Засецкой (урожденной Жеребцовой). Эта тетушка была старше меня на год (мне в ту пору было 18, а ей — 19 лет), и мои отношения к ней были самые дружеские. Когда я дочитал ей свое сочинение, она положила мне руку на плечо и промолвила:

— А знаешь, Поль! Ты будешь писатель...

Видю, что вышло отступление, но уж делать нечего: «писаху — писах».

## V

Нашим непосредственным пансионским начальством были четыре гувернера, дежурившие по двое по очереди: Лев Андреевич Воскресенский, живший в гимназии, заведовавший пансионской библиотекой и выдававший нам все учебные принадлежности; Михаил Игнатьевич Соколовский, он же учитель чистописания и рисования; Александр Сергеевич Ковалев, он же учитель географии, и Карл Петрович Вигант. Последний отличался замечательно хорошим аппетитом. В пансионе даже сложилось сказание о том,

---

*«Писаху — писах».* — *«Писавши — написал».*



что К. П. после обеда собирал кашу в бумажные тюрички и ночью, когда воспитанники засыпали, ел ее в постели, прикрывшись одеялом. Ковалев мне памятен тем, что постоянно читал описания различных путешествий и делал из них выписки изумительно мелким почерком. Воскресенский был человек очень почтенный, но любил порезонерствовать. Его пространные и иногда довольно скучные рассуждения и нотации пансионеры с презрением называли «философией».

Из дореформенных учителей я особенно хорошо помню Карла Антоновича Блеза, учителя французского языка. Это был мужчина средних лет, на костылях, довольно высокого роста, с какой-то странной, угловатой головой, с бледным лицом и с бесцветными стеклянными глазами. Во время его уроков мы мало упражнялись во французском языке, а больше занимались приятными разговорами. Из пространных рассказов Блеза мы уже знали, что он был сын бедных, но благородных родителей, учился в каком-то «коллеже» — и об этом «коллеже» он часто и подолгу распространялся. Мы знали также, что *m-eur* Блез принадлежит к партии орлеанистов, которым, по его мнению, принадлежало будущее Франции. Если ученик, вызванный к доске, не знал урока, то сейчас же давал знак товарищам, и те являлись к нему на выручку и, почтительно поднявшись с места, начинали расспрашивать Блеза или о коллеже, или о том, какие замечательные люди были в его время в орлеанистской партии. Блез, позабыв об уроке и опершись на костыль, принимался пересчитывать графов, герцогов и маркизов, а ученик той порой мало-помалу отодвигался от доски и благополучно пробирался на свое место.

---

*Порезонерствовать* — поговорить на нравоучительные темы.

*M-eur* — *monsieur* (господин, франц.).

*Орлеанисты* — монархическая группировка во Франции, поддерживающая притязания Орлеанского дома (младшей ветви королевских династий Валуа и Бурбонов) на корону.

Впрочем, я должен сказать, что Блез, несмотря на все его недостатки с педагогической точки зрения, был человек очень доброй души и любил нас, детей. Как, бывало, мило, доброжелательно он улыбался нам, как нежно, ласково гладил нас по голове... Из-за него, кажется, никто из нас никогда не пострадал. Блез умер в Вологде в конце 60-х годов, умер в один день с женой-старушкой, и оба они похоронены в одной могиле.

Из учителей младших классов в мое время лучшим был преподаватель русского языка Михаил Николаевич Николенко. Правда, из русского языка я всегда имел хорошие отметки, и Николенко ко мне благоволил, но отсюда никто из читателей, надеюсь, не заключит, что через 50 лет в моем рассказе может быть место какому-нибудь личному пристрастию. По всей справедливости я должен сказать, что Николенко сумел нас заинтересовать своим предметом: он *умел* учить, что, как известно, можно сказать далеко не о каждом педагоге. Иногда он бывал резок и грубоват в обращении, но его резкость и грубость были непредумышленны, вырывались в минуты раздраженья. Николенко был человек глубоко преданный своему делу, нервный, впечатлительный...

Помню один случай... Николенко вздумал учредить аудиторство; пять лучших учеников были назначены им аудиторами, и я попал в число этих пяти. Каждый из нас должен был перед классом спрашивать урок у шестерых товарищей, вверенных нашему попечению, давать им объяснения, ставить им отметки в своих журналах и перед началом урока подавать журналы учителю. В числе шести «подавдиторных» у меня был М., тупица и лентяй феноменальный. Кроме Закона Божия и чистописания, у него из всего были всего чаще двойки да единицы, и субботы редко проходили без того, чтобы М. не побывал в гардеробной...

Однажды, спросив у М. урок и увидав, что он знал очень плохо, я уже хотел поставить ему два, как вдруг он, шлепая по обыкновению своими толстыми губами, льстивым, вкрадчивым шепотом обратился ко мне:

— Поставь три! Ну, что тебе... А то у меня уже много единиц — опять драть поведут... Поставь, пожалуйста, три!.. Я тебе булку дам!

И М. вытащил из стола домашнего печенья булку, довольно аппетитную на вид. Дело происходило в «большую перемену», то есть около 12-ти часов, тотчас после завтрака, но я в тот день не завтракал, потому что подавалась моя нелюбимая похлебка — бульон с манной крупой. Я был не то что голоден, но сильно впроголодь. Я вовсе не в оправдание себе говорю, что «был впроголодь». Беря у М. булку, я очень хорошо сознавал, что беру взятку, поступаю не по совести. Соблазн оказался силен. Я поставил М. *три* и булку его немедленно съел...

Звонок. Николенко прошел на кафедру; мы, аудиторы, подали ему журналы и возвратились на свои места. Вдруг М. Н. поднял брови и с удивлением промолвил:

— У М. сегодня три! Гм! Вот это так новость...

Тут только я спохватился, что тройка, поставленная М., неминуемо должна была обратить на себя внимание. М. со своей булкой совершенно сбил меня с толку.

— М.! Пожалуйста сюда! — возгласил Николенко.

Случилось именно то, чего и следовало ожидать. Учитель захотел сам спросить у него урок и проверить меня... Соблазнитель мой нехотя выполз из-за стола и подошел к доске.

— Ну, скажи стихотворение! — обратился к нему Николенко.

М. пожевал губами, посопел и начал гнусить:

Где сладкий шепот  
Моих лесов,  
Потоков ропот...

---

*Где сладкий шепот Моих лесов, Потоков ропот...* — Начало стихотворения Е. А. Баратынского, называющегося по первой строчке (1814).

М. запнулся и поник головой, усиленно вертя то ту, то другую пуговицу своего сюртука.

— Дальше! — проговорил учитель.

— Сбилсся-с... Я сначала... — пробормотал М. и опять затянул в нос:

Где сладкий шепот  
Моих лесов,  
Потоков ропот...

И опять на этом самом слове — стоп!.. И так он начинал раза четыре, а я той порой краснел и бледнел, ругая про себя М. болваном и ослом. Наконец Николенко вышел из терпения и прогнал моего «осла» на место, поставив ему единицу. Затем Николенко обратился ко мне со строгой нотацией и за явную мою несправедливость исключил меня из аудиторов. Я не оправдывался, не уверял, например, в том, что М. порядочно отвечал мне стихотворение. Мне было совестно прибавлять еще ложь к совершенному мною проступку. Я молчал, подавленный тяжестью греха. Я чувствовал себя несчастным. Не лишение аудиторства заставляло меня страдать, но сознание, что я обманул доверие учителя... И когда через несколько времени Николенко снова сделал меня аудитором, я уже стал строже относиться к себе. Испытанное мною тяжелое чувство нравственного падения послужило мне памятным уроком на будущее время...

Николенко особенно любил меня за то, что я умел хорошо объяснять значение слов русской речи. Однажды в третьем классе ученику, не ответившему на вопрос, Николенко сердито сказал: «Шли бы вы в первый класс и спросили бы там З... Он объяснил бы вам!» Слух о таком пассаже через пансионеров-третъеклассников дошел до меня и, конечно, приятно польстил моему детскому самолюбию.

Большинство учителей держалось старого приема преподавания: во время класса спрашивали урок, а перед звонком или даже во время звонка чертили ногтем в книге и говорили: «А к следующему разу — от сих и до сих!» Над этим

приемом уже немало смеялись и остряли, немало порицали его за то, что он заставлял учеников «долбить», то есть бессмысленно, механически заучивать наизусть. Правда, этот прием был у нас доведен до крайности, и мальчиков неразвитых, малоспособных он мог забивать окончательно, делать из них «зубрил»; эти малоспособные субъекты обыкновенно не шли далее второго класса, ибо дальше второго класса «зубрежка» им уже не помогала. (Впрочем, эти субъекты составляли самый незначительный процент учеников, да и при иной системе они, вероятно, не были бы в состоянии кончить гимназический курс.)

Но теперь, через 50-летний промежуток времени, оглядываясь назад и всматриваясь попристальнее в способ задавания «от сих и до сих», я — быть может, к большому удивлению читателя — нахожу, что в этом приеме, осмеянном, поруганном и отвергнутом современной педагогией, была и хорошая сторона, за которую можно было бы отдать все фребелевские затеи, все эти «палочки» и «кубики», придуманные как бы специально для идиотов. Тот старый способ преподавания («от сих и до сих») представлял широкое поле для нашей самостоятельности, для самостоятельной работы мысли. Мы должны были сами разжевывать предлагаемую нам умственную пищу, без помощи нянюшек и мамушек; мы должны были сами допытываться ответов на поставленные вопросы, должны были сами разбирать темные места, встречавшиеся в учебнике. Конечно, не каждый сам успешно разрешал задачу, иной долго бился над нею, но и это неважно: важно то, что мы пытались и привыкали *работать своей головой*, привыкали *думать*. Собрать запас сведений, необходимых для образованного человека, можно при некоторых усилиях года в три-четыре; *научиться* же «учиться», научиться пользоваться своим мозгом — при иных методах преподавания — нельзя и во всю жизнь...

---

*Фребелевские затеи* — приемы и методы немецкого педагога Фридриха Фребеля (1782—1852).

Нас в классе не спрашивали, которая рука — правая и которая — левая, по полу ли мы ходим или по потолку, чем мы смотрим, едим и тому подобное. Праздной болтовни не было, преподавание велось серьезно, без всяких облегчений и развлечений, учебники наши отличались сухостью (Кощанский, Буссе, Смарагдов, Ободовский, Симашко), учебных пособий было мало (и в числе их едва ли не самую видную роль играли розги), но при всем том, невзирая на все эти неказистые условия, учителя не смотрели на нас как на дурачков, как на малоумных, но как на обыкновенных здравомыслящих детей...

Старый способ преподавания был впоследствии мало-помалу заменен способом, диаметрально противоположным ему — способом «разжевыванья». Преподавание упростилось, появились интересные учебники с рисунками, с портретами, стены в классах увешались картинками (для наглядного обучения), завелись всевозможные учебные пособия — кубики и палочки. Если старый способ оказывался неудобен для меньшинства, то заменивший его способ «разжевыванья», по моему убеждению, — губелен для большинства... Здоровый человек без вреда для организма не может питаться разжеванной пищей: язык, зубы, десны, слюнные железы — вообще вся полость рта должна работать при приеме пищи. И умственную пищу так же, как физическую, надлежащим образом приготовленную, но без всяких «глазуров», человек должен сам разжевывать для того, чтобы она пошла ему на пользу, претворившись в кровь и плоть. Если человеку с детства давать умственную пищу лишь в размельченном, разжеванном виде, то самая главная, самая существенная из его способностей с течением времени должна неминуемо атрофироваться.

Такой-то дорогой ценой наставники могут набить головы своих питомцев массой разнообразнейших сведений, начи-

---

...без всяких «глазуров» — здесь: без всяких ухищрений.

ная с астрономии и кончая металлургией. Но их питомцы, эти чудовища учености, вступив в жизнь с громадным багажом сведений, бывают не в состоянии пользоваться своими сокровищами, то есть не умеют думать решительно и самостоятельно. И эти люди, обремененные эрудицией, при первом же промахе конфузятся, теряются и постороннему наблюдателю кажутся совершенными дуботолками.

Иногда в обществе приходится слышать: «Человек, казалось бы, и образованный, а поглядишь — дурак-дураком!» Подобная фраза — не результат недомыслия; в грубой, вульгарной форме она указывает на верно подмеченный, действительно существующий факт... Мы брали науку с боя, без помощи кубиков и палочек, но зато мы научились думать и сделались полными хозяевами добытых нами сведений, которые в количественном отношении, конечно, далеко уступали той прорве знаний, какою набивались головы позднейших поколений.

В похвалу старой школе также должно быть поставлено то обстоятельство, что мы не были так обременены работой, как обременены ею ныне воспитанники средних учебных заведений. Читатель уже видел, что мы проводили в классах по 4 часа в сутки и по 4 часа употребляли на приготовление уроков; итого в сутки мы занимались умственным трудом по *восьми* часов. Ныне гимназист занимается по 10 и по 12 часов в сутки...

В похвалу также можно поставить старой школе и то обстоятельство, что она — вследствие более нормального распределения занятий — не выпускала из своих стен людей нервных, нравственно развинченных, чуть не падающих в обморок от того, что не получают похвального листа, и пускающих себе пулю в лоб из-за неперехода в следующий класс. Суровая спартанская обстановка старой школы (несмотря на существование баллов и наград) не могла развить в своих питомцах мелочного, болезненного самолюбия, но не могла и забить чувства человеческого достоинства; на-

против, своим ригоризмом она помогла своим питомцам развить в себе много нравственной силы, устойчивости и презрения к материальным недостаткам и неудобствам...

В своем очерке я не скрываю недостатков старой школы, ее грубости и жестокости, а поэтому я не считаю себя вправе и умалчивать о том, что составляло, по моему мнению, ее светлую сторону.

## VI

Годы 1858—1860 послужили для нашего пансиона переходом от древней истории к новой. Трудно указать год или какой-нибудь факт, которые можно было бы принять за грань между старыми и новыми временами. Новые веяния проникали незаметно, мало-помалу в наш замкнутый мирок; они, казалось, пробирались в него вместе с воздухом и солнечным светом. Свежая струя не могла разом проветрить промозглую атмосферу. Но — хотя и медленно — нравы смягчались...

Старшие воспитанники переставали колотить младших, меньше притесняли их, не отнимали у них разбойным образом, как бывало прежде, ни чаю, ни булки. Вечерние драки — «бои гладиаторов», как окрестили их некоторые, — происходили реже. Гувернеры уже не дрались с прежним азартом и ушей воспитанникам не отрывали. Субботние сечения продолжались, но розги уже, видимо, теряли свой престиж: они прилагались лишь к «маленьким». Мальчиков-подростков уже начинали сажать в карцер... За это время я помню только один случай наказания розгами великовозрастного воспитанника, да и этот случай держался в секрете...

---

*Ригоризм* — суровое, неукоснительное соблюдение определенных принципов, правил.



Инспектора Зяблова, особенно любившего телесные наказания, заменил в 1858 году Иван Львович Игнатьев, бывший наш учитель математики. Власов еще ранее, осенью 1857 года, был переведен в Петербург, и на место его директором явился Алексей Васильевич Латышев.

Первым предзнаменованием наступления новых времен была для пансиона «кухонная реформа».

Дело началось с того, что однажды за обедом нашли в соусе червяка. Конечно, червяк сам по себе не бог весть какой опасный и зловредный зверь, и прежде червяков видали в соусе, и прежде ворчали на них, но ворчанье было совершенно платонического свойства и оставалось без последствий. Теперь же недовольство выразилось в самых конкретных формах: стекол в квартире эконома не били и никакого особенного дебоша не устраивали, о чем, бывало, так любили распространяться в своих тенденциозных романах некоторые писатели известного направления, но с прискорбием я должен заявить, что эконома все-таки публично обругали «тараканьими усами». В то время у нас эконома был из отставных военных нижних чинов, старик, худой, тонкий и прямой, как палка, с усами, действительно торчавшими, как у таракана. Он являлся к нам в пансион, обыкновенно заложив правую руку в задний карман своего серого сюртука, левую вытянув по шву и свирепо пошевеливая усами...

На этот раз червяка предложили вниманию инспектора и просили его об этом червяке довести до сведения директора. Сначала инспектор хотел было отшутиться и заговорил о том, что черви будут нас есть после смерти, а мы зато теперь сами можем поестъ их, но, тем не менее, он был вынужден заявить директору о нашем недовольстве. С тех пор постоянно один из пансионеров VI и VII класса по очереди дежурил в кухне, то есть принимал провизию, наблюдал за чистотой посуды, присутствовал при отпуске кушаний к столу и сам обедал в кухне (и, конечно, уж ел вволю). Надо правду сказать, наша пища с той поры значительно улучшилась.

Пансионеры начали носить волосы длиннее прежнего, и многие уже выпускали из-под галстука воротнички рубахи; в пансионе стали ходить, расстегнув куртки; с гувернерами разговаривали сидя; не спрашиваясь, выходили из залы; по будням чаще прежнего стали отпускать из пансиона к родным и знакомым; вопрос о скоромной или постной пище в течение Великого поста решался по большинству голосов. Вместо маршировки и гимнастики нас начали учить танцам. Раз в неделю (кажется, в четверг) являлся к нам в залу какой-то актер, поджарый господин с смугло-желтым лицом и с хохлом темных волос надо лбом. Сначала он учил нас разным па, затем танцам. Маршировку мы недолюбливали, а танцы — еще более, и появление желтолицего господина в черном потертом фраке заставляло нас разбегаться и прятаться куда ни попало. Гувернеру стоило немалых трудов, чтобы собрать для танцев хотя бы несколько пар здоровых субъектов: один хромал, у другого нестерпимо болела голова, третьего тошнило, четвертого мучила зубная боль и так далее.

Многие из пансионских вольностей, разумеется, официально не были допущены, но их терпели, смотрели на них сквозь пальцы. Прежний страх, строго говоря, во всей силе продолжал гнездиться лишь в душах младших воспитанников... Старшие исполняли правила когда им вздумается, да и то с таким видом, как будто делали кому-то большое одолжение...

К этому времени из самых памятных событий пансионской жизни относится посещение нашей гимназии покойным императором Александром II в 1858 году. Незадолго до его приезда пансионерам для чего-то были розданы подтяжки радужных цветов и на каждые десять человек по банке дрянной мусатовской помады (о каковой роскоши мы дотоле и понятия не имели), и, кроме того, были еще розданы дешевенькие серебряные кресты тем из воспитанников, у кого их не было на шее. Ждали государя в Вологду вечером 14 июня. Город был великолепно иллюминирован; на фасаде гимназии горел громадный транспарант с буквами А и М;

вокруг плац-парада пылали смоляные бочки. Но иллюминация сгорела напрасно: государь не приехал в тот вечер. Всю ночь вокруг плац-парада в канавах дремали и спали враспяжку толпы крестьян, собравшихся за сотни верст поглядеть на царя. Государь прибыл поутру 15 июня, часу в шестом, и мы из окон спальни видели, как он проехал в открытой коляске в ворота губернаторского дома (губернатором на ту пору в Вологде был генерал Хоминский).

Июньский день был тих и ясен. Вологда выглядела по-праздничному. Толпы народа заливали городские улицы. В 11 часов мы собрались в актовом зале и все вместе — пансионеры и приходящие — встали двумя колоннами в несколько рядов. Ближе к двери расположились учителя. Наш священник сообщил нам, от какого евангелиста в тот день за обедней было читано Евангелие.

Около половины двенадцатого часа государь прибыл в гимназию. Быстрыми шагами вошел он в залу в сопровождении графа Адлерберга 2-го и, не остановившись у учителей, прямо подошел к воспитанникам. Государь, сколько мне помнится, был в обыкновенном генеральском мундире, довольно запыленном: государь прошел в гимназию прямо с плац-парада, где делал смотр местному батальону. Государь оказался усталым после бессонной ночи, проведенной в дороге; глаза его были мутны, лицо красно и обветряло. Он остановился перед нами, поздоровался.

— Учитесь, дети! — сказал он нам. — Я надеюсь, что вы будете полезны отечеству. Слышите?

Не знаю, что испытали тогда мои товарищи, я же с величайшим любопытством смотрел на государя и с самым напряженным вниманием прислушивался к его словам, вслушивался в звуки его голоса... Как ни был замкнут наш пансионский мир, но и до нас уже успели долететь слухи о надеждах, возлагавшихся на молодого государя, об ожидавшихся реформах. И я — в ту пору 16-летний юноша — смотрел на него как на человека, держащего в своих руках будущие судьбы земли русской.

Личность покойного императора Александра II произвела на меня очень глубокое впечатление. Ни в его наружности, ни в обращении, ни в словах не чувствовалось ничего такого, что бы внушало хотя бы малейший страх. Он говорил в то утро несколько охрипшим голосом, но в этом голосе слышались мягкие ноты. Скорби и разочарования, ожидавшие его в будущем, еще не успели в ту пору омрачить его молодого лица, и лицо его в то далекое июньское утро было так же ясно и светло, как светло было голубое небо, сиявшее в большие окна нашей залы.

Государь, между прочим, обратил внимание на то, что воспитанники были разделены на две колонны и у иных воротники были с петлицами, а у других — без петлиц. Директор объяснил, что одни — пансионеры, живут в заведении и все носят одинаковую одежду, а другие — приходящие, из которых каждый экипируется родителями, смотря по средствам, что недостаточным дозволяется довольствоваться простым форменным сюртуком.

Затем государь кивнул нам на прощанье головой и так же быстро пошел из залы в сопровождении графа Адлерберга и директора.

Новое время вступало в свои права. Субботние сечения мало-помалу прекратились, розги исчезли, и, надо надеяться, исчезли навсегда со страниц истории русской школы. Вместо этих субботних представлений стали устраиваться в нашем рекреационном зале домашние спектакли, посещавшиеся избранной публикой. В актовом зале давались балы. Кавалерами на этих балах являлись воспитанники и учителя, а дамами — гимназистки и родственницы директора и инспектора. После балов некоторые из кавалеров оказывались влюбленными, несколько времени бывали рассеянны, вздыхали и все что-то строчили в своих записных книжках.

Появились новые учебники и новые учителя. Новые птицы и новые песни... Ободовского заменил Вержбилович, русскую историю стали проходить по Иловайскому, на по-

мощь физике Ленца явился Циммерман, Смарагдова заменил Шульгин, в руководствах которого были уже статьи под рубрикой «Умственное движение, искусство, наука» и в главных чертах была изложена европейская история конца XVIII и начала XIX века.

Из новых учителей лучшими были: Николай Яковлевич Соболев, Карл Маак и Пржибыльский.

Соболев был молодой человек высокого роста, очень худощавый, брюнет, в очках, с весьма интеллигентным лицом. Он преподавал историю в старших классах, но одними учебниками, как, бывало, прежние учителя, не ограничивался, а нередко читал нам в классе отрывки из различных исторических сочинений, касавшихся той эпохи, о которой шла речь. Он также не прочь был побеседовать с нами о том или другом историческом факте, почему-либо особенно интересовавшем нас. Соболев не походил на чиновника и за то был у нас общим любимцем. Впоследствии он занимал должность директора учительской семинарии в г. Тотьме (Вологодской губернии).

Карл Маак был мужчина лет 40, среднего роста, крепкий, сухоощавый, словно вылитый из металла; он низко стриг волосы, не носил ни бороды, ни бакенбард и держался всегда прямо. Это был человек в высшей степени энергичный и обладавший способностью сообщать энергию своим ученикам. Говоря по правде, только при нем мы научились по-немецки и стали понимать язык Шиллера и Гете. По своим знаниям, по своей энергии и по горячности к делу Карл Карлович Маак мне положительно представлялся идеальным педагогом... Оставив Вологодскую гимназию, он долго жил в Петербурге и наконец, кажется, перебрался в свою Германию.

Венцеслав Матвеевич Пржибыльский был мужчина средних лет, довольно высокого роста, блондин, красивый собой, с тонкими чертами лица, с большим открытым лбом и умными серыми глазами, отливавшими блеском стали. Он обладал прекрасными манерами — манерами светского

человека, говорил увлекательно и мог влиять на каждого, с кем ни сталкивала бы его судьба. Самое ярое предубеждение, казалось, не могло устоять против этого очаровательно-го человека. Эрудиция у него, сколько могу судить теперь, была громадная. Раньше Пржибыльский был профессором в Вильне и оттуда, как бы в виде ссылки, был переведен в Вологду. Он преподавал нам минералогию, но сумел заинтересовать нас и вообще естественными науками. Он нам рассказывал о различных открытиях и изобретениях, сообщал нам факты из жизни деятелей науки и других великих людей, двигавших человечество от мрака к свету — к лучшему будущему.

Уроки Пржибыльского — всегда внимательного к нам, доброго и любезного — были для нас наслаждением. Скажу не обинуясь, что мы в один год узнали от него более, более развились и пристрастились к серьезному чтению, нежели в несколько предшествовавших лет. Он позволил нам поодиночке и группами приходить к себе на квартиру и беседовать с ним. Так как Пржибыльский был человек умный и осторожный, то я считаю излишним распространяться о том, что о политике, о жгучих вопросах, волновавших в ту пору русское общество, он с нами, мальчуганами, ни разу не заводил речи. Помню, что по инициативе нашей вице-губернаторши устраивались публичные лекции в пользу бедных и Пржибыльский читал по различным отраслям естествознания.

Пржибыльский приехал к нам уже в половине учебного года, и поэтому всю минералогию мы не успели осилить к весне. Пржибыльский, по нашей просьбе, устроил репетиции у себя на квартире и перевел нас всех в седьмой класс без экзамена. В то время у нас в гимназии некоторые учителя уже переводили из класса в класс по годовым баллам.

---

*Вильна* — официальное название города Вильнюса до 1939 г.

*Репетиции* — здесь: внеклассные занятия.

В 1862 году, осенью, мы однажды напрасно прождали Пржибыльского: он не пришел в класс, и мы с тех пор уже не видали его. Инспектор, несколько смутившись, объявил нам на другой день, что «господин Пржибыльский уехал в Петербург» и, кажется, не возвратится.

Кроме Пржибыльского, Маака и Соболева, у нас в старших классах были еще хорошие учителя: Владимир Николаевич Елецкий (впоследствии директор Петрозаводской гимназии) и Николай Петрович Левицкий, преподаватель русской словесности (позже директор народных училищ Вологодской губернии). Левицкому мы были обязаны хорошим знанием истории русской литературы и знакомством с выдающимися русскими писателями XIX века. На сочинениях, часто задаваемых им, мы также успели выработать довольно порядочный слог. Мы под его руководством читали Белинского и самым добросовестным образом штудировали Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Для учеников VI и VII классов Левицкий устраивал по вечерам в классе в известные дни собрания — «беседы». На этих беседах читались и обсуждались произведения русских авторов — старых и новых. Иногда специально для бесед писались нами сочинения (преимущественно критические разборы), и по поводу их шли горячие дебаты.

Насколько прежние пансионеры увлекались офицерским мундиром, настолько теперь блестящим ореолом окружался для них образ «студента». В студенте видели как бы

---

*...«господин Пржибыльский уехал в Петербург» и, кажется, не возвратится.* — Как потом оказалось, он бежал в Варшаву и был членом «ржонда народового», а затем, когда польское восстание было подавлено, Пржибыльский жил в Париже и был домашним секретарем у принца Жерома, как мы слышали (примечание П. В. Засодимского). «Ржонд народовы» — национальное правительство, созданное в ходе Польского восстания 1863—1864 гг. Принц Жером — Жером Бонапарт (1784—1860), младший брат Наполеона, получил статус принца крови и провозглашен наследником французского престола в случае бездетной смерти Наполеона III.

олицетворение умственной, духовной мощи — в противоположность силе кулака. Студент казался носителем всех благородных помыслов, идеи добра, правды, свободы... Когда сын нашего инспектора, студент, приехал на вакации, мы, бывало, с завистью и благоговением смотрели на него, как он, гордо подняв голову, проходил мимо наших окон. Он носил набекрень белую фуражку с синим околышем, студенческий сюртук и широкие белые летние панталоны и блестящие лакированные сапожки. Нечего и говорить, что гимназистам он казался идеалом всесовершенного, во всех отношениях приятного молодого человека...

---

Вскоре после того, как я оставил гимназию, наш «благородный пансион» был закрыт. А именно 23 февраля 1863 г. вологодское дворянское собрание постановило, ввиду изменившихся обстоятельств (то есть освобождения крестьян), вакансии в благородный пансион при гимназии не замещать и сбор на своих пансионеров прекратить, вследствие чего в июне 1864 года наш пансион и закрылся, просуществовав на свете около тридцати лет...



## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П. В. ЗАСОДИМСКОГО

**1843, 1** (по метрической записи 4) *ноября* — в г. Великом Устюге, в семье Никольского окружного начальника Владимира Михайловича Засодимского и его жены Екатерины Павловны (в девичестве Засецкой) родился сын Павел.

**1844, март** — будущий писатель приезжает с матерью в г. Никольск, к месту службы отца.

**1843—1852** — Засодимские живут в Никольске, Павел получает домашнее образование под руководством матери и тетки Натальи Павловны Засецкой, изучает французский и немецкий языки, много читает.

**1852—1856** — после оставления Владимиром Михайловичем службы семья живет в имении Миролубово (Токаренец), принадлежащем Екатерине Павловне. Первые литературные опыты Павла — печальная повесть о судьбе сироты и пьеса в духе «неистового романтизма».

**1856, февраль — 1963, июнь** — Павел учится в Вологодской гимназии и живет в качестве своекоштного воспитанника в дворянском пансионе при ней. Пишет повесть «из испанской жизни» (не закончена).

**1863, сентябрь** — поступает вольнослушателем на юридический факультет Петербургского университета.

**1865** — из-за недостатка средств к существованию оставляет университет и становится домашним учителем сыновей помещика Филатова (имение Михайловка, Сызранский уезд Псковской губернии). Усиленно занимается самообразованием.

**1866, осень** — уезжает в Москву, зарабатывает на жизнь уроками, работает над повестями «Перед грозой» (не закончена) и «Отец» (рукопись уничтожена).

**1867** — приезжает в Петербург, пишет повесть «Грешница», передает рукопись в журнал демократического направления «Дело».

*20 июля* — первое выступление Засодимского в печати (письмо в защиту болгар, страдающих от османского ига — газета «Голос», № 198).

*10 августа* — в «Иллюстрированной газете» под псевдонимами Горацио и Эпикуреец публикуются стихотворения Засодимского «Писк комара», «Свиданье», «Было-прошло», «Бабочка и дитя», «Напоминание».

*Конец года* — становится сотрудником журнала «Дело» по приглашению редактора Г. Е. Благодетеля.

**1868** — в журнале «Дело» печатаются повести Засодимского «Грешница» (№ 1, 3) и «Волчиха» (№ 12).

*Апрель* — посещает Вологду, знакомится со ссыльными народниками Н. В. Шелгуновым, В. В. Берви-Флеровским, П. Л. Лавровым.

Пишет свою первую статью по вопросам педагогики «Много ли света в нашем просвещении» (опубликована в журнале «Дело» — 1870, № 1), начинает работу над повестью «Темные силы» (опубликована в журнале «Дело» — 1870, № 12).

**1870** — женится на Александре Николаевне Богдановой.

Знакомится с земляками Ф. Н. Лермонтовым и М. В. Куприяновым, членами революционно-народнического кружка «чайковцев».

**1871, июнь** — публикует в журнале «Детское чтение» сказку «Заговор сов», первое свое произведение для детей.

*Конец декабря* — умирает родившийся летом сын Засодимских.

**1872** — по поручению Благодетеля странствует по Тверскому краю, изучая постановку дела в артелях сыроварнях.

Публикует повесть «Старый дом» (журнал «Дело» — 1872, № 4–5).

*Октябрь — декабрь* — учительствует в селе Большие Меглецы Боровичского уезда Новгородской губернии.

**1874** — знакомится с членами редакции журнала «Отечественные записки» (Н. А. Некрасовым, А. Н. Плещеевым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Н. К. Михайловским), публикует в этом

журнале (№ 8—10, 12) роман «Хроника села Смурина» (под псевдонимом Вологдин, первоначальное заглавие «Печать антихриста»).

Проводит большую часть *июля и августа* в Вологде.

**Конец 1874 — весна 1875** — сотрудничает в петербургской газете «Биржевые ведомости», публикует в ней ряд статей.

**1875—1877** — живет с женой в г. Усмани Тамбовской губернии.

**1877, 30 декабря** — выступает с речью на похоронах Некрасова.

**1878** — путешествует по Зырянскому краю (территория Вологодской губернии), работает над циклом очерков «Лесное царство» по материалам, собранным во время этого путешествия.

Открывает в Петербурге частную библиотеку для литераторов и общественных деятелей.

**1878—1881** — сотрудничает в журнале «Слово», публикует на его страницах роман «Кто во что горазд».

**1879, лето** — гостит у родственницы Е. П. Даниловой в усадьбе Горка (Кадниковский уезд Вологодской губернии). Впоследствии бывает здесь неоднократно.

**1880** — начинает сотрудничать в журнале «Русское богатство», публикует в нем роман «Степные тайны» (№ 1—2, 5—7).

**1883—1884** — публикует сборник произведений для детей «Задумчивые рассказы» (ч. 1—2), неоднократно затем переизданный.

**1883—1889** — сотрудничает в журнале «Наблюдатель», публикует в нем роман «По градам и весям» (1883, № 1—5).

**1887** — начинает сотрудничать в детском журнале «Игрушечка» и в издательстве «Посредник», основанном Л. Н. Толстым.

**1888** — выходит в свет сборник произведений Засодимского для детей «Бывальщины и сказки».

**1891** — публикует высоко оцененный Л. Н. Толстым рассказ «Перед потухшим камельком» (журнал «Русский вестник», № 1).

*Апрель* — произносит речь на похоронах публициста и критика Н. В. Шелгунова, за которую подвергается высылке из Петербурга в Вологодскую губернию.

*Лето* — организует в Вологде сбор средств в помощь голодающим Поволжья.

**1891—1892** — живет в усадьбе Горка и в Вологде.

**1892**, *зима* — в вологодском театре ставится пьеса по повести Засодимского «Волчиха».

**1893** — возвращается в Петербург, публикует роман «Грех» в журнале «Русское богатство» (№ 1—3), начинает сотрудничество в этом журнале.

**1895** — выходит двухтомное собрание сочинений писателя.

**1901** — выходит книга Засодимского для детей «В зимние сумерки. Сборник бывальщин, рассказов, сказок» (переиздана в 1914).

**1902—1903** — публикует в журнале «Образование» серию статей «Родные картины», посвященных вопросам обучения и воспитания.

**1900—1905** — живет в Крыму.

**1905** — переезжает в Новгородскую губернию.

Живет сначала в усадьбе Жадины, затем в селе Опеченский посад Боровичского уезда.

**1908** — выходит в свет книга Засодимского «Из воспоминаний».

**1912**, 4 (17) мая — П. В. Засодимский умирает от осложнений, вызванных воспалением легких.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ***Были и небыли***

Разбита чашка ( <i>Рассказ из лесной жизни</i> ).....	7
Белый дедушка ( <i>Деревенская быль</i> ).....	35
Ванюшкин сад .....	51
Лютик.....	63
Трагическая минута ( <i>Подлинное происшествие</i> ) .....	89
Два выстрела ( <i>Из воспоминаний моего старого друга</i> ) .....	102
Сказка.....	119
Арфа звучала ( <i>Старинная легенда</i> ).....	127
Азальгеш ( <i>Восточное предание</i> ).....	153

### ***Из воспоминаний***

Раннее детство .....	169
Дедушка Павел Михайлович .....	215
В родном уголке.....	236
В гимназии.....	269
Основные даты жизни и творчества П. В. Засодимского .....	315

Издательство «Учебная литература» готовит к выпуску в серии «Словесность Вологодского края для детей и юношества» сборник произведений Александра Васильевича Круглова «Чистая отрада». Уроженец Великого Устюга А. В. Круглов был известным литератором конца XIX — начала XX века. Его очерки, стихи, рассказы и повести часто публиковались на страницах московских и петербургских журналов, выходили отдельными книгами. Широкой известностью пользовались и многократно переиздавались до революции произведения писателя для детей. В наши дни творчество Круглова постепенно начинает возвращаться к читателю.

**Павел Владимирович ЗАСОДИМСКИЙ**  
**ЗАДУШЕВНЫЕ РАССКАЗЫ**

Составитель С. Ю. Баранов

Редактор О. М. Чернышева

---

Подписано в печать 11.09.2009 г.  
Формат 70х90/16. Усл. печ. л. 23,4. Тираж 4600 экз. Заказ 4214.

---

ООО ПФ «Полиграф-Книга». 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.





УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
2009

П. В. Засодимский \*\* ЗАДУШЕВНЫЕ РАССКАЗЫ